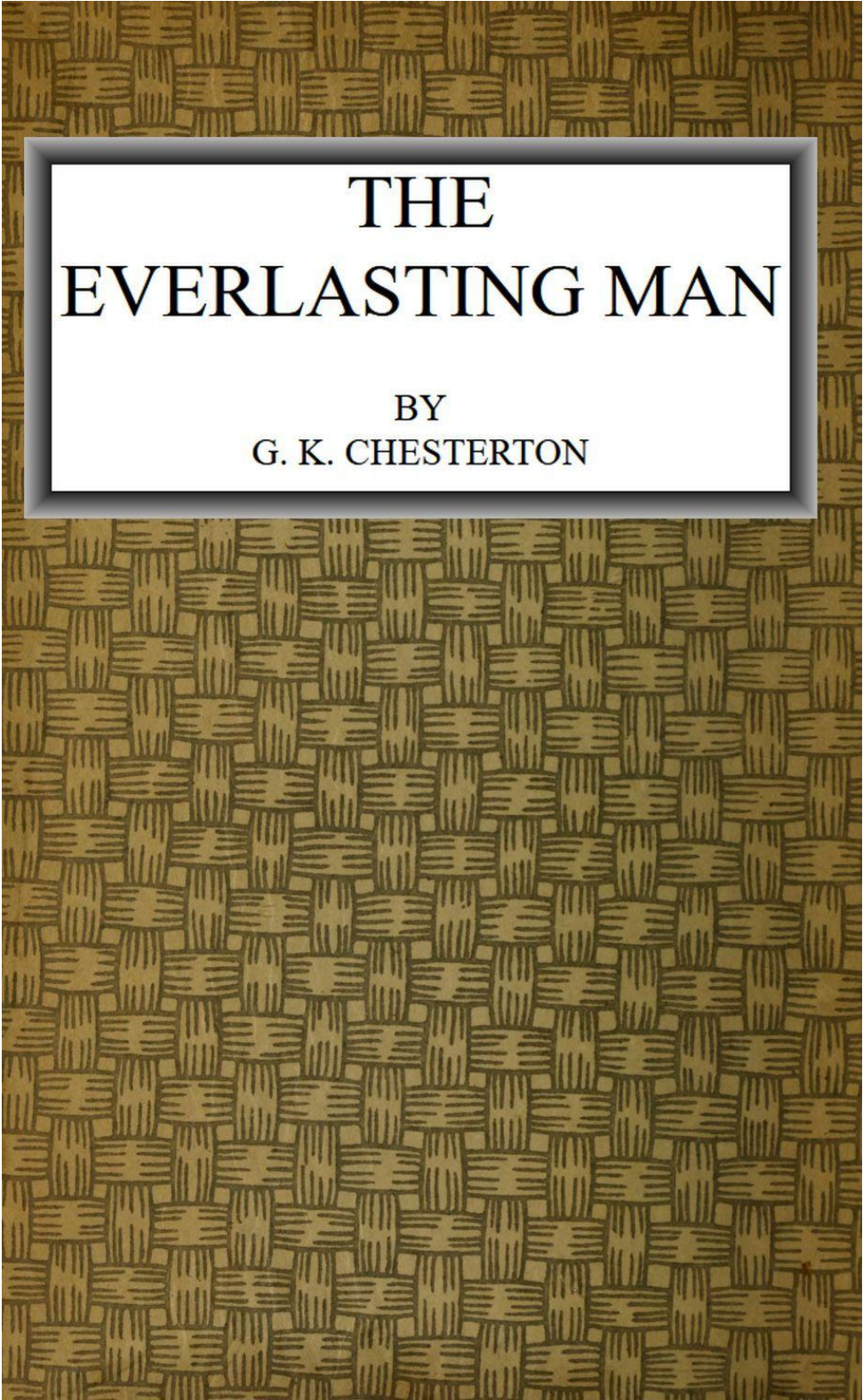


Вечный Человек

Г. К. Честертон

The book cover features a repeating woven pattern in shades of brown and tan. A central white rectangular box with a thin grey border contains the title and author information.

THE EVERLASTING MAN

BY
G. K. CHESTERTON

Проект "Электронная книга Гутенберга о вечном человеке "

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Вечный Человек

Автор: Г. К. Честертон

Дата выхода: 24 июня 2021 г. [Электронная книга № 65688]

Последнее обновление: 18 октября 2024 г.

Язык: Английский

Авторы: Тим Линделл, Чак Грейф и команда онлайн-редакторов, распространяющих корректуру, на сайте <https://www.pgdp.net>

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА "ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА ГУТЕНБЕРГА " ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК " ***

ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Г. К. ЧЕСТЕРТОН

ХОДДЕР И СТАУТОН
ЛИМИТЕД ЛОНДОН

Сделано и напечатано в Великобритании
Т. и А. Constable Ltd., Типография, Эдинбург

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Эта книга нуждается в предварительном примечании, чтобы ее объем не был понят превратно. Предлагаемая точка зрения скорее историческая, чем теологическая, и не имеет прямого отношения к религиозным переменам, которые были главным событием моей собственной жизни; и о которых я уже пишу более полемическую книгу. Я надеюсь, что ни один католик не может написать какую-либо книгу на какую-либо тему, прежде всего на эту тему, не показав, что он католик; но это исследование не касается специально различий между католиком и протестантом. Большая часть его посвящена многим видам язычников, а не каким-либо

христианам; и его тезис состоит в том, что те, кто говорит, что Христос стоит бок о бок с подобными мифами, а его религия бок о бок с подобными религиями, всего лишь повторяют очень устаревшую формулу, которой противоречит очень поразительный факт. Чтобы предположить это, мне не нужно было выходить далеко за рамки вопросов, известных всем нам; я не претендую на ученость; и в некоторых вещах мне приходится полагаться, как это уже стало модным, на тех, кто более образован. Поскольку я не раз расходился с мистером Гербертом Уэллсом в его взгляде на историю, тем более справедливо, что я должен здесь поздравить его с мужеством и конструктивным воображением, которые проявились в его обширной, разнообразной и чрезвычайно интересной работе; но еще больше за то, что он отстаивал разумное право любителя делать то, что он может, с фактами, которые предоставляют специалисты.

Содержание

	СТРАНИЦА
ВВЕДЕНИЯ: План этой книги	3
ЧАСТЬ I	
О СУЩЕСТВЕ ПО ИМЕНИ ЧЕЛОВЕК	
ГЛАВА	
I.	Человек в пещере 19
II.	Профессора и доисторические люди 39
III.	Древность цивилизации 58
IV.	Бог и сравнительное религиоведение 89
V.	Человек и мифологии 111
VI.	Демоны и философы 129
VII.	Война богов и демонов 154
VIII.	Конец света 171
ЧАСТЬ II	
О ЧЕЛОВЕКЕ ПО ИМЕНИ ХРИСТОС	
ГЛАВА	
I.	Бог в пещере 191
II.	Евангельские загадки 211
III.	Самая странная история в мире 227
IV.	Свидетельство еретиков 245
Против	Бегство от язычества 267
VI.	Пять смертей веры 288
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Краткое содержание этой книги	302
ПРИЛОЖЕНИЕ I.: О доисторическом человеке	313

ВВЕДЕНИЕ

ПЛАН ЭТОЙ КНИГИ

Есть два способа вернуться домой, и один из них - остаться там. Другой - обойти весь мир, пока мы не вернемся в то же самое место; и я попытался проследить такое путешествие в рассказе, который я когда-то написал. Однако для меня облегчение перейти от этой темы к другой истории, которую я никогда не писал. Как и все книги, которые я никогда не писал, это, безусловно, лучшая книга, которую я когда-либо написал. Вполне вероятно, что я никогда этого не напишу, поэтому я буду использовать это здесь символически, ибо это был символ той же истины. Я задумал это как роман о тех обширных долинах с покатыми склонами, подобных тем, по склонам холмов которых нацарапаны древние Белые Лошади Уэссекса. Это касалось какого-то мальчика, чья ферма или коттедж стояли на таком склоне, и который отправился в свои странствия, чтобы найти что-нибудь, например, изображение или могилу какого-нибудь великана; и когда он был достаточно далеко от дома, он оглянулся и увидел, что его собственная ферма и огород, сияющие на склоне холма, как цвета и четвертинки щита, были всего лишь частями какой-то такой же гигантской фигуры, на которой он всегда жил, но которая была слишком велика и слишком близка, чтобы ее можно было разглядеть. Я думаю, что это правдивая картина прогресса любого по-настоящему независимого разума в наши дни; и в этом смысл этой книги.

Другими словами, смысл этой книги в том, что следующее лучшее, что можно сделать, чтобы по-настоящему оказаться внутри христианского мира, - это по-настоящему оказаться за его пределами. И особый момент этого заключается в том, что популярные критики христианства не находятся на самом деле вне его. Они находятся на спорной почве во всех смыслах этого слова. Они сомневаются в самих своих сомнениях. Их критика приобрела странный тон; как случайное и неграмотное подшучивание. Таким образом, они превращают current в антиклерикальный лозунг в своего рода светскую беседу. Они будут жаловаться на то, что парсонсы одеваются как парсонсы; как будто мы были бы более свободны, если бы все полицейские, которые следили за нами или брали нас за шиворот, были детективами в штатском. Или они будут жаловаться, что проповедь нельзя прерывать, и называть кафедру замком трусов; хотя они не называют офис редактора замком трусов. Это было бы несправедливо как по отношению к журналистам, так и к священникам, но гораздо справедливее было бы по отношению к журналистам. Священник появляется лично, и его легко можно было ударить ногой, когда он выходил из церкви; журналист скрывает даже свое имя, чтобы никто не смог его ударить. Они пишут дикие и бессмысленные статьи и письма в прессу о том, почему церкви пусты, даже не заходя туда, чтобы выяснить, пусты ли они и какие из них пусты. Их предложения более банальны и бессодержательны, чем самый безвкусный викарий в трехактном фарсе, и побуждают нас утешить его на манер викария из баллад о Бабе: "Твой разум не так пуст, как у Хопли Портера". Так что мы действительно можем сказать самому слабому священнослужителю: "Ваш разум не так пуст, как у возмущенного мирянина, или простого человека, или обывателя, или любого из ваших критиков в газетах; ибо они не имеют ни малейшего представления о том, чего хотят

сами, не говоря уже о том, что вы должны им дать". Они внезапно обернутся и будут поносить Церковь за то, что она не предотвратила войну, которую они сами не хотели предотвращать; и которую никто никогда не заявлял, что способен предотвратить, за исключением некоторых представителей той самой школы прогрессивных и космополитичных скептиков. которые являются главными врагами Церкви. Именно антиклерикальный и агностический мир всегда пророчествовал о наступлении всеобщего мира; именно этот мир был или должен был быть смущен и сбит с толку наступлением всеобщей войны. Что же касается общего мнения о том, что Церковь была дискредитирована Войной, то с таким же успехом они могли бы сказать, что Ковчег был дискредитирован Потопом. Когда мир идет наперекосяк, это скорее доказывает, что Церковь права. Церковь оправдана не потому, что ее дети не грешат, а потому, что они грешат. Но это отражает их отношение ко всей религиозной традиции в целом: они находятся в состоянии реакции против нее. Мальчику хорошо, когда он живет на земле своего отца; и ему снова хорошо, когда он достаточно далеко от нее, чтобы оглянуться назад и увидеть ее как единое целое. Но эти люди достигли промежуточного состояния, упали в промежуточную долину, из которой они не могут видеть ни высот за собой, ни высот позади. Они не могут выбраться из полутени христианских споров. Они не могут быть христианами и не могут перестать быть антихристианами. Вся их атмосфера - это атмосфера реакции: обиды, извращенности, мелочной критики. Они все еще живут в тени веры и потеряли свет веры.

Итак, лучшее отношение к нашему духовному дому - быть достаточно близко, чтобы любить его. Но следующее лучшее отношение - быть достаточно далеко, чтобы не ненавидеть его. На этих страницах утверждается, что, хотя лучший судья христианства - христианин, следующим лучшим судьей был бы кто-то, больше похожий на конфуцианца. Худший судья из всех - это человек, который сейчас наиболее готов к своим суждениям; плохо образованный христианин, постепенно превращающийся в вспыльчивого агностика, запутавшийся в конце вражды, начала которой он никогда не понимал, пораженный своего рода наследственной скукой от неизвестно чего и уже уставший слышать то, чего он никогда не слышал. Он не судит о христианстве спокойно, как это сделал бы конфуцианец; он не судит о нем так, как судил бы о конфуцианстве. Он не может усилием воображения перенести католическую церковь за тысячи миль отсюда, в странное утреннее небо, и судить о ней так же беспристрастно, как о китайской пагоде. Говорят, что великий святой Франциск Ксаверий, которому почти удалось воздвигнуть там Церковь в виде башни, возвышающейся над всеми пагодами, потерпел неудачу отчасти потому, что его последователи были обвинены своими коллегами-миссионерами в том, что они изображали Двенадцать апостолов в одежде или атрибутах китайцев. Но было бы гораздо лучше видеть в них китайцев и справедливо судить о них как о китайцах, чем видеть в них безликих идолов, созданных просто для того, чтобы их избивали иконоборцы; или, скорее, как в кокшетау, которым забрасывают головы пустоголовые кокни. Было бы лучше рассматривать все это как отдаленный азиатский культ; митры его епископов - как высокие головные уборы таинственных бонз; его пастырские посохи - как палки, скрученные наподобие змей, которые несут в какой-нибудь азиатской процессии; видеть молитвенник таким же фантастическим, как молитвенное колесо, а Крест таким же кривым, как Свастика. Тогда, по крайней мере, мы не должны выходить из себя, как, кажется, выходят из себя некоторые скептически настроенные критики, не говоря уже об их остроумии. Их антиклерикализм превратился в атмосферу отрицания и враждебности, из которой они не могут вырваться. По сравнению с этим, было бы лучше рассматривать все это как нечто, принадлежащее другому континенту или другой планете. Было бы более философично безразлично смотреть на бонз, чем постоянно и

бессмысленно ворчать на епископов. Было бы лучше пройти мимо церкви, как если бы это была пагода, чем постоянно стоять на паперти, не имея возможности ни войти внутрь и помочь, ни выйти на улицу и забыть. Тем, у кого простая реакция таким образом превратилась в навязчивую идею, я серьезно рекомендую приложить усилия воображения и представить Двенадцать Апостолов как китайцев. Другими словами, я рекомендую этим критикам попытаться воздать должное христианским святым так же, как если бы они были языческими мудрецами.

Но с этим мы подходим к последнему и жизненно важному моменту. На этих страницах я попытаюсь показать, что, когда мы *do* прикладываем усилия воображения, чтобы увидеть все это снаружи, мы обнаруживаем, что внутри это действительно выглядит так, как традиционно говорят о нем. Именно тогда, когда мальчик оказывается достаточно далеко, чтобы увидеть великана, он видит, что тот действительно великан. Именно тогда, когда мы, наконец, видим христианскую Церковь вдали под этими ясными и ровными небесами востока, мы видим, что это действительно Церковь Христа. Короче говоря, в тот момент, когда мы действительно беспристрастно относимся к этому, мы понимаем, почему люди равнодушны к этому. Но это второе предложение требует более серьезного обсуждения; и я здесь займусь его обсуждением.

Как только у меня в голове отчетливо сложилась концепция чего-то существенного в единственном и неповторимом характере божественной истории, мне пришло в голову, что точно такой же странный и все же надежный характер был и в человеческой истории, которая привела к этому; потому что эта человеческая история также имела божественный корень. Я имею в виду, что точно так же, как Церковь кажется более замечательной, когда ее справедливо сравнивают с обычной религиозной жизнью человечества, так и само человечество кажется более замечательным, когда мы сравниваем его с обычной жизнью природы. И я заметил, что большая часть современной истории сведена к чему-то вроде софистики, сначала для того, чтобы смягчить резкий переход от животных к людям, а затем для того, чтобы смягчить резкий переход от язычников к христианам. Теперь, чем больше мы действительно реалистично прочтем об этих двух переходах, тем острее они нам покажутся. Именно потому, что критики *не* отстранены, они не видят этой отстраненности; именно потому, что они не смотрят на вещи в сухом свете, они не могут увидеть разницу между черным и белым. Именно потому, что они находятся в особом настроении реакции и бунта, у них есть мотив утверждать, что все белое грязно-серое, а черное не такое черное, как его малюют. Я не говорю, что у людей нет оправданий своему бунту; я не говорю, что это в некотором смысле не вызывает сочувствия; я говорю лишь о том, что это никоим образом не научно. Иконоборец может быть возмущен; иконоборец может быть справедливо возмущен; но иконоборец не беспристрастен. И это вопиющее лицемерие - притворяться, что девять десятых авторитетных критиков, научных эволюционистов и профессоров сравнительного религиоведения ни в малейшей степени беспристрастны. Почему они должны быть беспристрастными, что значит быть беспристрастными, когда весь мир находится в состоянии войны из-за того, что является всепожирающим суеверием или божественной надеждой? Я не претендую на беспристрастность в том смысле, что заключительный акт веры укрепляет разум человека, потому что он удовлетворяет его разум. Но я заявляю, что гораздо более беспристрастен, чем они; в том смысле, что я могу рассказать историю честно, с какой-то образной справедливостью по отношению ко всем сторонам; а они не могут. Я заявляю о своей беспристрастности в том смысле, что мне должно быть стыдно говорить такую чушь о ламе Тибетском, как они говорят о Папе Римском, или испытывать к Юлиану Отступнику так же мало

симпатии, как они относятся к Обществу Иисуса. Они не беспристрастны; они ни в коем случае не уравнивают исторические веса; и, прежде всего, они никогда не бывают беспристрастны в этой точке эволюции и перехода. Они повсюду предполагают серые оттенки сумерек, потому что верят, что это сумерки богов. Я предлагаю утверждать, что независимо от того, сумерки это богов или нет, для людей это не дневной свет.

Я утверждаю, что при дневном свете эти две вещи выглядят совершенно странно и уникально; и что только в ложных сумерках воображаемого переходного периода их можно заставить выглядеть хоть в малейшей степени похожими на что-либо другое. Первое из них - это создание, называемое человеком, а второе - человек, называемый Христом. Поэтому я разделил эту книгу на две части: первая представляет собой очерк главного приключения человеческой расы в той мере, в какой она оставалась языческой; а вторая - краткое изложение реальных изменений, которые произошли, когда она стала христианской. Оба мотива требуют определенного метода, метода, которым не очень легко управлять и, возможно, еще труднее определить или защитить.

Чтобы подчеркнуть, в единственно разумном или возможном смысле, беспристрастность, необходимо затронуть нерв новизны. Я имею в виду, что в каком-то смысле мы воспринимаем вещи справедливо, когда видим их впервые. Вот почему, я могу заметить мимоходом, дети обычно не испытывают особых трудностей с догмами Церкви. Но Церковь, будучи в высшей степени практичным средством для работы и борьбы, обязательно предназначена для мужчин, а не только для детей. Для рабочих целей в нем должно быть много традиций, фамиллярности и даже рутины. До тех пор, пока его основы искренне ощущаются, это может быть даже более разумным условием. Но когда его основы ставятся под сомнение, как в настоящее время, мы должны попытаться вернуть искренность и удивление ребенка, неиспорченный реализм и объективность невинности. Или, если мы не можем этого сделать, мы должны попытаться, по крайней мере, стряхнуть облако простой привычки и увидеть в этом что-то новое, хотя бы потому, что видим в этом что-то неестественное. Вещи, которые вполне могут быть знакомыми до тех пор, пока фамиллярность порождает привязанность, гораздо лучше становятся незнакомыми, когда фамиллярность порождает презрение. Ибо в связи с такими великими вещами, какие здесь рассматриваются, каким бы ни был наш взгляд на них, презрение должно быть ошибкой. Действительно, презрение должно быть иллюзией. Мы должны призвать на помощь самое дикое и парящее воображение; воображение, которое может увидеть то, что там есть.

Единственный способ донести эту мысль - привести пример чего-то, действительно, почти чего угодно, что считалось прекрасным. Джордж Уиндхэм однажды сказал мне, что он впервые видел, как поднимается один из первых аэропланов, и это было очень чудесно; но не так чудесно, как лошадь, позволяющая человеку сесть на нее верхом. Кто-то еще сказал, что прекрасный человек на прекрасном коне - самый благородный телесный объект в мире. Итак, пока люди чувствуют это правильным образом, все хорошо. Первый и лучший способ оценить это - прийти к людям с традицией надлежащего обращения с животными; к мужчинам, имеющим правильное отношение к лошадям. Мальчик, который помнит своего отца, который хорошо ездил на лошади и хорошо обращался с ней, будет знать, что отношения могут быть удовлетворительными, и будет удовлетворен. Он будет тем более возмущен жестоким обращением с лошадьми, потому что знает, как с ними следует обращаться; но он не увидит ничего, кроме того, что нормально в человеке, едущем верхом на лошади. Он не станет слушать великого современного философа, который объясняет ему, что лошадь должна ехать верхом на

человеке. Он не станет следовать пессимистическим фантазиям Свифта и говорить, что людей следует презирать, как обезьян, а лошадям поклоняться, как богам. А лошадь и человек вместе создают образ, который является для него человеческим и цивилизованным, и ему будет как бы легко превратить лошадь и человека вместе во что-то героическое или символическое; например, видение Святого Георгия в облаках. Басня о крылатом коне не покажется ему совершенно неестественной, и он поймет, почему Ариосто сажал многих христианских героев в такие воздушные седла и делал их небесными всадниками. Ибо лошадь действительно была вознесена вместе с человеком самым диким образом в том самом слове, которое мы используем, когда говорим о 'рыцарстве'. Само имя лошади было присвоено высшему настроению и моменту жизни человека, так что мы могли бы почти сказать, что самый красивый комплимент мужчине - это назвать его лошадью.

Но если человек пришел в такое настроение, что он способен ощутить такого рода чудо, тогда его лечение должно начинаться с другого конца. Теперь мы должны предположить, что он впал в унылое настроение, в котором тот, кто сидит на лошади, значит не больше, чем тот, кто сидит на стуле. Чудо, о котором говорил Уиндхэм, красота, из-за которой это существо казалось конной статуей, значение более рыцарского всадника, возможно, стали для него просто условностью и наскучили. Возможно, они были просто модой; возможно, они вышли из моды; возможно, о них говорили слишком много или неправильно; возможно, тогда было трудно ухаживать за лошадьми без ужасного риска стать лошадиной. Как бы то ни было, он дошел до такого состояния, что о лошади заботится не больше, чем о лошади-полотенце. Служба его деда в Балаклаве кажется ему такой же унылой и пыльной, как альбом с такими семейными портретами. Такой человек на самом деле не стал просветленным относительно альбома; напротив, он всего лишь ослеп от пыли. Но когда он достигнет *этой* степени слепоты, он вообще не сможет смотреть на лошадь или всадника, пока не увидит все это как нечто совершенно незнакомое и почти неземное.

Из какого-нибудь темного леса под покровом древнего рассвета к нам, должно быть, приближается неуклюжими, но танцующими движениями одно из самых странных доисторических существ. Мы должны впервые увидеть странно маленькую головку, сидящую на шее не только длиннее, но и толще, чем она сама, как морда горгульи, вытянутая над водосточным желобом, единственный непропорциональный волосяной гребень, идущий вдоль гребня этой тяжелой шеи, как борода не на том месте; ноги, каждая из которых похожа на прочную роговую дубинку, одинокие среди ног такого количества крупного рогатого скота; так что истинный страх заключается в том, чтобы показать не раздвоенное, а непокрытое копыто. И это не просто словесная фантазия - видеть в нем уникального монстра; ибо в некотором смысле монстр означает то, что уникально, и он действительно уникален. Но дело в том, что когда мы таким образом видим его таким, каким его увидел первый человек, мы снова начинаем в некотором роде представлять, что это значило, когда первый человек ехал на нем верхом. В таком сне он может показаться уродливым, но он не кажется невпечатляющим; и уж точно тот двуногий карлик, который смог взобраться на него сверху, не покажется невпечатляющим. Более долгим и извилистым путем мы вернемся к тому же чуду человека и лошади; и чудо это будет, если возможно, еще более чудесным. Мы снова увидим Святого Георгия; тем более великолепного, что святой Георгий не верхом на коне, а скорее верхом на драконе.

В этом примере, который я привел просто потому, что это пример, следует отметить, что я не говорю, что кошмар, увиденный первым человеком из леса, более правдив или более чудесен,

чем обычная кобыла в конюшне, увиденная цивилизованным человеком, который может оценить то, что нормально. Из двух крайностей, я думаю, в целом, традиционное понимание истины лучше. Но я говорю, что истина находится на той или иной из этих двух крайностей и теряется в промежуточном состоянии простой усталости и забвения традиции. Другими словами, я говорю, что лучше видеть в лошади чудовище, чем рассматривать ее только как медленную замену автомобилю. Если мы пришли в такое состояние ума, когда относимся к лошади как к чему-то несвежему, гораздо лучше бояться лошади, потому что она слишком свежая.

Итак, как это происходит с чудовищем, которое называется лошадью, так и с чудовищем, которое называется человеком. Конечно, по моему мнению, лучшее условие из всех - всегда относиться к человеку так, как он рассматривается в моей философии. Тот, кто придерживается христианского и католического взгляда на природу человека, будет уверен, что это универсальный и, следовательно, здравый взгляд, и будет удовлетворен. Но если он потерял нормальное видение, он может вернуть его только чем-то очень похожим на безумное видение, то есть увидев человека как странное животное и осознав, насколько он странное животное. Но точно так же, как видение лошади как доисторического вундеркинда в конечном итоге привело к восхищению мастерством человека, а не от него, так *идейственно* отстраненное рассмотрение любопытного пути человека приведет к древней вере в темные замыслы Бога, а не от нее. Другими словами, именно тогда, когда мы видим, насколько странен четвероногий, мы восхваляем человека, который садится на него верхом; и именно тогда, когда мы видим, насколько странен двуногий, мы восхваляем Провидение, создавшее его.

Короче говоря, цель этого введения - поддержать этот тезис: именно тогда, когда мы действительно рассматриваем человека как животное, мы знаем, что он не животное. Именно тогда, когда мы пытаемся представить его себе в виде коня, вставшего на дыбы, мы внезапно понимаем, что он, должно быть, нечто столь же чудесное, как крылатый конь, вознесшийся к небесным облакам. Вседороги ведут в Рим, все пути снова ведут к центральной и цивилизованной философии, включая эту дорогу через эльфландию и топситурвидом. Но, может быть, лучше никогда не покидать страну разумных традиций, где люди легко ездят на лошадях и являются могучими охотниками перед Господом.

Так же и в особо христианском случае мы должны реагировать против сильного предубеждения в виде усталости. Почти невозможно сделать факты яркими, потому что они знакомы; а для падших людей часто бывает правдой, что знакомство - это усталость. Я убежден, что если бы мы могли слово в слово рассказать сверхъестественную историю о Христе как о китайском герое, назвать его Сыном Неба, а не Сыном Бога, и проследить его лучистый нимб на золотой нити китайских вышивок или золотом лаке китайской керамики, а не на сусальном золоте наших собственных старых католических картин, было бы единодушное свидетельство духовной чистоты этой истории. Тогда мы ничего не услышали бы о несправедливости замены или нелогичности искупления, о суеверном преувеличении бремени греха или о невозможной наглости вторжения в законы природы. Мы должны восхищаться рыцарством китайской концепции бога, который упал с неба, чтобы сразиться с драконами и спасти нечестивых от того, чтобы быть пожранными по их собственной вине и глупости. Мы должны восхищаться тонкостью китайского взгляда на жизнь, который понимает, что все человеческое несовершенство на самом деле является вопиющим несовершенством. Мы должны восхищаться китайской эзотерической и высшей мудростью, которая утверждает, что

существуют более высокие космические законы, чем те, которые мы знаем; мы верим каждому обычному индийскому фокуснику, который решает прийти к нам и говорить в том же стиле. Если бы христианство было всего лишь новой восточной модой, его никогда бы не упрекнули в том, что это старая восточная вера. В этой книге я не предлагаю следовать предполагаемому примеру святого Франциска Ксаверия с противоположным воображаемым намерением и превращать Двенадцать Апостолов в мандаринов; не столько для того, чтобы они выглядели как местные жители, сколько для того, чтобы они выглядели как иностранцы. Я не предлагаю проделывать то, что, на мой взгляд, было бы вполне успешным розыгрышем; рассказывать всю историю Евангелия и всей истории Церкви в окружении пагод и косичек; и со злорадным юмором отмечать, насколько этой историей восхищались как языческой историей в тех самых кругах, где ее осуждают как христианскую. Но я действительно предлагаю по возможности подчеркивать то, что является новым и странным, и по этой причине стиль даже такой серьезной темы иногда может быть намеренно гротескным и причудливым. Я действительно хочу помочь читателю увидеть христианский мир со стороны, в том смысле, что он видит его как единое целое на фоне других исторических событий; точно так же, как я хочу, чтобы он увидел человечество в целом на фоне природных явлений. И я говорю, что в обоих случаях, если смотреть на них таким образом, они выделяются на общем фоне, как сверхъестественные вещи. Они не сливаются с остальными цветами импрессионизма; они выделяются на фоне остальных цветов геральдики; такие же яркие, как красный крест на белом щите или черный лев на золотом фоне. Так выделяется Красная Глина на фоне зеленого поля природы или Белый Христос на фоне красной глины своего народа.

Но для того, чтобы ясно видеть их, мы должны видеть их как единое целое. Мы должны увидеть, как они развивались, а также с чего начинались; ибо самая невероятная часть истории заключается в том, что вещи, которые начались таким образом, должны были развиваться таким образом. Любой, кто предпочитает предаваться простому воображению, может представить, что могли произойти другие вещи или эволюционировали другие сущности. Любой, кто думает о том, что могло бы произойти, может представить себе своего рода эволюционное равенство; но любой, кто сталкивается с тем, что произошло, должен столкнуться с исключением и вундеркиндом. Если когда-либо был момент, когда человек был всего лишь животным, мы можем, если захотим, перенести причудливую картину его карьеры на какое-нибудь другое животное. Можно было бы создать занимательную фантазию, в которой слоны строили бы слоновью архитектуру, с башнями и турелями, похожими на бивни и хоботы, города, превосходящие по масштабам любого колосса. Можно было бы придумать приятную басню, в которой корова придумала себе костюм и надела четыре сапога и две пары брюк. Мы могли бы представить себе Супермонкла, более чудесного, чем любой Супермен, четвероногое существо, вырезающее и рисующее руками, готовящее и плотничающее ногами. Но если мы рассмотрим, что же произошло на самом деле, мы, несомненно, решим, что человек отделился от всего остального на расстояние, подобное астрономическому пространству, и со скоростью, подобной тихой молнии света. И точно так же, хотя мы можем, если захотим, увидеть Церковь среди толпы митраистских или манихейских суеверий, ссорящихся и убивающих друг друга на закате Империи, хотя мы можем, если захотим, представить Церковь погибшей в борьбе и какой-нибудь другой случайный культ, занявший ее место, мы будем тем более удивлены (и, возможно, озадачены), если увидим ее две тысячи лет спустя, проносившейся сквозь века как крылатая молния мысли и неугасимого энтузиазма; вещь, не имеющая конкурентов или сходства; и все такая же новая, сколь и старая.

ЧАСТЬ I

О СУЩЕСТВЕ ПОД НАЗВАНИЕМ ЧЕЛОВЕК

ГЛАВА I

ЧЕЛОВЕК В ПЕЩЕРЕ

Далеко-далеко, в каком-то странном созвездии, в бесконечно далеких небесах, есть маленькая звезда, которую, возможно, когда-нибудь обнаружат астрономы. По крайней мере, я никогда не мог заметить в лицах или поведении большинства астрономов или людей науки каких-либо свидетельств того, что они это открыли; хотя на самом деле они все время ходили по нему. Это звезда, которая порождает из себя очень странные растения и очень странных животных; и нет никого более странного, чем люди науки. По крайней мере, именно так я должен был бы начать историю мира, если бы мне пришлось следовать научному обычаю начинать с описания астрономической вселенной. Я должен попытаться увидеть даже эту землю со стороны, не банально настаивая на ее относительном положении к солнцу, а с помощью какого-то творческого усилия представить ее удаленное положение для дегуманизированного зрителя. Только я не верю в дегуманизацию для того, чтобы изучать человечество. Я не верю в то, что нужно заикаться на расстояниях, которые, как предполагается, уменьшают мир; я думаю, что есть даже что-то немного вульгарное в этой идее пытаться упрекнуть дух размером. И поскольку первая идея - сделать землю странной планетой, чтобы придать ей значимость, - невыполнима, я не буду опускаться до другого трюка - сделать ее маленькой планетой, чтобы сделать ее незначительной. Я бы предпочел настаивать на том, что мы вообще не знаем, что это планета, в том смысле, в каком мы знаем, что это место; и к тому же очень необычное место. Это та нота, которую я хочу отметить с самого начала, если не астрономическим, то каким-нибудь более привычным способом.

Одно из моих первых журналистских приключений, или злоключений, касалось комментария о Гранте Аллене, написавшем книгу об эволюции идеи Бога. Я случайно заметил, что было бы гораздо интереснее, если бы Бог написал книгу об эволюции идеи Гранта Аллена. И я помню, что редактор возразил против моего замечания на том основании, что оно было богохульным; что, естественно, немало позабавило меня. Шутка, конечно, заключалась в том, что ему никогда не приходило в голову обратить внимание на название самой книги, которое на самом деле было богохульным, поскольку в переводе на английский оно гласило: 'Я покажу вам, как это бессмысленное представление о существовании Бога выросло среди людей'. Мое замечание было строго благочестивым и уместным; оно исповедовало божественный замысел даже в его самых, казалось бы, темных или бессмысленных проявлениях. За этот час я многому научился, включая тот факт, что в большей части этого агностического благоговения есть что-то чисто

акустическое. Редактор не увидел в этом смысла, потому что в названии книги длинное слово стояло в начале, а короткое - в конце; тогда как в моем комментарии короткое слово стояло в начале и повергло его в своего рода шок. Я заметил, что если вы вставляете слово "Бог" в одно предложение со словом "собака", эти резкие и угловатые слова действуют на людей как пистолетные выстрелы. Говорите ли вы, что Бог создал собаку, или собака создала Бога, по-видимому, не имеет значения; это всего лишь один из бесплодных споров слишком утонченных теологов. Но пока вы начинаете с такого длинного слова, как эволюция, остальное пройдет мимо вас, не причинив вреда; очень вероятно, что редактор не прочитал название полностью, потому что это довольно длинное название, а он был довольно занятым человеком.

Но этот маленький инцидент навсегда запечатлелся в моей памяти как своего рода притча. Большинство современных историй человечества начинаются со слова "эволюция" и с довольно многословного описания эволюции, во многом по той же причине, которая действовала в данном случае. В этом слове и даже в идее есть что-то медленное, успокаивающее и постепенное. На самом деле, касаясь этих первичных вещей, это не очень практичное слово или очень прибыльная идея. Никто не может представить, как ничто могло превратиться во что-то. Никто не может приблизиться к этому ни на дюйм, объяснив, как нечто могло превратиться во что-то другое. На самом деле гораздо логичнее начать со слов 'В начале Бог сотворил небо и землю', даже если вы имеете в виду только 'В начале какая-то невысказанная сила начала какой-то невысказанный процесс'. Ибо Бог по своей природе является именем таинственным, и никто никогда не предполагал, что человек может представить себе, как был создан мир, не больше, чем он сам мог его создать. Но эволюцию действительно ошибочно принимают за объяснение. У нее есть фатальное свойство оставлять у многих умов впечатление, что они понимают ее и все остальное; точно так же многие из них живут в своего рода иллюзии, что они прочитали *"Происхождение видов"*.

Но это представление о чем-то плавном и медленном, например, о подъеме по склону, является большой частью иллюзии. Это нелогично, равно как и иллюзорно, ибо медлительность на самом деле не имеет ничего общего с вопросом. Событие больше не является внутренне понятным или непонятным из-за скорости, с которой оно происходит. Для человека, который не верит в чудо, медленное чудо было бы столь же невероятным, как и быстрое. Греческая ведьма, возможно, одним взмахом волшебной палочки превращала моряков в свиней. Но видеть, как наш знакомый морской джентльмен с каждым днем все больше становится похожим на свинью, пока у него не появились четыре рыска и курчавый хвост, было бы ничуть не более успокаивающе. Это могло бы быть гораздо более жутким и сверхъестественным. Средневековый волшебник, возможно, и летал по воздуху с вершины башни, но видеть пожилого джентльмена, идущего по воздуху неторопливо и расслабленно, все равно, по-видимому, требует какого-то объяснения. И все же через все рационалистическое рассмотрение истории проходит эта любопытная и запутанная идея о том, что трудностей можно избежать или даже устранить тайну, сосредоточившись на простой задержке или на чем-то замедляющем в процессах вещей. О конкретных примерах можно будет кое-что сказать в другом месте; здесь вопрос заключается в ложной атмосфере удобства и непринужденности, создаваемой простым предложением ехать медленно; в том комфорте, который может быть предоставлен нервной пожилой женщине, впервые путешествующей в автомобиле.

Мистер Герберт Г. Уэллс признался, что был пророком; и в этом вопросе он был пророком за свой собственный счет. Любопытно, что его первая сказка была полным ответом на его

последнюю книгу по истории. Машина времени заранее разрушила все удобные выводы, основанные на простой относительности времени. В этом возвышенном кошмаре герой видел, как деревья взлетают вверх, как зеленые ракеты, и растительность распространяется зримо, как зеленое пожарище, или как солнце проносится по небу с востока на запад со скоростью метеора. И все же в его понимании эти события были совершенно естественными, когда происходили быстро; а в нашем понимании они столь же сверхъестественны, когда происходят медленно. Главный вопрос заключается в том, почему они вообще уходят; и любой, кто действительно понимает этот вопрос, будет знать, что это всегда было и всегда будет религиозным вопросом; или, во всяком случае, философским или метафизическим вопросом. И уж точно он не подумает, что на этот вопрос можно ответить какой-то заменой постепенного на резкое изменение; или, другими словами, просто относительным вопросом о том, что одна и та же история быстро прокручивается, как это можно сделать с любой историей в кинотеатре, повернув ручку.

Теперь для решения этих проблем примитивного существования необходимо нечто, больше похожее на примитивный дух. Излагая это видение первых вещей, я бы попросил читателя провести со мной своего рода эксперимент по простоте. И под простотой я подразумеваю не глупость, а скорее ту ясность, которая позволяет видеть такие вещи, как жизнь, а не такие слова, как эволюция. Для этой цели действительно было бы лучше повернуть ручку Машины Времени немного быстрее и увидеть, как растет трава и деревья устремляются в небо, если бы этот эксперимент мог сжаться, сконцентрироваться и наглядно представить итог всего происходящего. Что мы знаем, в том смысле, в каком мы не знаем ничего другого, так это то, что деревья и трава действительно росли и что на самом деле происходит ряд других необычных вещей; что странные существа удерживаются в пустом воздухе, ударяя по нему веерами различных фантастических форм; что другие странные существа выживают под грузом могучих вод; что другие странные существа ходят на четырех ногах, а самое странное существо из всех ходит на двух. Это вещи, а не теории; и по сравнению с ними эволюция, атом и даже солнечная система - всего лишь теории. Речь здесь идет об истории, а не о философии; так что нужно только отметить, что ни один философ не отрицает, что два великих перехода все еще окутаны тайной: происхождение самой вселенной и происхождение самого принципа жизни. Большинству философов хватает пронизательности добавить, что третья тайна связана с происхождением самого человека. Другими словами, третий мост был построен через третью бездну немыслимого, когда в мир пришло то, что мы называем разумом и то, что мы называем волей. Человек - это не просто эволюция, а скорее революция. То, что у него есть позвоночник или другие части тела, сходные с птицами и рыбами, является очевидным фактом, каково бы ни было значение этого факта. Но если мы попытаемся рассматривать его, так сказать, как четвероногое, стоящее на задних лапах, мы обнаружим, что дальнейшее гораздо более фантастично и подрывно, чем если бы он стоял на голове.

Я возьму один пример, который послужит введением к истории человека. Это иллюстрирует то, что я имею в виду, говоря, что необходима определенная детская непосредственность, чтобы увидеть правду о детстве мира. Это иллюстрирует то, что я имею в виду, говоря, что смесь научно-популярной лексики и журналистского жаргона запутала факты о первых вещах, так что мы не можем увидеть, что из них действительно стоит на первом месте. Это иллюстрирует, хотя и только в одной удобной форме, все, что я подразумеваю под необходимостью видеть резкие различия, которые придают форму истории, вместо того, чтобы погружаться во все эти обобщения о медлительности и однообразии. Ибо нам действительно требуется, по выражению

м-ра Уэллса, очерк истории. Но мы можем рискнуть сказать, по выражению м-ра Мантанини, что эта эволюционная история не имеет очертаний или является полнейшим очерком. Но, прежде всего, это иллюстрирует то, что я имею в виду, говоря, что чем больше мы на самом деле смотрим на человека как на животное, тем меньше он будет на него похож.

Сегодня все наши романы и газеты кишат бесчисленными намеками на популярного персонажа по имени Пещерный человек. Он кажется нам довольно знакомым не только как общественный персонаж, но и как частный персонаж. Его психология серьезно учитывается в психологической литературе и психологической медицине. Насколько я могу понять, его главным занятием в жизни было избивать свою жену или обращаться с женщинами вообще с тем, что, я полагаю, известно в мире кино как 'грубые вещи'. Мне никогда не доводилось сталкиваться с доказательствами этой идеи; и я не знаю, на каких примитивных дневниках или доисторических отчетах о разводе она основана. Также, как я уже объяснял в другом месте, я никогда не был в состоянии увидеть вероятность этого, даже рассматриваемую априори. Нам всегда говорят без каких-либо объяснений или авторитетных источников, что первобытный человек взмахнул дубинкой и сбил женщину с ног, прежде чем унести ее. Но при любой аналогии с животными это казалось бы почти болезненной скромностью и нежеланием со стороны леди всегда настаивать на том, чтобы ее сбили с ног, прежде чем согласиться на то, чтобы ее унесли. И я повторяю, что никогда не могу понять, почему, когда мужчина был так груб, женщина должна была быть такой утонченной. Пещерный человек, возможно, и был животным, но нет никаких причин, по которым он должен был быть более жестоким, чем животные. И любовь жирафов и речные романы гиппопотамов совершаются без всякой предварительной шумихи. Пещерный человек, возможно, был ничем не лучше пещерного медведя; но детеныш медведицы, столь известной в гимнологии, не воспитан с таким предубеждением к тому, чтобы оставаться старой девой. Короче говоря, эти подробности домашней жизни пещеры ставят меня в тупик в связи либо с эволюционной, либо со статической гипотезой; и в любом случае я хотел бы изучить доказательства в их пользу; но, к сожалению, я так и не смог их найти. Но любопытно вот что: в то время как десять тысяч языков более или менее научных или литературных сплетен, казалось, говорили одновременно об этом несчастном человеке под названием пещерный человек, той единственной связью, в которой действительно уместно и разумно говорить о нем как о пещерном человеке, сравнительно пренебрегли. Люди использовали этот расплывчатый термин двадцатью разными способами, но они никогда даже не смотрели на свой собственный термин, чтобы понять, чему на самом деле можно из него научиться.

На самом деле, людей интересовало все о пещерном человеке, кроме того, что он делал в пещере. Теперь, оказывается, есть некоторые реальные свидетельства того, что он делал в пещере. Этого достаточно мало, как и всех доисторических свидетельств, но в нем рассказывается о реальном пещерном человеке и его пещере, а не о литературном пещерном человеке и его дубинке. И для нашего чувства реальности будет полезно просто рассмотреть, что это за реальное свидетельство, и не выходить за его пределы. То, что было найдено в пещере, было не дубинкой, а ужасной окровавленной дубинкой, на которой было указано количество женщин, которых она ударила по голове. Пещера не была Комнатой Синей Бороды, заполненной скелетами зарезанных жен; она не была заполнена женскими черепами, расположенными рядами и треснувшими, как яйца. Это было нечто совершенно не связанное, так или иначе, со всеми современными фразами, философскими подтекстами и литературными слухами, которые запутывают для нас весь вопрос. И если мы хотим увидеть то, что есть на самом деле, этот подлинный проблеск утра мира, было бы гораздо лучше воспринимать даже

историю его открытия как некую подобную легенде о стране утра. Было бы гораздо лучше рассказать историю о том, что было найдено на самом деле, так же просто, как историю о героях, нашедших Золотое руно, или о Садах Гесперид, если бы мы могли таким образом вырваться из тумана противоречивых теорий в ясные цвета и четкие очертания такого рассвета. Древние эпические поэты, по крайней мере, знали, как рассказать историю, возможно, высокую историю, но никогда не извращенную историю, никогда не историю, искаженную до такой степени, чтобы соответствовать теориям и философиям, изобретенным столетия спустя. Было бы хорошо, если бы современные исследователи могли описывать свои открытия в лаконичном повествовательном стиле первых путешественников, без каких-либо длинных аллюзий, полных неуместных подтекстов и предположений. Тогда мы могли бы точно понять, что мы действительно знаем о пещерном человеке или, по крайней мере, о пещере.

Некоторое время назад священник и мальчик вошли в лощину в холмах и прошли в нечто вроде подземного туннеля, который вел в лабиринт таких же запечатанных и тайных коридоров в скале. Они ползали по трещинам, которые казались почти непроходимыми, они пробирались по туннелям, которые могли быть созданы для кротов, они падали в ямы, столь же безнадежные, как колодцы, они, казалось, хоронили себя заживо семь раз подряд без надежды на воскрешение. Это всего лишь банальность всех подобных смелых исследований; но здесь нужен кто-то, кто представит такие истории в первичном свете, в котором они не являются банальными. Есть, например, что-то странно символическое в том, что первыми, кто вторгся в этот затонувший мир, были священник и мальчик, прообразы древности и юности мира. Но здесь меня даже больше интересует символика мальчика, чем символика священника. Никому, кто помнит детство, не нужно объяснять, что может быть для мальчика, если он, подобно Питеру Пэну, войдет под крышу из корней всех деревьев и будет спускаться все глубже и глубже, пока не достигнет того, что Уильям Моррис назвал самыми корнями гор. Предположим, что кто-то с тем простым и неиспорченным реализмом, который является частью невинности, продолжит это путешествие до конца не ради того, что он мог бы вывести или продемонстрировать в какой-нибудь пыльной журнальной полемике, а просто ради того, что он мог бы увидеть. То, что он наконец увидел, было пещерой, настолько далекой от дневного света, что это могла быть легендарная пещера Домданиэля, которая находилась под дном моря. Эта тайная пещера в скале, когда ее осветили после долгой ночи бесчисленных веков, обнаружила на своих стенах большие и растянутые очертания, украшенные разноцветными земными узорами; и когда они проследили за их линиями, то узнали, несмотря на эту необъятность и пустоту веков, движение и жест человеческой руки. Это были рисунки животных; и они были нарисованы не только человеком, но и художником. Какими бы архаичными ни были ограничения, они демонстрировали ту любовь к длинным размашистым или колеблющимся линиям, которую признает любой человек, когда-либо рисовавший или пытавшийся рисовать; и по поводу которой ни один художник не позволит ни одному ученому противоречить себе. Они показали экспериментальный и авантюрный дух художника, дух, который не избегает, а пробует трудные вещи; например, рисовальщик изобразил действие оленя, когда он резко поворачивает голову и прижимается носом к своему хвосту, действие, достаточно знакомое лошади. Но есть много современных художников-анималистов, которые поставили бы перед собой определенную задачу передать это по-настоящему. По этой и двадцати другим деталям ясно, что художник наблюдал за животными с определенным интересом и, по-видимому, с определенным удовольствием. В этом смысле казалось бы, что он был не только художником, но и натуралистом; таким натуралистом, который действительно естествен.

Теперь нет необходимости отмечать, разве что мимоходом, что в атмосфере этой пещеры нет ровным счетом ничего, что напоминало бы мрачную и пессимистичную атмосферу журналистской пещеры ветров, которая дует и ревет вокруг нас бесчисленными отголосками, касающимися пещерного человека. Насколько на любой человеческий характер могут наметнуться такие следы прошлого, этот человеческий характер вполне человечесен и даже гуманен. Это, конечно, не идеал нечеловеческого характера, подобный абстракции, на которую ссылаются в популярной науке. Когда романисты, педагоги и психологи всех мастей говорят о пещерном человеке, они никогда не представляют его в связи с чем-либо, что на самом деле находится в пещере. Когда реалист сексуального романа пишет: 'В мозгу Дагмара Даблдика заплясали красные искры; он почувствовал, как в нем поднимается дух пещерного человека', читатели писательницы были бы очень разочарованы, если бы Дагмар просто ушла и нарисовала большие изображения коров на стене гостиной. Когда психоаналитик пишет пациенту: 'Скрытые инстинкты пещерного человека, несомненно, побуждают вас к удовлетворению импульса насилия', он не имеет в виду побуждение рисовать акварелью или добросовестно изучать, как крупный рогатый скот поворачивает голову, когда пасется. И все же мы точно знаем, что пещерный человек совершал эти кроткие и невинные поступки; и у нас нет ни малейших доказательств того, что он совершал какие-либо насильственные и свирепые поступки. Другими словами, пещерный человек в том виде, в каком его нам обычно представляют, - это просто миф или, скорее, путаница, ибо в мифе есть, по крайней мере, образный контур истины. Вся нынешняя манера говорить - это просто путаница и недоразумение, не основанное ни на каких научных доказательствах и оцениваемое только как оправдание очень современного настроения анархии. Если какой-нибудь джентльмен хочет поколотить женщину, он, конечно, может быть хамом, не лишая себя характера пещерного человека, о котором мы почти ничего не знаем, кроме того, что можем почерпнуть из нескольких безобидных и приятных картинок на стене.

Но дело не в самих картинках и не в той конкретной морали, которую из них можно извлечь. Эта мораль - нечто гораздо большее и простое, настолько большое и банальное, что при первом изложении она покажется ребяческой. И действительно, это в высшем смысле ребячество; и именно поэтому в этой апологии я в некотором смысле посмотрел на это глазами ребенка. Это самый большой из всех фактов, с которыми действительно сталкивается мальчик в пещере; и, возможно, он слишком велик, чтобы его можно было увидеть. Если мальчик был одним из прихожан священника, можно предположить, что он был воспитан в определенном качестве здравого смысла; того здравого смысла, который часто приходит к нам в форме традиции. В этом случае он просто признал бы работу первобытного человека работой человека, интересной, но ни в коей мере не невероятной в том, что она примитивна. Он увидел бы то, что было на что посмотреть; и его не соблазнили бы увидеть то, чего там не было, никакие эволюционные волнения или модные спекуляции. Если бы он слышал о подобных вещах, то, конечно, признал бы, что эти предположения могли быть правдой и не были несовместимы с фактами, которые были правдой. Возможно, у художника была и другая сторона его характера, помимо той, которую он единственный запечатлел в своих произведениях искусства. Первобытный человек, возможно, получал удовольствие от избияния женщин так же, как от рисования животных; все, что мы можем сказать, это то, что рисунки отражают одно, но не другое. Возможно, это правда, что когда пещерный человек заканчивает прыгать на своей матери или жене, в зависимости от обстоятельств, ему нравится слушать журчание маленького ручейка, а также наблюдать за оленями, спускающимися к ручью напиться. Эти вещи не

являются невозможными, но они не имеют отношения к делу. Здравый смысл ребенка мог бы ограничиться извлечением из фактов того, чему факты могут научить; а рисунки в пещере - это почти все факты, которые там есть. Насколько можно судить по этим свидетельствам, ребенок был бы вправе предположить, что человек изобразил животных камнем и красной охрой по той же причине, по какой он сам имел привычку изображать животных углем и красным мелом. Мужчина нарисовал оленя точно так же, как ребенок нарисовал лошадь, потому что это было весело. Мужчина нарисовал оленя с повернутой головой, как ребенок нарисовал свинью с закрытыми глазами, потому что это было трудно. Ребенок и мужчина, будучи оба людьми, были бы объединены братством людей; а братство людей еще благороднее, когда оно перекидывает мост через пропасть веков, чем когда оно перекидывает мост только через классовую пропасть. Но в любом случае он не увидел бы никаких свидетельств того, что пещерный человек придерживался грубого эволюционизма, потому что ничего такого не было видно. Если бы кто-нибудь сказал ему, что все рисунки были нарисованы святым Франциском Ассизским из чистой любви к животным, в пещере не нашлось бы ничего, что могло бы этому противоречить.

Действительно, когда-то я знал даму, которая полушутя предположила, что пещера была яслями, куда помещали младенцев для особой безопасности, и что на стенах были нарисованы цветные животные, чтобы позабавить их; совсем как рисунки слонов и жирафов украшают современную детскую школу. И хотя это была всего лишь шутка, она привлекает внимание к некоторым другим предположениям, которые мы делаем слишком легко. Фотографии не доказывают даже того, что пещерные люди жили в пещерах, не больше, чем обнаружение винного погреба в Балхэме (спустя долгое время после того, как этот пригород был разрушен человеческим или божественным гневом) доказало бы, что викторианский средний класс жил полностью под землей. Пещера могла иметь особое назначение, как и подвал; это могло быть религиозное святилище, или убежище во время войны, или место встречи тайного общества, или что-то в этом роде. Но совершенно верно, что в его художественном убранстве гораздо больше атмосферы детской, чем в любой из этих ночныхкобыл анархической ярости и страха. Я представил себе ребенка, стоящего в пещере; и легко представить себе любого ребенка, современного или неизмеримо далекого, делающего живой жест, словно похлопывающего нарисованных зверей по стене. В этом жесте, как мы увидим позже, есть предзнаменование другой пещеры и другого ребенка.

Но предположим, что мальчика учил не священник, а профессор, один из профессоров, которые сводят отношения людей и животных к простой эволюционной вариации. Предположим, мальчик с той же простотой и искренностью видел себя простым Маугли, бегущим в естественной стае и практически неотличимым от остальных, за исключением относительного и недавнего изменения. Каким был бы для него самый простой урок из этой странной каменной книжки с картинками? В конце концов, все сводилось к тому, что он копал очень глубоко и нашел место, где человек нарисовал северного оленя. Но ему пришлось копать гораздо глубже, прежде чем он нашел место, где северный олень нарисовал человека. Это звучит как трюизм, но в данном случае это действительно потрясающая правда. Он мог бы опуститься на немыслимые глубины, он мог бы погрузиться на затонувшие континенты, столь же странные, как далекие звезды, он мог бы оказаться внутри мира, столь же далекого от людей, как обратная сторона Луны; он мог бы увидеть в этих холодных пропастях или колоссальных каменных террасах, начертанных слабыми иероглифами окаменелостей, руины исчезнувших династий биологической жизни, скорее похожие на руины последовательных творений и отдельных вселенных, чем на этапы истории одной. Он обнаружил бы след чудовищ, слепо

развивающихся в направлениях, выходящих за рамки всех наших обычных представлений о рыбах и птицах; ощупывающих, хватающих и прикасающихся к жизни каждым экстравагантным удлинением рога, языка и щупальца; растущих лесом фантастических карикатур на коготь, плавник и палец. Но нигде он не нашел ни одного пальца, который провел бы одну важную линию на песке; нигде ни одного когтя, который хотя бы начал царапать слабый намек на форму. По всей видимости, это было бы столь же немыслимо во всех этих бесчисленных космических вариациях забытых эпох, как и в зверях и птицах перед нашими глазами. Ребенок ожидал бы увидеть это не больше, чем увидеть, как кошка нацарапывает на стене мстительную карикатуру на собаку. Детский здравый смысл удержал бы самого эволюционирующего ребенка от ожидания увидеть что-либо подобное; однако в следах грубых и недавно эволюционировавших предков человечества он увидел бы именно это. Ему, несомненно, должно показаться странным, что люди, столь далекие от него, находятся так близко, а звери, столь близкие к нему, - так далеко. Для его простоты должно показаться по меньшей мере странным, что он не смог найти никаких следов зарождения каких-либо искусств ни у каких животных. Это самый простой урок, который можно выучить в пещере цветных картинок; только он слишком прост, чтобы его можно было выучить. Это простая истина, что человек действительно отличается от животных по виду, а не по степени; и доказательство этого здесь; что утверждение, что самый примитивный человек нарисовал обезьяну, звучит как трюизм, и что утверждение, что самая умная обезьяна нарисовала человека, звучит как шутка. Появилось что-то от разделения и диспропорции; и это уникально. Искусство - это почерк человека.

Это своего рода простая истина, с которой действительно должна начинаться история истоков. Эволюционист стоит и смотрит в раскрашенной пещере на вещи, которые слишком велики, чтобы их можно было увидеть, и слишком просты, чтобы их можно было понять. Он пытается вывести всевозможные другие косвенные и сомнительные выводы из деталей картин, потому что не может увидеть первостепенное значение целого; тонкие и теоретические умозаключения об отсутствии религии или наличии суеверий; о племенном правлении, охоте, человеческих жертвоприношениях и бог знает о чем еще. В следующей главе я попытаюсь немного подробнее проследить столь спорный вопрос об этих доисторических истоках человеческих идей, и особенно религиозной идеи. Здесь я рассматриваю только один случай с пещерой как своего рода символ более простой истины, с которой следовало бы начать рассказ. В конце концов, главный факт, который подтверждают записи людей-олений, наряду со всеми другими записями, заключается в том, что человек-олень умел рисовать, а северный олень - нет. Если человек-олень был таким же животным, как и северный олень, то тем более необычным было то, что он мог делать то, чего не могли все другие животные. Если он был обычным продуктом биологического роста, как любой другой зверь или птица, то тем более удивительно, что он ни в малейшей степени не был похож ни на какого другого зверя или птицу. Он кажется скорее более сверхъестественным как натуральный продукт, чем как сверхъестественное существо.

Но я начал этот рассказ в пещере, подобной пещере размышлений Платона, потому что это своего рода модель ошибки простых эволюционных введений и предисловий. Бесполезно начинать с утверждения, что все происходило медленно и гладко и было просто вопросом развития и степени. Ибо в таком простом материале, как фотографии, на самом деле нет и следа какого-либо такого развития или степени. Обезьяны не начинали рисовать, а люди заканчивали их; Питекантроп неплохо нарисовал северного оленя, а Homo Sapiens нарисовал его хорошо. Высшие животные не рисовали портретов все лучше и лучше; собака в свой лучший период рисовала не лучше, чем в раннем плохом образе шакала; дикая лошадь не была

импрессионистом, а скаковая лошадь - постимпрессионистом. Все, что мы можем сказать об этом понятии воспроизведения вещей в тени или репрезентативной форме, это то, что оно не существует нигде в природе, кроме человека; и что мы не можем даже говорить о нем, не рассматривая человека как нечто отдельное от природы. Другими словами, любая разумная история должна начинаться с человека как такового, с чего-то абсолютного и одинокого. Как он туда попал, или, вернее, как туда попало что-либо еще, это дело теологов, философов и ученых, а не историков. Но отличным примером такой изоляции и таинственности является тема импульса искусства. Это создание действительно отличалось от всех других созданий; потому что он был не только созданием, но и творцом. Ничто в этом смысле не могло быть создано по какому-либо другому образу, кроме образа человека. Но истина настолько истинна, что даже при отсутствии каких-либо религиозных верований ее необходимо принимать в виде какого-либо морального или метафизического принципа. В следующей главе мы увидим, как этот принцип применим ко всем историческим гипотезам и эволюционной этике, которые сейчас в моде; к истокам племенного правления или мифологических верований. Но самый ясный и удобный пример для начала - это популярный пример того, что на самом деле делал пещерный человек в своей пещере. Это означает, что так или иначе в пещерной ночи природы появилось нечто новое; разум, подобный зеркалу. Он подобен зеркалу потому что это действительно предмет отражения. Это похоже на зеркало, потому что только в нем все остальные формы можно увидеть, как сияющие тени в видении. Прежде всего, это похоже на зеркало, потому что это единственная вещь в своем роде. Другие вещи могут быть похожи на него или друг на друга по-разному; другие вещи могут превосходить его или друг друга по-разному; точно так же, как в меблировке комнаты стол может быть круглым, как зеркало, или шкаф может быть больше зеркала. Но зеркало - это единственная вещь, которая может вместить их все. Человек - это микрокосм; человек - мера всех вещей; человек - образ Божий. Это единственные настоящие уроки, которые можно усвоить в пещере, и пришло время выйти из нее на открытую дорогу.

Однако в этом месте было бы неплохо раз и навсегда подытожить, что подразумевается под утверждением, что человек является одновременно исключением из всего, зеркалом и мерой всех вещей. Но чтобы увидеть человека таким, каков он есть, необходимо еще раз приблизиться к той простоте, которая может рассеять скопившиеся облака софистики. Самая простая истина о человеке заключается в том, что он очень странное существо; почти в том смысле, что он чужой на земле. При всей трезвости, у него гораздо больше внешнего облика человека, принесшего чуждые привычки из другой страны, чем простого роста из этой. У него есть несправедливое преимущество и несправедливый недостаток. Он не может спать в собственной шкуре; он не может доверять собственным инстинктам. Он одновременно творец,двигающий чудесными руками и перстами, и своего рода калека. Он завернут в искусственные бинты, называемые одеждой; он опирается на искусственные костыли, называемые мебелью. Его разум обладает теми же сомнительными свободами и теми же дикими ограничениями. Одинокий среди животных, он сотрясается от прекрасного безумия, называемого смехом; как будто он прозрел какую-то тайну в самой форме вселенной, скрытую от самой вселенной. Одинокий среди животных, он чувствует потребность отвести свои мысли от коренных реальностей своего собственного телесного бытия; скрывать их, как в присутствии некой высшей возможности, которая создает тайну стыда. Превозносим ли мы эти вещи как естественные для человека или ругаем их как искусственные по своей природе, они остаются в том же смысле уникальными. Это осознается всем народным инстинктом, называемым

религией, пока ему не мешают педанты, особенно трудолюбивые педанты Простой Жизни. Самые софистичные из всех софистов - гимнософисты.

Неестественно рассматривать человека как естественный продукт. Не соответствует здравому смыслу называть человека обычным объектом страны или морского побережья. Видеть в нем животное - значит не видеть его прямо. Это ненормально. Это грешит против света; против того широкого дневного света пропорций, который является принципом всей реальности. Этого можно достичь, растягивая акценты, оформляя дело, искусственно выбирая определенный свет и тень, выдвигая на первый план меньшие вещи, которые могут оказаться похожими. Твердая вещь, стоящая на солнце, вещь, вокруг которой мы можем ходить и рассматривать со всех сторон, - это совсем другое. Это также довольно необычно; и чем больше сторон мы видим, тем более необычным это кажется. Это решительно не то, что следует или естественным образом вытекает из чего-либо другого. Если мы представим, что нечеловеческий или безличный разум мог бы с самого начала ощутить общую природу нечеловеческого мира в достаточной степени, чтобы увидеть, что вещи будут развиваться независимо от того, каким образом они действительно развивались, то во всем этом естественном мире не было бы ровным счетом ничего, что подготовило бы такой разум к такой неестественной новизне. Такому уму человек, безусловно, не казался бы чем-то вроде одного стада из ста, нашедшего более богатые пастбища, или одной ласточки из ста ласточек, проводящих лето под чужим небом. Это было бы не в том же масштабе и едва ли в том же измерении. С таким же успехом мы могли бы сказать, что это было бы не в той же вселенной. Это было бы больше похоже на то, как одна корова из ста коров внезапно перепрыгивает через Луну или как у одной свиньи из ста свиней в мгновение ока вырастают крылья и они улетают. Речь шла бы не о том, чтобы скот нашел свое собственное пастбище, а о том, чтобы они построили свои собственные загоны для скота, не о том, чтобы одна ласточка провела лето, а о том, чтобы она построила летний домик. Ибо сам факт, что птицы действительно строят гнезда, является одним из тех сходств, которые подчеркивают поразительную разницу. Сам факт, что птица может дойти до постройки гнезда и не может продвинуться дальше, доказывает, что у нее нет ума, как у человека; это доказывает это более полно, чем если бы она вообще ничего не строила. Если бы он вообще ничего не построил, он, возможно, был бы философом квиетистской или буддийской школы, безразличным ко всему, кроме внутреннего ума. Но когда он строит так, как он строит, и доволен, и громко поет от удовлетворения, тогда мы знаем, что между ним и нами действительно есть невидимая завеса, как оконное стекло, как окно, в которое напрасно будет биться птица. Но предположим, что наш абстрактный наблюдатель увидел, как одна из птиц начала строить, как строят люди. Предположим, что за невероятно короткий промежуток времени появилось семь стилей архитектуры для одного стиля гнезда. Предположим, птица тщательно выбирала раздвоенные веточки и заостренные листья, чтобы выразить пронзительное благочестие готики, но обратилась к широкой листве и черной грязи, когда в более мрачном настроении попыталась вызвать в памяти тяжелые колонны Бела и Аштарота; устроив свое гнездо действительно в одном из висячих садов Вавилона. Предположим, птица сделала маленькие глиняные статуэтки птиц, прославленных в литературе или политике, и установила их перед гнездом. Предположим, что одна птица из тысячи птиц начала делать одну из тысячи вещей, которые человек уже делал даже на заре мира; и мы можем быть совершенно уверены, что сторонний наблюдатель не стал бы рассматривать такую птицу как простую эволюционную разновидность других птиц; он расценил бы ее как действительно очень пугающую дикую птицу; возможно, как птицу дурного предзнаменования, безусловно, как предзнаменование. Эта птица поведала бы авгурам не о

том, что произойдет, а о том, что уже произошло. Этим чем-то было бы появление разума с новым измерением глубины; разума, подобного человеческому. Если бы Бога не существовало, то никакой другой разум не смог бы этого предвидеть.

Теперь, на самом деле, нет ни тени доказательств того, что *эта* штука вообще эволюционировала. Нет ни малейшего доказательства того, что *этот* переход происходил медленно или даже что он происходил естественным образом. В строго научном смысле мы просто ничего не знаем о том, как оно выросло, росло ли вообще, или что это такое. Может быть изломанный след из камней и костей, слабо указывающий на развитие человеческого тела. Ничто даже отдаленно не указывает на такое развитие человеческого разума. Этого не было, и это было; мы не знаем, в какое мгновение или в какую бесконечность лет. Что-то произошло; и все это выглядит как сделка вне времени. Следовательно, это не имеет ничего общего с историей в обычном смысле. Историк должен принимать это или что-то подобное как должное; объяснять это - не его дело как историка. Но если он не может объяснить это как историк, он не будет объяснять это как биолог. Ни в том, ни в другом случае для него нет ничего постыдного в том, что он принимает это, не объясняя; ибо это реальность, а история и биология имеют дело с реальностями. Он вполне оправдан, спокойно противостоя свинье с крыльями и корове, которая перепрыгнула через Луну, просто потому, что они произошли. Он может разумно принять человека как уродца, потому что он принимает человека как факт. Он может чувствовать себя совершенно комфортно в сумасшедшем и разобщенном мире или в мире, который может производить такие сумасшедшие и разобщенные вещи. Ибо реальность - это то, в чем мы все можем пребывать, даже если кажется, что это едва ли связано с чем-то другим. Вещь есть; и этого достаточно для большинства из нас. Но если мы действительно хотим знать, как оно могло туда попасть, если мы действительно хотим увидеть его реалистичную связь с другими вещами, если мы настаиваем на том, чтобы увидеть, как оно развивалось на наших глазах из среды, более близкой к его собственной природе, тогда, несомненно, мы должны обратиться к совсем другим вещам. Мы должны пробудить в себе очень странные воспоминания и вернуться к очень простым мечтам, если мы желаем какого-то происхождения, которое может сделать человека иным, чем чудовище. Мы обнаружим совсем другие причины, прежде чем он станет порождением причинности; и призовем другой авторитет, чтобы превратить его во что-то разумное или даже во что-то вероятное. На этом пути лежит все одновременно ужасное, знакомое и забытое, с толпящимися ужасными лицами и пылающими руками. Мы можем принять человека как факт, если довольствуемся необъяснимым фактом. Мы можем принять его как животное, если сможем жить со сказочным животным. Но если нам нужна последовательность и необходимость, тогда мы действительно должны обеспечить прелюдию и крещендо нарастающих чудес, которые с немыслимыми раскатами грома прогремят на всех семи небесах другого порядка, человек может быть обычным существом.

ГЛАВА II

ПРОФЕССОРА И ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ЛЮДИ

Наука настолько слаба в отношении этих доисторических явлений, что их едва ли замечали. Наука, современными чудесами которой мы все восхищаемся, преуспевает, постоянно дополняя свои данные. Во всех практических изобретениях, в большинстве естественных

открытий он всегда может увеличить доказательства путем эксперимента. Но он не может экспериментировать в создании людей; или даже в наблюдении за тем, что делают первые люди. Изобретатель может шаг за шагом продвигаться в постройке самолета, даже если он всего лишь экспериментирует с палками и обрезками металла на своем собственном заднем дворе. Но он не может наблюдать, как Недостающее звено развивается на его собственном заднем дворе. Если он допустил ошибку в своих расчетах, самолет исправит это, рухнув на землю. Но если он ошибся относительно древесной среды обитания своего предка, он не сможет увидеть, как его древесный предок падает с дерева. Он не может держать пещерного человека, как кошку, на заднем дворе и наблюдать за ним, чтобы понять, действительно ли он практикует каннибализм или уводит свою пару по принципам брака путем поимки. Он не может держать племя первобытных людей, как свору гончих, и замечать, насколько сильно они подвержены влиянию стадного инстинкта. Если он видит, что какая-то конкретная птица ведет себя определенным образом, он может позвать других птиц и посмотреть, ведут ли они себя таким же образом; но если он находит череп или обломки черепа во впадине холма, он не может превратить это в видение долины сухих костей. Имея дело с прошлым, которое почти полностью исчезло, он может руководствоваться только доказательствами, а не экспериментом. И едва ли доказательств достаточно, чтобы быть даже доказательными. Таким образом, в то время как большая часть науки движется по своего рода кривой, постоянно корректируясь новыми данными, эта наука улетает в космос по прямой, ничем не исправленной. Но привычка делать выводы, поскольку они действительно могут быть сделаны в более плодотворных областях, настолько укоренилась в научном сознании, что оно не может удержаться от подобных разговоров. В нем говорится об идее, предложенной одним кусочком кости, как если бы это было что-то вроде самолета, который в конце концов строится из цельного металлолома - кучи обрезков металла. Проблема профессора доисторического в том, что он не может сдать в утиль свой металлолом. Чудесный и триумфальный аэроплан сделан из сотни ошибок. Изучающий истоки может совершить только одну ошибку и придерживаться ее.

Мы очень верно говорим о терпении науки; но в этой области было бы более справедливо говорить о нетерпении науки. Из-за описанной выше трудности теоретик слишком торопится. У нас есть ряд гипотез, настолько поспешных, что их вполне можно назвать фантазиями, и они ни в коем случае не могут быть дополнительно скорректированы фактами. Самый эмпирический антрополог здесь так же ограничен, как антиквар. Он может цепляться только за фрагмент прошлого и не имеет возможности приумножить его для будущего. Он может цепляться только за свой фрагмент факта, почти как первобытный человек цеплялся за обломок кремня. И действительно, он справляется с этим почти таким же образом и по почти той же причине. Это его инструмент, и его единственный инструмент. Это его оружие, и только его. Он часто пользуется этим с фанатизмом, намного превосходящим все, что демонстрируют люди науки, когда они могут собрать больше фактов из опыта и даже добавить новые факты экспериментальным путем. Иногда профессор со своей костью становится почти таким же опасным, как собака со своей костью. И собака, по крайней мере, не выводит из этого теорию, доказывающую, что человечество идет к собакам — или что оно произошло от них.

Например, я указал на трудность содержания обезьяны и наблюдения за ее эволюцией в человека. Поскольку экспериментальные доказательства такой эволюции невозможны, профессор не довольствуется утверждением (как было бы готово сказать большинство из нас), что такая эволюция в любом случае достаточно вероятна. Он достает свою маленькую косточку или небольшую коллекцию костей и выводит из нее самые удивительные вещи. Он нашел на

Яве часть черепа, которая по своим очертаниям кажется меньше человеческого. Где-то рядом с ним он нашел торчащую бедренную кость и точно так же разбросанные зубы, которые не были человеческими. Если бы все они были частью одного существа, что сомнительно, то наше представление об этом существе было бы почти столь же сомнительным. Но эффект от научно-популярной работы заключался в создании законченной и даже сложной фигуры, проработанной вплоть до мельчайших деталей прически и привычек. Ему дали имя, как если бы он был обычным историческим персонажем. Люди говорили о Питекантропе как о Питте, Фоксе или Наполеоне. Популярное издания публиковали его портреты, такие как портреты Карла Первого и Георга Четвертого. Был воспроизведен подробный рисунок, тщательно заштрихованный, чтобы показать, что все волосы на его голове были пронумерованы. Ни один неосведомленный человек, глядя на его тщательно очерченное лицо и задумчивые глаза, ни на мгновение не подумал бы, что это портрет бедренной кости или нескольких зубов и фрагмента черепа. Точно так же люди говорили о нем, как будто он был личностью, чье влияние и характер были знакомы всем нам. Я только что прочитал в журнале статью о Яве и о том, как современных белых жителей этого острова заставляют плохо себя вести под личным влиянием бедного старого питекантропа. В то, что современные обитатели Явы плохо себя ведут, я могу очень легко поверить; но я не думаю, что они нуждаются в каком-либо поощрении из-за обнаружения нескольких костей, вызывающих крайнее сомнение. Как бы то ни было, этих костей слишком мало, они фрагментарны и сомнительны, чтобы заполнить всю ту огромную пустоту, которая в разуме и реальности лежит между человеком и его звериными предками, если они были его предками. Исходя из предположения об этой эволюционной связи (связи, которую я ни в малейшей степени не собираюсь отрицать), действительно захватывающим и примечательным фактом является сравнительное отсутствие каких-либо подобных останков, свидетельствующих об этой связи в тот момент. Искренность Дарвина действительно признавала это; и именно так мы пришли к использованию такого термина, как Недостажее звено. Но догматизм дарвинистов был слишком силен для агностицизма Дарвина; и люди незаметно скатились к превращению этого полностью негативного термина в позитивный образ. Они говорят о поиске привычек и среды обитания Недостажее звена; как если бы кто-то говорил о дружеских отношениях с пробелом в повествовании или дырой в аргументации, о прогулке с *непоследовательностью* или обеде с нераспределенной серединой.

Поэтому в этом очерке человека в его отношении к определенным религиозным и историческим проблемам я не буду тратить больше места на рассуждения о природе человека до того, как он стал человеком. Возможно, его тело произошло от животных; но мы ничего не знаем ни о каком подобном переходе, который пролил бы хоть малейший свет на его душу, как это проявилось в истории. К сожалению, та же школа писателей придерживается того же стиля рассуждений, когда они приходят к первым реальным свидетельствам о первых настоящих мужчинах. Строго говоря, конечно, мы ничего не знаем о доисторическом человеке по той простой причине, что он был доисторическим. История доисторического человека представляет собой очень очевидное противоречие в терминах. Это тот вид неразумия, которому позволено предаваться только рационалистам. Если бы священник случайно заметил, что Всемирный потоп был допотопным, вполне возможно, что он был бы немного недоволен своей логикой. Если бы епископ сказал, что Адам был доадамитом, мы могли бы счесть это немного странным. Но предполагается, что мы не обращаем внимания на подобные словесные мелочи, когда историки-скептики говорят о той части истории, которая является доисторической. Правда в том, что они используют термины "исторический" и "доисторический" без какой-либо четкой

проверки или определения в своем сознании. Они имеют в виду, что существуют следы человеческих жизней до начала человеческих историй; и в этом смысле мы, по крайней мере, знаем, что человечество существовало до истории.

Человеческая цивилизация старше человеческих записей. Это разумный способ заявить о нашем отношении к этим отдаленным вещам. Человечество оставило образцы других своих искусств раньше, чем искусство письма; или, по крайней мере, любого письма, которое мы можем прочесть. Но несомненно, что первобытные искусства были искусствами; и вполне вероятно, что первобытные цивилизации были цивилизациями. Этот человек оставил фотографию северного оленя, но он не оставил рассказа о том, как он охотился на северного оленя; и поэтому то, что мы говорим о нем, является гипотезой, а не историей. Но искусство, которым он занимался, было вполне художественным; его рисунок был вполне осмысленным, и нет причин сомневаться, что его история об охоте была бы вполне осмысленной, только если она существует, то непонятна. Короче говоря, доисторический период не обязательно означает первобытный период в смысле варварского или звериного периода. Это не означает время до цивилизации или время до появления искусств и ремесел. Это просто означает время до появления каких-либо связанных повествований, которые мы можем прочитать. В этом действительно заключается вся практическая разница между памятью и забвением; но вполне возможно, что существовали всевозможные забытые формы цивилизации, равно как и всевозможные забытые формы варварства. И в любом случае все указывало на то, что многие из этих забытых или полузабытых социальных этапов были гораздо более цивилизованными и гораздо менее варварскими, чем принято вульгарно воображать сегодня. Но даже об этих неписаных историях человечества, когда человечество, несомненно, было человеком, мы можем только строить догадки с величайшим сомнением и осторожностью. И, к сожалению, сомнения и осторожность - это последнее, что обычно поощряется вялым эволюционизмом нынешней культуры. Ибо эта культура полна любопытства, и единственное, чего она не может вынести, - это агонии агностицизма. Именно в эпоху Дарвина это слово впервые стало известно, а сама вещь впервые стала невозможной.

Надо прямо сказать, что все это невежество просто прикрывается наглостью. Заявления делаются настолько ясно и позитивно, что у людей едва ли хватает морального мужества остановиться на них и обнаружить, что они лишены поддержки. На днях научное резюме состояния доисторического племени уверенно начиналось словами 'Они не носили одежды'. Вероятно, ни один читатель из сотни не задумывался над вопросом, как нам узнать, носили ли когда-то одежду люди, от которых все погибло, кроме нескольких осколков кости и камня. Несомненно, была надежда, что мы найдем каменную шляпу, а также каменный топорик. Очевидно, предполагалось, что мы можем обнаружить вечную пару брюк из того же материала, что и вечный камень. Но людям с менее сангвиническим темпераментом сразу станет очевидно, что люди могут носить простую одежду или даже предметы одежды с большим количеством украшений, не оставляя от нее больше следов, чем оставили эти люди. Плетение из тростника и трав, например, могло бы становиться все более и более сложным, ни в малейшей степени не становясь более вечным. Одна цивилизация могла бы специализироваться на вещах, которые оказались скоропортящимися, таких как ткачество и вышивка, а не на вещах, которые оказались более постоянными, таких как архитектура и скульптура. Существует множество примеров таких специализированных обществ. Человек будущего, обнаруживший развалины нашего заводского оборудования, мог бы с таким же основанием сказать, что мы были знакомы с железом и ни с каким другим веществом; и

объявить об открытии, что владелец и управляющий фабрикой, несомненно, ходили голыми — или, возможно, носили железные шляпы и брюки.

Здесь не утверждается, что эти первобытные люди носили одежды больше, чем ткали из тростника; просто у нас недостаточно свидетельств, чтобы знать, носили они их или нет. Но, возможно, стоит на мгновение оглянуться назад на некоторые из очень немногих вещей, которые мы знаем и которые они действительно делали. Если мы рассмотрим их, то, конечно, не обнаружим, что они несовместимы с такими идеями, как одежда и украшения. Мы не знаем, украшали ли они сами себя; но мы точно знаем, что они украшали другие вещи. Мы не знаем, были ли у них вышивки, а если и были, то нельзя было ожидать, что вышивки сохранились. Но мы точно знаем, что у них были рисунки; и рисунки сохранились. И с ними остается, как уже предполагалось, свидетельство чего-то абсолютного и уникального; что принадлежит человеку и ничему другому, кроме человека; это различие рода, а не различие степени. Обезьяна не рисует неуклюже, а человек умно; обезьяна не осваивает искусство изображения, а человек доводит его до совершенства. Обезьяна вообще этого не делает; она вообще не начинает этого делать; она вообще не начинает этого делать. Какая-то черта пересекается до того, как может начаться первая едва заметная линия.

Другой выдающийся писатель, опять же, комментируя наскальные рисунки, приписываемые неолитическим людям периода оленеводства, сказал, что ни одно из их изображений, по-видимому, не имело какой-либо религиозной цели; и он, казалось, почти сделал вывод, что у них не было религии. Я едва ли могу представить себе более тонкую нить аргументации, чем эта, которая реконструирует самые сокровенные настроения доисторического разума на основе того факта, что кому-то, кто нацарапал несколько набросков на камне, исходя из неизвестных нам мотивов, с неизвестной нам целью, действуя в соответствии с неизвестными нам обычаями или условностями, возможно, было легче нарисовать северных оленей, чем религию. Возможно, он нарисовал это, потому что это был его религиозный символ. Он мог нарисовать это, потому что это не было его религиозным символом. Он мог нарисовать что угодно, кроме своего религиозного символа. Возможно, он нарисовал свой настоящий религиозный символ где-то в другом месте; или же он был намеренно уничтожен, когда рисовался. Он мог совершить или не совершить полмиллиона поступков; но в любом случае это удивительный логический скачок - сделать вывод, что у него не было религиозного символа, или даже сделать вывод из того, что у него не было религиозного символа, что у него не было религии. Этот конкретный случай очень четко иллюстрирует ненадежность этих догадок. Спустя некоторое время люди обнаружили в пещерах не только картины, но и скульптуры животных. Говорили, что некоторые из них были повреждены вмятинами или отверстиями, предположительно оставленными стрелами; и было высказано предположение, что поврежденные изображения являются остатками какого-то магического обряда убийства животных в изображении; в то время как неповрежденные изображения объяснялись в связи с другим магическим обрядом, призывающим плодородие к стадам. И здесь есть что-то слегка юмористическое в привычке ученых использовать оба способа. Если изображение повреждено, это доказывает одно суеверие, а если оно не повреждено, это доказывает другое. Здесь снова налицо довольно опрометчивые поспешные выводы; спекулянтам вряд ли приходило в голову, что толпа охотников, запертых зимой в пещере, вполне могла нацелиться на мишень ради забавы, как на своего рода примитивную салонную игру. Но в любом случае, если это было сделано из суеверия, что стало с тезисом о том, что это не имело никакого отношения к религии? Правда в том, что все эти догадки не имеют никакого отношения ни к чему. Это и вполнину не такая

хорошая салонная игра, как стрельба из лука в резного северного оленя, потому что она запускает их в воздух.

Такие спекулянты скорее склонны забывать, например, что люди в современном мире тоже иногда делают отметки в пещерах. Когда толпу экскурсантов проводят по лабиринту Чудесного Грота или Волшебной пещеры Сталактитов, было замечено, что там, где они прошли, появляются иероглифы; инициалы и надписи, которые ученые отказываются относить к какой-либо отдаленной дате. Но придет время, когда эти надписи действительно будут иметь отдаленную дату. И если профессора будущего будут хоть в чем-то похожи на профессоров настоящего, они смогут вывести огромное количество очень ярких и интересных вещей из этих наскальных рисунков двадцатого века. Если я что-нибудь знаю об этой породе, и если они не утратили искреннего доверия своих отцов, они смогут узнать самые захватывающие факты о нас по инициалам, оставленным в Волшебном гроте Арри и Арриет, возможно, в форме двух переплетенных букв "А". Уже из одного этого они узнают (1) Что, поскольку буквы грубо вырезаны тупым перочинным ножом, двадцатый век не располагал изящными гравировальными инструментами и не был знаком с искусством скульптуры. (2) Поскольку буквы написаны заглавными буквами, наша цивилизация никогда не развивала никаких строчных букв или чего-либо похожего на бегущую руку. (3) Что, поскольку начальные согласные стоят рядом непроизносимым образом, наш язык, возможно, был сродни валлийскому или, что более вероятно, раннесемитскому типу, который игнорировал гласные. (4) Поскольку инициалы 'Арри' и 'Арриет' каким-либо особым образом не претендуют на роль религиозных символов, наша цивилизация не обладала религией. Возможно, последнее ближе всего к истине, поскольку цивилизация, у которой была религия, имела бы немного больше оснований.

Опять же, обычно утверждается, что религия росла очень медленно и эволюционно; и даже то, что она выросла не из одной причины, а из комбинации, которую можно было бы назвать совпадением. Вообще говоря, три главных элемента в этой комбинации - это, во-первых, страх перед вождем племени (которого мистер Уэллс упорно называет, с прискорбной фамильярностью, Стариком), во-вторых, феномены сновидений и, в-третьих, жертвенные ассоциации с урожаем и воскресением, символизируемым растущей кукурузой. Я могу мимоходом заметить, что мне кажется очень сомнительным относить один живой и единый дух к трем мертвым и несвязанным причинам, если бы они были просто мертвыми и несвязанными причинами. Предположим, мистер Уэллс в одном из своих увлекательных романов о будущем расскажет нам, что среди людей возникнет новая и пока безымянная страсть, о которой люди будут мечтать так же, как они мечтают о первой любви, за которую они умрут так же, как умирают за флаг и отечество. Я думаю, мы были бы немного озадачены, если бы он сказал нам, что это необычное чувство было бы сочетанием привычки курить "Вудбайн", повышения подоходного налога и удовольствия автомобилиста от превышения разрешенной скорости. Нам было нелегко представить это, потому что мы не могли представить себе никакой связи между этими тремя или какого-либо общего чувства, которое могло бы охватить их всех. Никто также не мог представить себе никакой связи между кукурузой, мечтами и старым вождем с копьем, если только уже не существовало общего чувства, объединяющего их всех. Но если бы существовало такое общее чувство, то это могло быть только религиозное чувство; и эти вещи не могли быть зачатками религиозного чувства, которое уже существовало. Я думаю, здравый смысл любого человека подскажет ему, что гораздо более вероятно, что такого рода мистические чувства уже существовали; и что в свете этого сны, короли и кукурузные поля могли казаться мистическими тогда, как они могут казаться мистическими сейчас.

Ибо простая истина заключается в том, что все это уловка для того, чтобы все казалось далеким и бесчеловечным, просто притворяясь, что мы не понимаем вещей, которые мы действительно понимаем. Это все равно что сказать, что у доисторических людей была уродливая и неотесанная привычка время от времени широко открывать рты и запихивать в них странные вещества, как будто мы никогда не слышали о еде. Это все равно что сказать, что ужасные троглодиты каменного века поочередно поднимали поочередно ноги, как будто мы никогда не слышали о ходьбе. Если бы это было предназначено для того, чтобы затронуть мистический нерв и пробудить нас к чудесам ходьбы и приема пищи, это могло бы быть законной фантазией. Поскольку это здесь призвано убить мистический нерв и лишить нас способности воспринимать чудеса религии, это иррациональный вздор. Он претендует на то, чтобы найти что-то непостижимое в чувствах, которые мы все понимаем. Кто *не* находит сны таинственными и чувствует, что они лежат на темной границе бытия? Кто *не* ощущает смерть и воскресение растущих на земле растений как нечто близкое к тайне Вселенной? Кто *не* понимает, что в авторитете и солидарности, которые являются душой племени, всегда должен быть привкус чего-то священного? Если и найдется какой-нибудь антрополог, который действительно считает эти вещи далекими и невозможными для понимания, мы ничего не можем сказать об этом ученом джентльмене, кроме того, что у него не такой большой и просвещенный ум, как у первобытного человека. Мне кажется очевидным, что ничто, кроме уже действующего духовного чувства, не могло бы облечь эти отдельные и разнообразные вещи в святость. Говорить, что религия возникла *из* почитания вождя или жертвоприношения во время сбора урожая, - значит ставить очень сложную повозку впереди действительно примитивной лошади. Это все равно что сказать, что импульс к рисованию пришел от созерцания изображений северных оленей в пещере. Другими словами, это объяснение живописи, говоря, что она возникла из творчества художников; или объяснение искусства, говоря, что оно возникло из искусства. Это даже больше похоже на утверждение, что то, что мы называем поэзией, возникло в результате определенных обычаев; например, официально сочиняется ода в честь прихода весны; или молодой человек встает в обычное время, чтобы послушать жаворонка, а затем пишет свой отчет на листе бумаги. Совершенно верно, что молодые люди часто становятся поэтами весной; и совершенно верно, что когда однажды появляются поэты, никакая смертная сила не может удержать их от написания о жаворонке. Но стихов не существовало до появления поэтов. Поэзия возникла не из поэтических форм. Другими словами, вряд ли адекватным объяснением того, как вещь появилась впервые, является утверждение, что она уже существовала. Точно так же мы не можем сказать, что религия возникла из религиозных форм, потому что это всего лишь другой способ сказать, что она возникла только тогда, когда уже существовала. Нужен был определенный склад ума, чтобы увидеть, что есть что-то мистическое в снах или мертвых, так же как нужен был особый склад ума, чтобы увидеть, что есть что-то поэтическое в жаворонке или весне. Этот разум, по-видимому, был тем, что мы называем человеческим разумом, в том виде, в каком он существует по сей день; ибо мистики все еще размышляют о смерти и мечтах, а поэты все еще пишут о весне и жаворонках. Но нет ни малейшего намека на то, что что-либо, кроме известного нам человеческого разума, вообще испытывает какие-либо из этих мистических ассоциаций. Корова в поле, кажется, не черпает никакого лирического импульса или наставления в своих непревзойденных возможностях слушать жаворонка. И точно так же нет никаких оснований предполагать, что живые овцы когда-нибудь начнут использовать мертвых овец в качестве основы сложной системы поклонения предкам. Это правда, что весной фантазия молодого четвероногого может легко обратиться к мыслям о любви, но ни одна череда весен никогда не

приводила его к тому, чтобы столь же легко обратиться к мыслям о литературе. И точно так же, хотя верно, что у собаки есть сны, в то время как у большинства других четвероногих, похоже, нет даже этого, мы долго ждали, пока собака разовьет свои сны в сложную систему религиозных церемоний. Мы ждали так долго, что на самом деле перестали этого ожидать; и мы не больше надеемся увидеть, как собака применяет свои сны к церковному строительству, чем увидеть, как она исследует свои сны по правилам психоанализа. Короче говоря, очевидно, что по той или иной причине эти естественные переживания и даже естественные волнения никогда не переходят грань, отделяющую их от творческого выражения, такого как искусство и религия, ни в одном существе, кроме человека. Они никогда этого не делают, у них никогда не было, и сейчас, по всей видимости, очень маловероятно, что они когда-нибудь будут. В смысле внутренней противоречивости не исключено, что мы увидим коров, которые каждую пятницу постятся на траве или встают на колени, как в старой легенде о Сочельнике. В этом смысле нет ничего невозможного в том, что коровы должны размышлять о смерти до тех пор, пока они не смогут вознести возвышенный псалом плача на мотив, под который умерла старая корова. В этом смысле нет ничего невозможного в том, что они должны выразить свои надежды на небесную карьеру в символическом танце в честь коровы, которая перепрыгнула через луну. Может статься, что собака, наконец, накопит достаточный запас мечтаний, чтобы построить храм Церберу как своего рода собачьей троице. Возможно, его сны уже начали превращаться в видения, поддающиеся словесному выражению, в некое откровение о Собачьей Звезде как духовном доме для потерявшихся собак. Эти вещи логически возможны в том смысле, что логически трудно доказать универсальное отрицание, которое мы называем невозможностью. Но весь этот инстинкт вероятного, который мы называем здравым смыслом, должен был давным-давно подсказать нам, что животные, по всей видимости, не эволюционируют в этом смысле; и что, мягко говоря, у нас вряд ли есть какие-либо личные свидетельства их перехода от опыта животных к экспериментам на людях. Но весна, смерть и даже сны, рассматриваемые просто как переживания, являются их переживаниями в такой же степени, как и нашими. Единственный возможный вывод состоит в том, что эти переживания, рассматриваемые как переживания, не порождают ничего похожего на религиозное чувство ни в одном разуме, кроме разума, подобного нашему. Мы возвращаемся к факту существования определенного типа разума, который уже был живым и одиноким. Он был уникален и мог создавать вероучения так же, как наскальные рисунки. Материалы для религии лежали там бесчисленные века, как и материалы для всего остального; но сила религии заключалась в разуме. Человек уже мог видеть в этих вещах загадки, намеки и надежды, которые он все еще видит в них. Он мог не только мечтать, но и грезить о снах. Он мог видеть не только мертвых, но и тень смерти; и был одержим той таинственной мистификацией, которая всегда делает смерть невероятной.

Совершенно верно, что мы имеем даже эти намеки главным образом о человеке, когда он безошибочно предстает как человек. Мы не можем утверждать это или что-либо еще о предполагаемом животном, изначально связывающем человека и животных. Но это только потому, что он не животное, а утверждение. Мы не можем быть уверены, что Питекантроп когда-либо поклонялся, потому что мы не можем быть уверены, что он когда-либо жил. Он - всего лишь видение, призванное заполнить пустоту, которая на самом деле зияет между первыми созданиями, которые, несомненно, были людьми, и любыми другими существами, которые, безусловно, являются обезьянами или другими животными. Несколько очень сомнительных фрагментов собраны воедино, чтобы предложить такое промежуточное существо, потому что этого требует определенная философия; но никто не предполагает, что их достаточно, чтобы

установить что-либо философское даже в поддержку этой философии. Фрагмент черепа, найденный на Яве, не может ничего сказать о религии или об отсутствии религии. Если когда-либо существовал такой человек-обезьяна, то он, возможно, демонстрировал столько же ритуальности в религии, сколько человек, или столько же простоты в религии, сколько обезьяна. Возможно, он был мифологом, а возможно, сам был мифом. Возможно, было бы интересно узнать, проявлялось ли это мистическое качество при переходе от обезьяны к человеку, действительно ли существовали какие-либо типы перехода, о которых стоит расспрашивать. Другими словами, недостающее звено могло бы быть мистическим, а могло и не быть, если бы он не отсутствовал. Но по сравнению с имеющимися у нас свидетельствами о реальных людях, у нас нет никаких доказательств того, что он был человеком, или получеловеком, или существом вообще. Даже самые крайние эволюционисты не пытаются вывести изнегокакие-либо эволюционные взгляды на происхождение религии. Даже пытаюсь доказать, что религия медленно развивалась из грубых или иррациональных источников, они начинают свои доказательства с первых людей, которые были мужчинами. Но их собственное доказательство только доказывает, что люди, которые уже были мужчинами, уже были мистиками. Они использовали грубые и иррациональные элементы так, как только мужчины и мистики могут их использовать. Мы еще раз возвращаемся к простой истине: в какой-то момент, слишком ранний, чтобы эти критики могли его проследить, произошел переход, о котором кости и камни не могут свидетельствовать по своей природе; и человек стал живой душой.

Касаясь вопроса о происхождении религии, истина заключается в том, что те, кто таким образом пытается это объяснить, пытаются это отринуть. Подсознательно они чувствуют, что это выглядит менее грозным, когда превращается в постепенный и почти незаметный процесс. Но на самом деле такая перспектива полностью искажает реальность опыта. Они сводят воедино две совершенно разные вещи, случайные намеки на эволюционное происхождение и прочную и самоочевидную основу человечества, и пытаются изменить свою точку зрения, пока не увидят их в едином ракурсе. Но это оптический обман. На самом деле мужчины не связаны родством с обезьянами или недостающими звеньями в какой-либо такой цепи, в которой мужчины связаны с мужчинами. Возможно, существовали промежуточные существа, слабые следы которых можно найти здесь и там в огромном промежутке. Что касается этих существ, если они когда-либо существовали, то, возможно, верно, что они были существами, очень непохожими на людей, или людьми, очень непохожими на нас. Но в отношении доисторических людей, таких как пещерные люди или люди-олени, это неверно ни в каком смысле. Доисторические люди такого рода были существами, точь-в-точь похожими на людей, а люди чрезвычайно похожи на нас с вами. Это были люди, о которых мы мало что знаем по той простой причине, что они не оставили никаких записей или хроник; но все, что мы знаем о них, делает их такими же человеческими и обычными, как жители средневекового поместья или греческого города.

Рассматривая с нашей человеческой точки зрения долгосрочную перспективу человечества, мы просто признаем это существо человеком. Если бы нам пришлось признать в нем животное, мы должны были бы признать его ненормальным. Если бы мы решили посмотреть через другой конец телескопа, как я делал не раз в этих рассуждениях, если бы мы решили спроецировать человеческую фигуру вперед из нечеловеческого мира, мы могли бы только сказать, что одно из животных, очевидно, сошло с ума. Но, глядя на это с правильной стороны, или, скорее, изнутри, мы знаем, что это здравомыслие; и мы знаем, что эти первобытные люди были в здравом уме. Мы приветствуем определенное человеческое масонство, где бы мы его ни увидели, в дикарях,

иностранцах или исторических персонажах. Например, все, что мы можем сделать из первобытных легенд, и все, что мы знаем о жизни варваров, поддерживает определенную моральную и даже мистическую идею, самым распространенным символом которой является одежда. Ибо одежда - это в буквальном смысле облачение, и человек носит ее, потому что он священник. Это правда, что даже как животное он здесь отличается от животных. Нагота для него не является природой; это не его жизнь, а скорее его смерть; даже в вульгарном смысле его смерти от холода. Но одежду носят ради достоинства, пристойности или украшения там, где она никоим образом не нужна для тепла. Иногда может показаться, что ее ценят за украшение, прежде чем за использование. Почти всегда кажется, что они имеют какое-то отношение к этикету. Условности такого рода сильно различаются в зависимости от времени и места; и есть те, кто не может избавиться от этого размышления, и для кого это кажется достаточным аргументом в пользу того, чтобы пренебречь всеми условностями. Они не устают повторять с простодушным удивлением, что на островах каннибалов и в Кэмден-Тауне одеваются по-другому; они не могут продвинуться дальше и в отчаянии отбрасывают саму идею приличия. С таким же успехом они могли бы сказать, что, поскольку существовало множество шляп самых разных форм, в том числе довольно эксцентричных, следовательно, шляпы не имеют значения или их не существует. Они вероятно, добавили бы, что не существует такого понятия, как солнечный удар или облысение. Люди повсюду чувствовали, что определенные формы были необходимы для ограждения и защиты определенных личных вещей от презрения или грубого непонимания; и соблюдение этих форм, какими бы они ни были, способствовало достоинству и взаимному уважению. Тот факт, что они в основном относятся, более или менее отдаленно, к отношениям полов, иллюстрирует два факта, которые следует поместить в самое начало летописи расы. Первый - это тот факт, что первородный грех действительно первороден. Не только в теологии, но и в истории это явление уходит корнями в истоки. Во что бы еще ни верили люди, все они верили, что с человечеством что-то не так. Это чувство греха сделало невозможным быть естественным и не иметь одежды, точно так же, как оно сделало невозможным быть естественным и не иметь законов. Но прежде всего это должно быть найдено в том другом факте, который является отцом и матерью всех законов, поскольку он сам основан на отце и матери: то, что стоит перед всеми тронами и даже всеми государствами.

Этот факт и есть семья. И здесь мы должны сохранять огромные пропорции нормальной вещи свободными от различных модификаций, степеней и сомнений, более или менее разумных, подобно облакам, облепляющим гору. Возможно, тому, что мы называем семьей, пришлось пробиваться с боем от различных анархий и отклонений; но оно определенно пережило их и, скорее всего, также предшествовало им. Как мы увидим на примере коммунизма и номадизма, более бесформенные явления могли находиться и действительно находились на периферии обществ, принявших фиксированную форму; но нет ничего, что указывало бы на то, что форма не существовала до бесформенности. Что жизненно важно, так это то, что форма важнее бесформенности; и что материал, называемый человечеством, принял эту форму. Например, из недавно упомянутых правил, касающихся секса, ни одно не является более любопытным, чем дикий обычай, обычно называемый *кувадой*. Это похоже на закон сверху вниз, по которому к отцу относятся так, как если бы он был матерью. В любом случае, это явно связано с мистическим смыслом секса; но многие утверждают, что на самом деле это символический акт, посредством которого отец принимает на себя ответственность отцовства. В таком случае эта гротескная выходка действительно является очень торжественным актом, ибо это основа всего, что мы называем семьей, и всего, что мы знаем как человеческое общество. Некоторые

исследователи этих темных истоков говорили, что когда-то человечество жило при матриархате; я полагаю, что при матриархате это называлось бы не человечеством, а женщинами. Но другие предположили, что то, что называется матриархатом, было просто моральной анархией, в которой только мать оставалась неизменной, потому что все отцы были беглыми и безответственными. Затем наступил момент, когда человек решил охранять и направлять то, что он создал. Таким образом, он стал главой семьи не как хулиган с большой дубинкой для избиения женщин, а скорее как уважаемый человек, пытающийся быть ответственным. Теперь все это могло бы быть совершенно правдой и даже могло бы быть первым семейным актом, и все равно было бы правдой, что человек тогда впервые повел себя как мужчина и, следовательно, впервые стал полностью мужчиной. Но с таким же успехом могло бы быть правдой и то, что матриархат, или моральная анархия, или как бы мы это ни называли, был лишь одним из сотен социальных распадов или варварских отступлений, которые, возможно, периодически происходили в доисторические времена, как, несомненно, и в исторические. Такой символ, как *кувада*, если это действительно был такой символ, возможно, символизировал подавление ереси, а не первое зарождение религии. Мы не можем с какой-либо уверенностью судить об этих вещах, за исключением их больших результатов в построении человечества, но мы можем сказать, в каком стиле построена основная его часть и лучшее из него. Мы можем сказать, что семья является ячейкой государства; что это ячейка, составляющая формацию. Вокруг семьи действительно сосредоточены святости, которые отделяют людей от муравьев и пчел. Порядочность - это занавес этого шатра; свобода - это стена этого города; собственность - это всего лишь семейная ферма; честь - это всего лишь фамильный флаг. В практических масштабах человеческой истории мы возвращаемся к этому фундаментальному принципу отца, матери и ребенка. Уже было сказано, что если эта история не может начинаться с религиозных допущений, она, тем не менее, должна начинаться с каких-то моральных или метафизических допущений, иначе из истории человека невозможно извлечь никакого смысла. И это очень хороший пример такой альтернативной необходимости. Если мы не из тех, кто начинает с призывания божественной Троицы, мы тем не менее должны призвать человеческую Троицу; и увидим, что этот треугольник повторяется повсюду в структуре мира. Ибо величайшее событие в истории, к которому вся история стремится и ведет вверх, - это всего лишь нечто такое, что одновременно является разворотом и обновлением этого треугольника. Или, скорее, это один треугольник, наложенный так, чтобы пересечь другой, образуя священный пентакль, которого демоны боятся в более широком смысле, чем магов. Старая Троица состояла из отца, матери и ребенка и называется человеческой семьей. Новая Троица состоит из ребенка, матери и отца и носит название Святого Семейства. Он никоим образом не изменился, за исключением того, что был полностью перевернут; точно так же, как мир, который он преобразовал, нисколько не изменился, за исключением того, что был перевернут с ног на голову.

ГЛАВА III

ДРЕВНОСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Современный человек, рассматривающий древнейшие истоки, подобен человеку, ожидающему рассвета в незнакомой стране и ожидающему увидеть, как этот рассвет разгорается за голыми возвышенностями или одинокими пиками. Но этот рассвет разгорается за черными громадами великих городов, давно построенных и потерянных для нас в

изначальной ночи; колоссальных городов, подобных домам великанов, в которых даже вырезанные орнаментальные животные выше палм; в которых нарисованный портрет может быть в двенадцать раз больше человеческого роста; с гробницами, подобными человеческим горам, расположенными вчетверо и указывающими на звезды; с крылатыми и бородатыми быками, стоящими и огромными взирающими на ворота храмов; стоящими неподвижно вечно, как будто топот мог потрясти мир. Начало истории показывает, что человечество уже цивилизовано. Возможно, это показывает, что цивилизация уже древняя. И среди других, более важных вещей, это показывает глупость большинства обобщений о предыдущем и неизвестном периоде, когда он был действительно молод. Два первых человеческих общества, о которых у нас есть сколько-нибудь надежные и подробные сведения, - это Вавилон и Египет. Так случилось, что эти два обширных и великолепных достижения гения древних свидетельствуют против двух самых распространенных и грубых допущений культуры нового времени. Если мы хотим избавиться хотя бы наполовину от бессмыслицы о кочевниках, пещерных людях и лесном старике, нам нужно только пристально взглянуть на два твердых и потрясающих факта, называемых Египтом и Вавилоном.

Конечно, большинство этих спекулянтов, которые говорят о первобытных людях, думают о современных дикарях. Они доказывают свою прогрессивную эволюцию, предполагая, что большая часть человеческой расы не прогрессировала и не эволюционировала; или даже вообще никак не изменилась. Я не согласен с их теорией изменений; не согласен я и с их догмой о неизменных вещах. Я могу не верить, что цивилизованный человек достиг такого быстрого и недавнего прогресса; но я не могу вполне понять, почему нецивилизованный человек должен быть таким мистически бессмертным и неизменным. Мне кажется, что для проведения этого исследования необходим несколько более простой способ мышления и речи. Современные дикари не могут быть в точности такими, как первобытный человек, потому что они не примитивны. Современные дикари древни не потому, что они современны. Что-то произошло с их расой так же сильно, как и с нашей, за тысячи лет нашего существования на земле. У них был некоторый опыт, и они, по-видимому, действовали в соответствии с ним, если не извлекали из него пользу, как и все мы. У них была некоторая среда обитания и даже некоторое изменение окружающей среды, и, по-видимому, они приспособились к ней надлежащим и благопристойным эволюционным образом. Это было бы верно, даже если бы переживания были мягкими или окружающая среда унылой; ибо со временем возникает эффект, принимающий моральную форму монотонности. Но очень многим умным и хорошо информированным людям казалось вполне вероятным, что опыт дикарей был опытом отхода от цивилизации. Большинство из тех, кто критикует эту точку зрения, похоже, не имеют четкого представления о том, на что был бы похож упадок цивилизации. Да помогут им Небеса, вполне вероятно, что они скоро узнают. Похоже, их устраивает, что у пещерных людей и островитян-каннибалов есть что-то общее, например, определенные орудия труда. Но на первый взгляд очевидно, что любые народы, доведенные по какой-либо причине до более грубой жизни, имели бы некоторые общие черты. Если бы мы потеряли все наше огнестрельное оружие, мы сделали бы луки и стрелы; но мы не обязательно были бы во всем похожи на первых людей, которые сделали луки и стрелы. Говорят, что русским во время их великого отступления так не хватало вооружения, что они сражались дубинками, вырубленными в лесу. Но профессор будущего ошибся бы, предположив, что Русская армия 1916 года была голым скифским племенем, которое никогда не выходило из леса. Это все равно что сказать, что человек в своем втором детстве должен в точности копировать свое первое. Младенец лыс, как старик; но было

бы ошибкой для человека, несведущего в младенчестве, заключить, что у младенца была длинная белая борода. И младенец, и старик ходят с трудом, но тот, кто ожидает, что старый джентльмен вместо этого будет лежать на спине и радостно брыкаться, будет разочарован.

Поэтому абсурдно утверждать, что первые пионеры человечества должны были быть идентичны некоторым из последних и наиболее застойных его остатков. Почти наверняка были какие-то вещи, вероятно, было много вещей, в которых эти две вещи сильно различались или категорически противоречили друг другу. Примером того, как работает это различие, и примером, существенным для нашей аргументации здесь, является пример природы и происхождения правительства. Я уже упоминал о мистере Герберте Г. Г. Уэллсе и Старике, с которыми он, по-видимому, находится в таких близких отношениях. Если бы мы рассмотрели холодные факты доисторических свидетельств в пользу этого портрета доисторического вождя племени, мы могли бы только извинить его, сказав, что его блестящий и разносторонний автор просто на мгновение забыл, что он должен был писать историю, и ему приснилось, что он пишет один из своих собственных очень замечательных романов с богатым воображением. По крайней мере, я не могу себе представить, откуда он мог знать, что доисторического правителя звали Старик или что придворный этикет требует, чтобы это слово писалось заглавными буквами. Он говорит о том же властителе: 'Никому не разрешалось прикасаться к его копыю или сидеть на его троне'. Мне трудно поверить, что кто-то откопал доисторическое копьё с доисторической надписью 'Посетителей просят не прикасаться' или целый трон с надписью 'Зарезервировано для старика'. Но можно предположить, что автор, который вряд ли мог просто выдумывать все это из собственной головы, просто принимал как должное эту весьма сомнительную параллель между доисторическим и децивилизованным человеком. Возможно, в некоторых диких племенах вождя называют Стариком, и никому не разрешается прикасаться к его копыю или сидеть на его седле. Возможно, в этих случаях он окружен суеверными и традиционными страхами; и возможно, в этих случаях, насколько я знаю, он деспотичен и тираничен. Но нет ни крупицы доказательств того, что первобытное правительство было деспотическим и тираническим. Конечно, это могло быть, поскольку это могло быть что угодно или даже ничто; возможно, его вообще не существовало. Но деспотизм некоторых грязных и пришедших в упадок племен в двадцатом веке не доказывает, что первыми людьми правили деспотически. Он даже не предполагает этого; он даже не начинает намекать на это. Если есть какой-то факт, который мы действительно можем доказать из истории, которую мы действительно знаем, так это то, что деспотизм может быть развитием, часто поздним развитием и очень часто действительно концом обществ, которые были в высшей степени демократическими. Деспотизм можно почти определить как уставшую демократию. Когда общество устает, граждане менее склонны к той вечной бдительности, которая действительно была названа ценой свободы; и они предпочитают вооружать только одного часового, чтобы тот наблюдал за городом, пока они спят. Верно и то, что иногда они нуждались в нем для какого-нибудь внезапного и воинственного акта реформы; столь же верно и то, что он часто пользовался тем, что был вооруженным сильным человеком, чтобы стать тираном, как некоторые султаны Востока. Но я не могу понять, почему султан должен был появиться в истории раньше, чем многие другие человеческие фигуры. Напротив, вооруженный сильный человек, очевидно, зависит от превосходства своих доспехов; а вооружение такого рода приходит с более сложной цивилизацией. Один человек может убить двадцать человек из пулемета; очевидно, менее вероятно, что он смог бы сделать это куском кремня. Что же касается нынешней байки о сильнейшем человеке, правящем силой и страхом, то это просто детская

сказка о великане с сотней рук. Двадцать человек могли бы одолеть самого сильного силача в любом обществе, древнем или современном. Несомненно, они могли бы *восхищаться*, в романтическом и поэтическом смысле, человеком, который действительно был самым сильным; но это совсем другое дело, и оно такое же чисто моральное и даже мистическое, как восхищение чистейшим или мудрейшим. Но дух, который терпит простую жестокость и капризы установившегося деспота, - это дух древнего, устоявшегося и, вероятно, закостеневшего общества, а не дух нового. Как следует из его имени, Старик - правитель старого человечества.

Гораздо более вероятно, что первобытное общество было чем-то вроде чистой демократии. По сей день сравнительно простые сельскохозяйственные общины являются, безусловно, самыми чистыми демократиями. Демократия - это то, что всегда разрушается из-за сложности цивилизации. Любой, кому нравится, может заявить об этом, сказав, что демократия - враг цивилизации. Но он должен помнить, что некоторые из нас действительно предпочитают демократию цивилизации, в том смысле, что предпочитают демократию сложности. Как бы то ни было, крестьяне, обрабатывающие участки своей земли в условиях грубого равенства и собирающиеся для голосования прямо под деревенским деревом, являются самыми по-настоящему самоуправляющимися людьми. Столь же вероятно, как и то, что такая простая идея была обнаружена в первом состоянии еще более простых людей. Действительно, деспотическое видение преувеличено, даже если мы не рассматриваем мужчин как людей. Даже исходя из эволюционного допущения самого материалистического толка, на самом деле нет причин, по которым у людей не должно было быть по крайней мере такого же товарищества, как у крыс или грачей. У них, несомненно, был какой-то лидер, как и у стадных животных; но лидерство не подразумевает такого иррационального раболепия, какое приписывалось суеверным подданным Старика. Несомненно, существовал кто-то, соответствующий, по выражению Теннисона, много раз зимовавшей вороне, которая ведет домой лязгающее лежбище. Но я полагаю, что если бы эта почтенная птица начала вести себя по примеру некоторых султанов древней и пришедшей в упадок Азии, это превратилось бы в очень шумное лежбище, и много перезимовавшая ворона не дожила бы еще много зим. В этой связи можно заметить, что даже среди животных, по-видимому, что-то другое уважается больше, чем звериное насилие, если это только фамиллярность, которая у людей называется традицией, или опыт, который у людей называется мудростью. Я не знаю, действительно ли вороны следуют за самой старой вороной, но если они это делают, то уж точно не за самой сильной вороной. И я точно знаю, что в случае с людьми, если какой-то ритуал старшинства заставляет дикарей благоговеть перед кем-то, кого называют Стариком, то, по крайней мере, у них нет нашей раболепной сентиментальной слабости к поклонению Сильному Человеку.

Тогда можно сказать, что первобытное правление, как и первобытное искусство, религия и все остальное, очень несовершенно известно или, скорее, о нем догадываются; но предположить, что оно было столь же популярно, как балканская или пиренейская деревня, по крайней мере, так же верно, как предположить, что оно было столь же капризным и тайным, как турецкий диван. И горная демократия, и восточный дворец современны в том смысле, что они все еще существуют, или являются своего рода переростком истории; но из них двоих дворец гораздо больше похож на скопление и коррупцию, а деревня гораздо больше похожа на действительно неизменное и примитивное сооружение. Но мои предложения на данный момент не выходят за рамки выражения здравого сомнения по поводу текущего предположения. Мне кажется интересным, например, что либеральные институты были прослежены даже современными людьми вплоть до варварских или неразвитых государств, когда это оказывалось удобным для

поддержки какой-либо расы, нации или философии. Итак, социалисты утверждают, что их идеал общинной собственности существовал в очень ранние времена. Итак, евреи гордятся юбилеями или более справедливым перераспределением в соответствии со своим древним законом. Итак, тевтонцы хвастались тем, что нашли парламенты, присяжных и другие популярные вещи у германских племен Севера. Таким образом, кельтофилы и те, кто свидетельствовал о несправедливости Ирландии, ссылались на более равную справедливость клановой системы, о которой ирландские вожди свидетельствовали перед Стронгбоу. Сила аргументации варьируется в разных случаях; но поскольку для всех них есть какие-то аргументы, я подозреваю, что есть какие-то аргументы в пользу общего утверждения о том, что популярные институты того или иного рода ни в коем случае не были редкостью в ранних и простых обществах. Каждая из этих отдельных школ делала допущение, чтобы доказать определенный современный тезис; но взятые вместе, они предполагают более древнюю и общую истину, что в доисторических советах было нечто большее, чем свирепость и страх. У каждого из этих отдельных теоретиков было свое дело, но он был готов использовать каменный топор; и ему удастся предположить, что каменный топор мог быть таким же республиканским, как гильотина.

Но правда в том, что занавес поднимается над пьесой, которая уже идет. В каком-то смысле это настоящий парадокс, что история существовала до истории. Но это не иррациональный парадокс, подразумеваемый в доисторической истории; ибо это история, которую мы не знаем. Очень вероятно, что это было чрезвычайно похоже на ту историю, которую мы знаем, за исключением одной детали, которой мы не знаем. Таким образом, это полная противоположность претенциозной доисторической истории, которая утверждает, что прослеживает все в последовательном порядке от амебы к антропоиду и от антропоида к агностику. Это далеко не вопрос того, что мы знаем все о странных существах, сильно отличающихся от нас самих, весьма вероятно, что они были людьми, очень похожими на нас, за исключением того, что мы ничего о них не знаем. Другими словами, наши самые древние записи восходят только к тем временам, когда человечество уже давно было человеком и даже цивилизованным. Самые древние записи, которые у нас есть, не только упоминают, но и принимают как должное такие вещи, как короли, священники, князья и собрания народа; они описывают сообщества, которые примерно можно назвать сообществами в нашем собственном смысле. Некоторые из них деспотичны; но мы не можем сказать, что они всегда были деспотичными. Некоторые из них, возможно, уже пришли в упадок, и почти все упоминаются так, как если бы они были старыми. Мы не знаем, что на самом деле происходило в мире до появления этих записей; но то немногое, что мы знаем, не повергло бы нас в изумление, если бы мы узнали, что это было очень похоже на то, что происходит в этом мире сейчас. Не было бы ничего непоследовательного или сбивающего с толку в открытии того, что те неизвестные эпохи были полны республик, рушившихся под властью монархий и вновь поднимавшихся как республики, империй, расширявшихся и обретавших колонии, а затем терявших их, королевств, снова объединявшихся в мировые государства и снова распадавшихся на мелкие национальности, классов, продающих себя в рабство и снова марширующих к свободе; всего того шествия человечества, которое может быть прогрессом, а может и не быть, но, несомненно, является романтикой. Но первые главы романа были вырваны из книги, и мы никогда их не прочтем.

То же самое относится и к более специфическим представлениям об эволюции и социальной стабильности. Согласно имеющимся реальным записям, варварство и цивилизация не были последовательными этапами мирового прогресса. Это были условия, которые существовали

бок о бок, как они все еще существуют бок о бок. Тогда были цивилизации, как есть цивилизации сейчас; сейчас есть дикари, как были дикари тогда. Предполагается, что все люди проходили через стадию кочевания; несомненно, что есть некоторые, кто так и не вышел из нее, и не кажется маловероятным, что были и такие, кто так и не перешел в нее. Вполне вероятно, что с самых примитивных времен неподвижный земледелец и бродячий пастух были двумя различными типами людей; и хронологическая перестановка их является всего лишь признаком той мании постепенных этапов, которая в значительной степени фальсифицировала историю. Предполагается, что существовала коммунистическая стадия, когда частная собственность была повсеместно неизвестна, все человечество жило на отрицании собственности; но свидетельства этого отрицания сами по себе довольно негативны. Перераспределение собственности, юбилеи и аграрные законы происходят с разной периодичностью и в различных формах; но то, что человечество неизбежно прошло через коммунистическую стадию, кажется столь же сомнительным, как и параллельное предположение о том, что человечество неизбежно вернется к ней. Это интересно главным образом как свидетельство того, что самые смелые планы на будущее опираются на авторитет прошлого; и что даже революционер стремится убедить себя в том, что он также реакционер. Есть забавный параллельный пример в случае с тем, что называется феминизмом. Несмотря на все псевдонаучные сплетни о браке путем поимки и о пещерном человеке, избивающем пещерную женщину дубинкой, можно отметить, что как только феминизм стал модным лозунгом, стали настаивать на том, что человеческая цивилизация на своей первой стадии была матриархатом. Очевидно, дубинку носила пещерная женщина. В любом случае, все эти идеи немногим лучше догадок; и у них есть любопытный способ следить за развитием современных теорий и причуд. В любом случае, это не история в смысле записей; и мы можем повторить, что, когда дело доходит до записей, общая истина заключается в том, что варварство и цивилизация всегда жили в мире бок о бок, цивилизация иногда распространялась, поглощая варваров, иногда впадая в относительное варварство, и почти во всех случаях обладала в более законченной форме определенными идеями и институтами, которыми варвары обладают в более грубой форме; такими как правительство или социальная власть, искусства и особенно декоративные, тайны и табу различного рода, особенно связанные с вопросом пола, и некоторые формы этого фундаментального то, что является главной заботой этого исследования: то, что мы называем религией.

Теперь Египет и Вавилон, эти два первобытных чудовища, могли бы в этом вопросе быть специально предоставлены в качестве моделей. Их можно было бы назвать почти работающими моделями, чтобы показать, что эти современные теории не работают. Две великие истины, которые мы знаем об этих двух великих культурах, наотрез противоречат двум современным заблуждениям, которые только что были рассмотрены. История Египта, возможно, была придумана для того, чтобы указать на мораль, согласно которой человек не обязательно начинает с деспотизма, потому что он варвар, но очень часто находит свой путь к деспотизму, потому что он цивилизован. Он находит это, потому что у него есть опыт; или, что часто почти одно и то же, потому что он истощен. И история о Вавилоне, возможно, была придумана для того, чтобы указать на мораль о том, что человеку не обязательно быть кочевником или коммунистом, прежде чем он станет крестьянином или гражданином; и что такие культуры не всегда находятся на последовательных этапах, но часто находятся в современных состояниях. Даже прикасаясь к этим великим цивилизациям, с которых начинается наша письменная история, конечно, есть искушение быть слишком

изобретательным или слишком самоуверенным. Мы можем истолковать вавилонские кирпичи в совершенно ином смысле, чем тот, в котором мы предполагаем о Чашечках и Кольцевых камнях; и мы определенно знаем, что означают животные в египетских иероглифах, поскольку мы ничего не знаем о животных в пещере эпохи неолита. Но даже здесь замечательные археологи, расшифровавшие строку за строкой километры иероглифов, могут поддаваться искушению прочитать слишком многое между строк; даже настоящий специалист по Вавилону может забыть, насколько фрагментарны его с таким трудом добытые знания; может забыть, что Вавилон швырнул в него всего лишь половиной кирпича, хотя половина кирпича лучше, чем отсутствие клинописи. Но некоторые истины, исторические, а не доисторические, догматические, а не эволюционные, факты, а не фантазии, действительно исходят из Египта и Вавилона; и эти две истины среди них.

Египет - это зеленая лента вдоль реки, окаймляющая темно-красное безлюдье пустыни. Есть пословица, причем очень древняя, что она создана таинственной щедростью и почти зловещей благосклонностью Нила. Когда мы впервые слышим о египтянах, они живут как в веренице деревень на берегу реки, в небольших и обособленных, но сотрудничающих сообществах вдоль берега Нила. Там, где река впадала в широкую дельту, традиционно начинался несколько иной район или народ; но это не должно усложнять главную истину. Эти более или менее независимые, хотя и взаимозависимые народы уже были в значительной степени цивилизованными. У них была своего рода геральдика, то есть декоративное искусство, используемое в символических и социальных целях; каждый плыл по Нилу под своим собственным флагом, изображающим какую-нибудь птицу или животное. Геральдика включает в себя две вещи, имеющие огромное значение для нормального человечества; сочетание этих двух факторов создает то благородное явление, которое называется сотрудничеством; на котором покоятся все свободные крестьянства и народы. Искусство геральдики означает независимость; образ, выбранный воображением для выражения индивидуальности. Наука геральдики означает взаимозависимость; соглашение между различными органами для распознавания различных изображений; наука об образности. Таким образом, мы имеем здесь именно тот компромисс сотрудничества между свободными семьями или группами, который является наиболее нормальным образом жизни человечества и особенно очевиден везде, где люди владеют своей собственной землей и живут на ней. При одном упоминании образов птиц и зверей изучающий мифологию будет бормотать слово 'тотем' почти во сне. Но, на мой взгляд, большая часть проблем возникает из-за его привычки произносить такие слова как бы во сне. На протяжении всего этого грубого наброска я делал неизбежно неадекватную попытку оставаться внутри, а не снаружи таких вещей; рассматривать их, где это возможно, с точки зрения мысли, а не просто с точки зрения терминологии. В разговорах о тотемах очень мало смысла, если у нас нет некоторого представления о том, каково это на самом деле - иметь тотем. Допустим, у них были тотемы, а у нас их нет; было ли это потому, что они больше боялись животных или были с ними более знакомы? Чувствовал ли себя человек, чьим тотемом был волк, оборотнем или человеком, убегающим от оборотня? Чувствовал ли он себя как дядя Римус по отношению к брату Волку, или как святой Франциск по отношению к своему брату волку, или как Маугли по отношению к своим братьям волкам? Был ли тотем чем-то вроде британского льва или британского бульдога? Было ли поклонение тотему похоже на отношение ниггеров к мумбо-юмбо или детей к Джамбо? Я никогда не читал ни одной фольклорной книги, какой бы ученой она ни была, которая пролила бы хоть какой-то свет на этот вопрос, который я считаю, безусловно, самым важным. Я ограничусь повторением того, что у самых ранних египетских

общин было общее представление об изображениях, обозначавших их индивидуальные состояния; и что этот уровень коммуникации является доисторическим в том смысле, что он уже существовал в начале истории. Но по мере развития истории этот вопрос общения, несомненно, является главным для этих прибрежных сообществ. С потребностью в общении возникает потребность в общем правительстве, а также в растущем величии и распространяющейся тени короля. Другой связующей силой, помимо короля, и, возможно, более древней, чем король, является священство; а священство, по-видимому, имеет еще большее отношение к этим ритуальным символам и сигналам, с помощью которых люди могут общаться. И здесь, в Египте, возникло, вероятно, основное и, безусловно, типичное изобретение, которому мы обязаны всей историей и всей разницей между историческим и доисторическим: архетипическая письменность, искусство письма.

Популярные изображения этих первобытных империй и вполнину не так популярны, как могли бы быть. Над ними нависла тень преувеличенного уныния, большего, чем нормальная и даже здоровая печаль язычников. Это часть того же тайного пессимизма, который любит превращать первобытного человека в пресмыкающееся существо, чье тело - грязь, а душа - страх. Это происходит, конечно, от того факта, что людей больше всего трогает их религия; особенно когда это безбожие. Для них все первичное и элементарное должно быть злом. Но любопытно, что, хотя мы были завалены самыми дикими экспериментами в области примитивной романтики, все они упустили настоящую романтику первобытности. Они описали сцены, которые являются полностью воображаемыми, в которых люди каменного века - люди из камня, подобные ходячим статуям; в которых ассирийцы или египтяне так же неподвижны или так же раскрашены, как их собственное самое архаичное искусство. Но никто из этих создателей воображаемых сцен не пытался представить, каково это было на самом деле - видеть свежими те вещи, которые нам кажутся знакомыми. Они не видели человека, открывающего огонь, как ребенок открывает фейерверк. Они не видели человека, играющего с чудесным изобретением под названием колесо, подобно мальчику, играющему с установкой беспроводной станции. Они никогда не вкладывали дух молодости в свои описания молодежи мира. Отсюда следует, что среди всех их примитивных или доисторических фантазий нет шуток. Нет даже розыгрышей, связанных с практическими изобретениями. И это очень четко определено в конкретном случае с иероглифами; ибо, по-видимому, есть серьезные указания на то, что все высокое человеческое искусство священного писания или письменности началось с шутки.

Некоторые с сожалением узнают, что, похоже, все началось с каламбура. Королю, или священникам, или каким-то ответственным лицам, желавшим отправить послание вверх по реке на этой неудобно длинной и узкой территории, пришла в голову идея отправить его в виде рисунков, как у краснокожих индейцев. Как и большинство людей, которые писали картинки для развлечения, он обнаружил, что слова не всегда подходят. Но когда слово, обозначающее налоги, прозвучало скорее как слово, обозначающее свинью, он смело назвал свинью неудачным каламбуром и рискнул им воспользоваться. Таким образом, современный иероглифист мог бы изобразить 'сразу', бессовестно нарисовав шляпу, за которой следует ряд цифр в вертикальном положении. Это было достаточно хорошо для фараонов и должно было быть достаточно хорошо для него. Но, должно быть, было очень весело писать или даже читать эти послания, когда письмо и чтение были действительно чем-то новым. И если люди должны писать романы о древнем Египте (и кажется, что ни молитвы, ни слезы, ни проклятия не могут удержать их от этой привычки), я полагаю, что сцены, подобные этой, действительно

напоминали бы нам о том, что древние египтяне были людьми. Я предлагаю, чтобы кто-нибудь описал сцену, когда великий монарх сидит среди своих священников, и все они покатываются со смеху и сыплют предложениями по мере того, как королевские каламбуры становятся все более и более дикими и неоправданными. Могла бы быть и другая сцена, вызывающая почти такое же волнение по поводу расшифровки этого шифра; догадки, подсказки и открытия, вызывающие все популярное волнение детективной истории. Вот как на самом деле должны быть написаны первобытные романы и первобытная история. Ибо каким бы ни было качество религиозной или нравственной жизни отдаленных времен, а она, вероятно, была гораздо более человеческой, чем принято считать, научный интерес того времени должен был быть интенсивным. Слова, должно быть, были чудеснее беспроводного телеграфа; а эксперименты с обычными вещами - серии ударов электрическим током. Мы все еще ждем, когда кто-нибудь напишет живую историю первобытной жизни. Этот момент здесь в некотором смысле вынесен за скобки; но он связан с общим вопросом политического развития через институт, который наиболее активен в этих первых и самых увлекательных из всех научных сказок.

Признается, что большей частью этой науки мы обязаны священникам. Современных авторов, таких как мистер Уэллс, нельзя обвинить в слабости симпатии к папской иерархии; но они согласны, по крайней мере, в признании того, что языческое духовенство сделало для искусства и науки. Среди наиболее невежественных людей из числа просвещенных действительно было принято говорить, что священники препятствовали прогрессу во все века; и один политик однажды сказал мне в ходе дебатов, что я сопротивляюсь современным реформам точно так же, как какой-нибудь древний священник, вероятно, сопротивлялся открытию колес. В ответ я указал, что гораздо более вероятно, что колеса открыл древний жрец. Чрезвычайно вероятно, что древний жрец имел большое отношение к открытию искусства письма. Это достаточно очевидно из того факта, что само слово "иероглифический" сродни слову "иерархия". Религия этих жрецов, по-видимому, представляла собой более или менее запутанный политеизм того типа, который более подробно описан в другом месте. Она прошла через период, когда сотрудничала с королем, другой период, когда она была временно уничтожена королем, который оказался принцем со своим собственным теизмом, и третий период, когда она практически уничтожила короля и правила вместо него. Но мир должен благодарить его за многие вещи, которые он считает обычными и необходимыми; и создатели этих обычных вещей действительно должны занять место среди героев человечества. Если бы мы были спокойны в настоящем язычестве, вместо того чтобы испытывать беспокойство из-за довольно иррациональной реакции на христианство, мы могли бы воздать своего рода языческие почести этим безымянным творцам человечества. У нас могли бы быть закрытые вуалью статуи человека, который первым нашел огонь, или человека, который первым сделал лодку, или человека, который первым приручил лошадь. И если бы мы приносили им гирлянды или жертвы, в этом было бы больше смысла, чем в том, чтобы уродовать наши города статуями кокни, изображающими черствых политиков и филантропов. Но одним из странных признаков силы христианства является то, что с тех пор, как оно пришло, ни один язычник в нашей цивилизации не смог стать по-настоящему человеком.

Однако дело здесь в том, что египетское правительство, будь то папское или королевское, находило все более и более необходимым налаживать коммуникацию; а с коммуникацией всегда был связан определенный элемент принуждения. Не обязательно является неоправданным тот факт, что государство становилось все более деспотичным по мере того, как оно становилось все более цивилизованным; можно утверждать, что оно должно было

становиться все более деспотичным, чтобы стать более цивилизованным. Это аргумент в пользу автократии в любую эпоху; и интересно увидеть, как это проиллюстрировано в самую раннюю эпоху. Но категорически неверно, что она была наиболее деспотичной в древнюю эпоху и стала более либеральной в более позднюю; практический процесс истории с точностью до наоборот. Неправда, что племя возникло в состоянии крайнего ужаса перед Стариком, его сидением и копьем; вполне вероятно, по крайней мере в Египте, что Старик был скорее Новым Человеком, вооруженным для нападения на новые условия. Его копье становилось все длиннее и длиннее, а его трон поднимался все выше и выше по мере того, как Египет превращался в сложную и совершенную цивилизацию. Именно это я имею в виду, говоря, что история египетской территории в этом смысле является историей земли; и прямо опровергает вульгарное предположение, что терроризм может возникнуть только в начале и не может возникнуть в конце. Мы не знаем, каково было самое первое состояние более или менее феодальной амальгамы землевладельцев, крестьян и рабов в маленьких содружествах по берегам Нила; но, возможно, это было крестьянство еще более популярного типа. Что мы точно знаем, так это то, что маленькие государства теряют свою свободу благодаря опыту и образованию; что абсолютный суверенитет - это нечто не просто древнее, но и относительно современное; и именно в конце пути, называемого прогрессом, люди возвращаются к королю.

Египет демонстрирует в этом кратком отчете о своих самых отдаленных истоках главную проблему свободы и цивилизации. Дело в том, что мужчины на самом деле теряют разнообразие из-за сложности. Мы решили проблему должным образом не больше, чем они; но предполагать, что даже у тирании нет иного мотива, кроме племенного террора, унижает человеческое достоинство самой проблемы. И точно так же, как египетский пример опровергает ошибочное представление о деспотизме и цивилизации, так и вавилонский пример опровергает ошибочное представление о цивилизации и варварстве. О Вавилоне мы также впервые слышим, когда он уже цивилизован; по той простой причине, что мы не можем ни о чем слышать, пока он не станет достаточно образованным, чтобы говорить. Он говорит с нами так называемой клинописью; этой странной и жесткой треугольной символикой, которая контрастирует с живописным египетским алфавитом. Каким бы относительно жестким ни было египетское искусство, всегда есть что-то отличное от вавилонского духа, который был слишком жестким, чтобы иметь какое-либо искусство. В линиях лотоса всегда есть живая грация и что-то от стремительности, а также жесткости в движении стрел и птиц. Возможно, есть что-то от сдержанного, но живого изгиба реки, что заставляет нас, говоря о змее старого Нила, почти думать о Ниле как о змее. Вавилон был цивилизацией диаграмм, а не рисунков. Мистер У. Б. Йейтс, у которого историческое воображение соответствует его мифологическому воображению (и действительно, первое невозможно без второго), верно написал о людях, которые наблюдали за звездами "из своего педантичного Вавилона". Клинопись была вырезана на кирпичах, из которых была сложена вся их архитектура; кирпичи были из обожженной глины, и, возможно, в материале было что-то такое, что мешало чувству формы развиваться в скульптуре или рельефе. Их цивилизация была статичной, но научной, далеко продвинутой в механизме жизни и в некоторых отношениях в высшей степени современной. Говорят, что у них была большая часть современного культа высших старых девиц и они признавали официальный класс независимых работающих женщин. Возможно, в этой могучей крепости из затвердевшей грязи есть что-то такое, что наводит на мысль об утилитарной деятельности огромного улья. Но хотя он был огромен, он был человеческим; мы видим многие из тех же социальных проблем, что и в древнем Египте или современной Англии; и каким бы ни было его зло, это также было одним

из самых ранних шедевров человечества. Разумеется, он стоял в треугольнике, образованном почти легендарными реками Тигр и Евфрат, и обширное сельское хозяйство его империи, от которого зависели его города, было усовершенствовано благодаря высокоразвитой системе каналов. По традиции в нем была высокая интеллектуальная жизнь, хотя скорее философская, чем художественная; и у его изначального основания стояли те фигуры, которые стали олицетворять звездную мудрость древности; учителя Авраама; халдеи.

Против этого прочного общества, как против какой-то огромной голой кирпичной стены, век за веком вздымались безымянные армии кочевников. Они пришли из пустынь, где с самого начала велась кочевая жизнь и где она продолжается по сей день. Нет необходимости подробно останавливаться на природе этой жизни; было достаточно очевидно и даже легко следовать за стадом, которое обычно находило себе собственное пастбище, и питаться молоком или мясом, которые оно давало. Нет также никаких оснований сомневаться в том, что такая привычка к жизни могла бы дать человеку почти все, кроме дома. Многие такие пастухи, возможно, говорили в древнейшие времена обо всех истинах и загадках Книги Иова; и среди них были Авраам и его дети, которые сделали для современного мира бесконечной загадкой почти маниакальный монотеизм евреев. Но они были диким народом, не имевшим представления о сложной социальной организации, и дух, подобный ветру, витавшему в них, заставлял их снова и снова вести с ней войну. История Вавилонии - это в значительной степени история ее обороны от пустынных орд, которые наступали с интервалом в столетие или два и обычно отступали по мере своего появления. Некоторые говорят, что вторжение кочевников привело к созданию в Ниневии высокомерного царства ассирийцев, которые вырезали на своих храмах огромных чудовищ - бородатых быков с крыльями, подобными херувимским, и которые послали множество военных завоевателей, которые словно топтали мир такими колоссальными копытами. Ассирия была имперской интерлюдией; но это была интерлюдия. Основная история всей этой земли - война между кочующими народами и государством, которое было действительно статичным. Предположительно, в доисторические времена, и уж точно в исторические времена, эти странники отправились на запад, чтобы растратить все, что смогли найти. В последний раз, когда они пришли, они обнаружили, что Вавилон исчез; но это было в исторические времена, и имя их лидера было Магомет.

Теперь стоит остановиться на этой истории, потому что, как уже было предложено, она прямо противоречит все еще существующему представлению о том, что кочевничество - это всего лишь доисторическое явление, а социальное расселение - явление сравнительно недавнее. Нет ничего, что указывало бы на то, что вавилоняне когда-либо странствовали; очень мало свидетельств того, что племена пустыни когда-либо оседали. Действительно, вполне вероятно, что это представление о кочевой стадии, за которой следует статическая стадия, уже было отброшено искренними учеными, исследованиям которых мы все так многим обязаны. Но в этой книге я спорю не с искренними и неподдельными учеными, а с обширным и расплывчатым общественным мнением, которое преждевременно распространилось в результате некоторых несовершенных исследований и которое сделало модным ложное представление обо всей истории человечества. Это совершенно расплывчатое представление о том, что обезьяна эволюционировала в человека и точно так же варвар эволюционировал в цивилизованного человека, и поэтому на каждом этапе мы должны оглядываться назад, на варварство, и двигаться вперед, к цивилизации. К сожалению, это понятие в двойном смысле полностью витает в воздухе. Это атмосфера, в которой живут люди, а не тезис, который они защищают. Людям в таком настроении легче отвечать предметами, чем теориями; и было бы хорошо, если

бы любой, у кого возникнет искушение высказать такое предположение в каком-нибудь тривиальном повороте разговора или письма, мог на мгновение остановиться, закрыв глаза и увидев на мгновение огромную и смутно запруженную, как многолюдный обрыв, чудесную Вавилонскую стену.

Один факт, безусловно, падает на нас, как тень. Наши краткие сведения об обеих этих ранних империях показывают, что первые семейные отношения были осложнены чем-то менее человеческим, но часто рассматривались как в равной степени домашние. Темный гигант по имени Рабство был призван подобно гению и трудился над гигантскими сооружениями из кирпича и камня. И здесь мы не должны слишком легко предполагать, что то, что было отсталым, было варварским; в вопросе о свободе более раннее рабство кажется в некоторых отношениях более либеральным, чем более позднее; возможно, более либеральным, чем рабство будущего. Обеспечить человечество продовольствием, заставляя часть его работать, было, в конце концов, очень гуманным способом; вот почему он, вероятно, будет испробован снова. Но в каком-то смысле в старом рабстве есть значение. Это означает один фундаментальный факт всей древности до Христа; нечто, что следует принимать от начала до конца. Это незначительность личности перед государством. Это было так же верно для самого демократического города-государства Эллады, как и для любого деспотизма в Вавилоне. Одним из признаков этого духа является то, что целый класс индивидуумов мог быть незначительным или даже невидимым. Должно быть, это нормально, потому что это было необходимо для того, что сейчас назвали бы "социальным обслуживанием". Кто-то сказал: "Человек - ничто, а Работа - все", подразумевая под этим легкомысленную карлейлевскую банальность. Это был злобещий девиз Языческого Рабского государства. В этом смысле есть правда в традиционном представлении об огромных колоннах и пирамидах, вечно возносящихся под этими вечными небесами трудом бесчисленных и безымянных людей, которые трудятся, как муравьи, и умирают, как мухи, истребленные делом их собственных рук.

Но есть еще две причины начать с двух фиксированных точек - Египта и Вавилона. Во-первых, они зафиксированы в традиции как типы античности, а история без традиции мертва. Вавилон по-прежнему является предметом детских стишков, а Египет (с его огромным населением принцесс, ожидающих перевоплощения) по-прежнему является темой ненужного количества романов. Но традиция, как правило, является истиной; до тех пор, пока традиция достаточно популярна; даже если она почти вульгарна. И в этом вавилонском и египетском элементе в детских стишках и романах есть значение; даже газеты, обычно сильно отстающие от времени, уже добрались до правления Тутанхамона. Первая причина полна здравого смысла популярной легенды; это простой факт, что мы действительно знаем больше об этих традиционных вещах, чем о других современных вещах; и что мы всегда знали. Все путешественники от Геродота до лорда Карнарвона следуют этим маршрутом. Современные научные рассуждения действительно растягивают карту всего первобытного мира, с потоками расовой эмиграции или смешения, отмеченными повсюду пунктирными линиями; на пространствах, которые ненаучный средневековый картограф удовлетворился бы названием 'terra incognita', если бы он не заполнил приглашающий пробел изображением дракона, чтобы указать на вероятный прием, оказываемый паломникам. Но эти предположения в лучшем случае всего лишь предположения; а в худшем пунктирные линии могут быть гораздо более фантастическими, чем дракон.

К сожалению, здесь есть одна ошибка, в которую очень легко впасть мужчинам, даже самым умным и, возможно, особенно тем, у кого самое богатое воображение. Ошибочно предполагать, что, поскольку идея значительнее в смысле более масштабности, следовательно, она значительнее в смысле более фундаментальной, фиксированной и определенной. Если человек живет один в соломенной хижине посреди Тибета, ему могут сказать, что он живет в Китайской империи; а Китайская империя, безусловно, великолепна, просторна и впечатляет. Или, в качестве альтернативы, ему могут сказать, что он живет в Британской империи, и произвести на него должное впечатление. Но любопытно то, что в определенных ментальных состояниях он может чувствовать себя гораздо более уверенным в Китайской империи, которую он не может видеть, чем в соломенной хижине, которую он может видеть. У него в голове происходит какое-то странное магическое жонглирование, благодаря которому его аргумент начинается с империи, хотя его опыт начинается с хижины. Иногда он сходит с ума и, кажется, доказывает, что соломенная хижина не может существовать во владениях Драконьего Трона; что для такой цивилизации, какой он пользуется, невозможно содержать такую лачугу, в которой он обитает. Но его безумие проистекает из интеллектуальной ошибки, заключающейся в предположении, что, поскольку Китай - это большая и всеобъемлющая гипотеза, следовательно, это нечто большее, чем гипотеза. Современные люди постоянно спорят таким образом; и они распространяют это на вещи гораздо менее реальные и определенные, чем Китайская империя. Они, кажется, забывают, например, что человек даже не уверен в Солнечной системе так, как он уверен в Саут-Даунсе. Солнечная система - это дедукция, и, несомненно, истинная дедукция; но дело в том, что это очень обширная и далеко идущая дедукция, и поэтому он забывает, что это вообще дедукция, и рассматривает ее как первый принцип. Он мог обнаружить, что весь расчет - ошибка; и солнце, и звезды, и уличные фонари выглядели бы точно так же. Но он забыл, что это расчет, и почти готов возразить солнцу, если оно не вписывается в Солнечную систему. Если это логическая ошибка даже в случае довольно хорошо установленных фактов, таких как Солнечная система и Китайская империя, то это еще более разрушительная ошибка в связи с теориями и другими вещами, которые на самом деле вообще не установлены. Таким образом, история, особенно доисторическая, имеет ужасную привычку начинать с определенных обобщений о расах. Я не буду описывать беспорядок и страдания, которые эта инверсия породила в современной политике. Поскольку смутно предполагается, что раса породила нацию, люди говорят так, как будто нация была чем-то более неопределенным, чем раса. Поскольку они сами изобрели причину для объяснения результата, они почти отрицают результат, чтобы оправдать причину. Сначала они рассматривают кельта как аксиому, а затем рассматривают ирландца как вывод. А потом они удивляются, что великий воинственный, ревуший ирландец сердится на то, что к нему относятся как к умозаключению. Они не могут видеть, что ирландцы - это ирландцы, независимо от того, кельты они или нет, независимо от того, были ли когда-либо кельты. И что еще раз вводит их в заблуждение, так это *масштаб* теории; ощущение, что фантазия больше факта. Предполагается, что большая рассеянная кельтская раса содержит ирландцев, поэтому, конечно, само существование ирландцев должно зависеть от нее. Та же путаница, конечно, уничтожила англичан и немцев, затопив их тевтонской расой; и некоторые пытались доказать, что расы едины, что нации не могут находиться в состоянии войны. Но я привожу эти вульгарные и избитые примеры лишь мимоходом, как более знакомые примеры ошибочности; здесь речь идет не о ее применении к этим современным вещам, а скорее к самым древним. Но чем более отдаленной и незарегистрированной была расовая проблема, тем более устойчивой была эта любопытная перевернутая уверенность в человеке науки викторианской эпохи. По сей день человек тех

научных традиций испытывает такой же шок, подвергая сомнению эти вещи, которые были лишь последними выводами, когда он превратил их в первые принципы. Он все еще более уверен в том, что он ариец, даже чем в том, что он англосакс, точно так же, как он более уверен в том, что он англосакс, чем в том, что он англичанин. Он никогда по-настоящему не осознавал, что он европеец. Но он никогда не сомневался в том, что он индоевропейец. Эти викторианские теории сильно изменились в своей форме и сфере охвата; но эта привычка быстро превращать гипотезу в теорию, а теорию - в предположение, еще не вышла из моды. Людям нелегко избавиться от ментального замешательства, связанного с ощущением, что основы истории, несомненно, должны быть надежными; что первые шаги должны быть безопасными; что самое большое обобщение должно быть очевидным. Но хотя это противоречие может показаться им парадоксом, это прямо противоположно истине. Это большая вещь, которая является тайной и невидимой; это маленькая вещь, которая очевидна и огромна.

Каждая раса на лице земли была предметом этих спекуляций, и невозможно даже в общих чертах обрисовать этот предмет. Но если мы возьмем только европейскую расу, то ее история, или, скорее, ее предыстория, претерпела множество ретроспективных революций за короткий период моей собственной жизни. Раньше это называлось кавказской расой; и в детстве я читал отчет о ее столкновении с монгольской расой; он был написан Бретом Хартом и начинался вопросом: 'Или кавказцы исчерпали себя?' Очевидно, европеец был исчерпан, поскольку за очень короткое время он превратился в индоевропейца; иногда, к сожалению, его с гордостью представляют как индогерманца. Похоже, что у индусов и немцев есть похожие слова для обозначения матери или отца; были и другие сходства между санскритом и различными западными языками; и с этим все поверхностные различия между индусом и немцем, казалось, внезапно исчезли. Обычно этого сложного человека удобнее было называть арийцем, и действительно важным моментом было то, что он двинулся на запад из тех высокогорных земель Индии, где еще можно было найти фрагменты его языка. Когда я читал это в детстве, мне показалось, что, в конце концов, арийцу не обязательно было идти на запад и оставлять свой язык позади; он мог бы также пойти на восток и забрать свой язык с собой. Если бы я прочитал это сейчас, я бы ограничился признанием своего невежества во всем этом вопросе. Но на самом деле мне очень трудно читать это сейчас, потому что сейчас это не пишется. Похоже, что арийский тоже исчерпан. Во всяком случае, он сменил не только имя, но и адрес; место отправления и маршрут путешествия. Одна из новых теорий утверждает, что наша раса пришла на свою нынешнюю родину не с Востока, а с Юга. Некоторые говорят, что европейцы пришли не из Азии, а из Африки. У некоторых даже возникла дикая идея, что европейцы пришли из Европы; или, скорее, что они никогда ее не покидали.

Затем имеется определенное количество свидетельств более или менее доисторического давления с Севера, такого, которое, по-видимому, привело греков к унаследованию критской культуры и так часто приводило галлов через холмы на поля Италии. Но я просто упоминаю этот пример европейской этнологии, чтобы указать, что ученые к этому времени довольно хорошо разобрались в компасе; и что я, который не принадлежит к числу ученых, ни на минуту не могу претендовать на то, чтобы решить, в чем такие доктора расходятся во мнениях. Но я могу использовать свой собственный здравый смысл, и иногда мне кажется, что их здравый смысл немного заржавел из-за неиспользованности. Первое проявление здравого смысла - распознать разницу между облаком и горой. И я утверждаю, что никто не знает ничего из этого в том смысле, в каком мы все знаем о существовании египетских пирамид.

Правда, можно повторить, заключается в том, что то, что мы действительно видим, в отличие от того, что мы можем разумно предположить, на этой ранней фазе истории, - это тьма, покрывающая землю, и великая тьма - народы, с одним или двумя огоньками, мерцающими тут и там на случайных участках человечества; и что два из этих пламени действительно горят над двумя из этих высоких первобытных городов; на высоких террасах Вавилона и огромных пирамидах Нила. Действительно, есть другие древние огни, или огни, которые, как можно предположить, очень древние, в очень отдаленных уголках этой бескрайней ночной пустыни. Далеко на Востоке существует высокоразвитая цивилизация огромной древности в Китае; есть остатки цивилизаций в Мексике, Южной Америке и других местах, некоторые из них, по-видимому, достигли такого высокого уровня развития, что достигли самых утонченных форм поклонения дьяволу. Но разница заключается в элементе традиции; традиция этих утраченных культур была прервана, и хотя традиция Китая все еще жива, сомнительно, знаем ли мы что-нибудь о ней. Более того, человек, пытающийся измерить китайскую древность, вынужден использовать китайские традиции измерения; и у него возникает странное ощущение, что он перешел в другой мир, где действуют другие законы времени и пространства. Время растягивается в телескоп, и столетия принимают медленное и застывшее течение эонов; белый человек, пытающийся увидеть это так, как видит желтый человек, чувствует, как будто у него поворачивается голова, и дико задается вопросом, не отрастает ли у него косичка. Во всяком случае, он не может принять в научном смысле ту странную перспективу, которая ведет к первобытной пагоде первого из Сынов Неба. Он находится в реальных антиподах; в единственном истинном альтернативном христианскому миру мире; и он, в некотором роде, ходит вверх тормашками. Я говорил о средневековом картографе и его драконе; но какой средневековый путешественник, как бы сильно он ни интересовался чудовищами, ожидал бы найти страну, где дракон - доброжелательное и дружелюбное существо? О более серьезной стороне китайской традиции будет сказано кое-что в другой связи; но здесь я говорю только о традиции и проверке древностью. И я упоминаю Китай только как древность, до которой нам не добраться по мосту традиции; а Вавилон и Египет - как древности, которые существуют. Геродот - человеческое существо в том смысле, в каком китаец в широкополой шляпе, сидящий напротив нас в лондонской чайной, вряд ли можно назвать человеком. Нам кажется, что мы знали, что чувствовали Давид и Исая, в отличие от того, что мы никогда не были вполне уверены в том, что чувствовал Ли Хун Чанг. Те самые грехи, которые унесли Елену или Вирсавию, вошли в поговорку о личной человеческой слабости, о пафосе и даже о прощении. В самих добродетелях китаец есть что-то ужасающее. Это разница, возникающая в результате разрушения или сохранения непрерывного исторического наследия, например, от древнего Египта до современной Европы. Но когда мы спрашиваем, каким был тот мир, который мы унаследовали, и почему именно эти люди и места, по-видимому, принадлежат ему, нас подводят к центральному факту истории цивилизации.

Этим центром было Средиземное море, которое представляло собой не столько кусок воды, сколько целый мир. Но в этом мире было что-то от характера такой воды; ибо он все больше и больше становился местом объединения, в котором встречались потоки странных и очень разнообразных культур. Нил и Тибр одинаково впадают в Средиземное море; точно так же египтяне и этрурцы в равной степени внесли свой вклад в средиземноморскую цивилизацию. Очарование великого моря действительно распространилось очень далеко вглубь страны, и единство ощущалось только среди арабов в пустынях и галлов за северными холмами. Но постепенное создание общей культуры, распространяющейся по всем берегам этого

внутреннего моря, является основным занятием древности. Как будет видно, иногда это был как плохой, так и хороший бизнес. В этом *orbis terrarum*, или круге земель, были крайности зла и благочестия, были противоположные расы и еще более противоположные религии. Это была сцена бесконечной борьбы между Азией и Европой, начиная с бегства персидских кораблей при Саламине и заканчивая бегством турецких кораблей при Лепанто. Это была сцена, как будет более подробно показано ниже, высшей духовной борьбы между двумя типами язычества, противостоявшими друг другу в латинских и финикийских городах; на Римском форуме и Пунической ярмарке. Это был мир войны и мира, мир добра и зла, мир всего самого важного; при всем уважении к ацтекам и монголам Дальнего Востока, они не имели значения в той мере, в какой средиземноморская традиция имела и продолжает иметь значение. Между ней и Дальним Востоком существовали, конечно, интересные культы и завоевания различного рода, более или менее связанные с ней, и в той мере, в какой они были понятны и нам. Персы пришли верхом, чтобы покончить с Вавилоном; и в греческой истории нам рассказывается, как эти варвары научились натягивать лук и говорить правду. Александр Македонский, грек, двинулся со своими македонцами навстречу восходу солнца и принес оттуда странных птиц, раскрашенных, как восходящие облака, и странные цветы, и драгоценности из садов и сокровищниц безымянных царей. Ислам продвинулся на восток, в этот мир, и сделал его отчасти доступным для нашего воображения; именно потому, что сам ислам родился в том кольце земель, которые окаймляли наше собственное древнее море предков. В Средние века империя Великих Моголов увеличила свое величие, не утратив своей таинственности; татары завоевали Китай, и китайцы, по-видимому, обратили на них очень мало внимания. Все эти вещи интересны сами по себе, но невозможно перенести центр тяжести с внутреннего моря Европы на внутренние пространства Азии. В конце концов, если бы в мире не было ничего, кроме того, что было сказано, сделано, написано и построено на землях, лежащих вокруг Средиземного моря, это все равно было бы во всех самых жизненно важных и ценных вещах мира, в котором мы живем. Когда эта южная культура распространилась на северо-запад, она произвела много замечательных вещей, из которых, несомненно, самыми замечательными являемся мы сами. Когда она распространилась оттуда в колонии и новые страны, это была все та же культура, пока это вообще была культура. Но вокруг этого маленького моря, похожего на озеро, были сами вещи, помимо всех продолжений, отголосков и комментариев к вещам; Республика и Церковь; Библия и героические эпосы; ислам и Израиль и воспоминания о погибших империях; Аристотель и мера всех вещей. Именно потому, что первый свет, падающий на *этот* мир, - это действительно свет, дневной свет, по которому мы все еще ходим сегодня, а не просто сомнительное появление незнакомых звезд, я начал здесь с того, что отметил, где этот свет впервые падает на высокие города восточного Средиземноморья.

Но хотя Вавилон и Египет, таким образом, претендуют на первое место в самом факте того, что они являются знакомыми и традиционными, завораживающими загадками не только для нас, но и для наших отцов, мы не должны воображать, что они были единственными древними цивилизациями на южном море; или что вся цивилизация была просто шумерской, семитской или коптской, еще менее просто азиатской или африканской. Настоящие исследования все больше и больше превозносят древнюю цивилизацию Европы и особенно тех, кого мы все еще можем смутно называть греками. Это следует понимать в том смысле, что греки существовали до греков, как во многих их мифологиях боги существовали до богов. Остров Крит был центром цивилизации, ныне называемой Минойской, в честь Миноса, о котором сохранились древние легенды и чей лабиринт действительно был обнаружен современной археологией. Это развитое

европейское общество, с его гаванями, канализацией и домашним хозяйством, по-видимому, пришло в упадок перед каким-то вторжением его северных соседей, которые создали или унаследовали Элладу, известную нам по истории. Но тот более ранний период не прошел до тех пор, пока он не преподнес миру такие великие дары, что с тех пор мир тщетно пытается отплатить за них, хотя бы плагиатом.

Где-то на Ионическом побережье, напротив Крита и островов, находился какой-то город, вероятно, из тех, которые нам следовало бы назвать деревней или хуторком со стеной. Он назывался Илион, но впоследствии стал называться Троей, и это название никогда не исчезнет с лица земли. Поэт, который, возможно, был нищий и balladmonger, который, возможно, не умеет читать и писать, и был описан по традиции, как слепой, компредставляет собой стихотворение про греков в войну с этим городом, чтобы восстановить самая красивая женщина в мире. То, что самая красивая женщина в мире жила в этом маленьком городке, звучит как легенда; то, что самое красивое стихотворение в мире было написано кем-то, кто не знал ничего большего, чем такие маленькие городки, - исторический факт. Говорят, что поэма появилась в конце того периода; что первобытная культура породила ее в период своего упадка; в этом случае хотелось бы увидеть эту культуру в ее расцвете. Но как бы то ни было, это правда, что это наше первое стихотворение вполне может оказаться и нашим последним стихотворением. Вполне возможно, что это было как последнее, так и первое слово, сказанное человеком о своей земной участи, видимой простым смертным зрением. Если мир станет языческим и погибнет, последнему оставшемуся в живых человеку не мешало бы процитировать "Илиаду" и умереть.

Но в этом великом человеческом откровении древности есть еще один элемент огромной исторической важности, которому, как мне кажется, едва ли было отведено должное место в истории. Поэт так задумал стихотворение, что его симпатии, по-видимому, и симпатии его читателя, безусловно, на стороне побежденных, а не победителя. И это чувство усиливается в поэтической традиции даже по мере того, как само поэтическое происхождение отступает. Ахилл имел некоторый статус своего рода полубога в языческие времена; но в более поздние времена он полностью исчезает. Но с течением веков Гектор становится все более великим; и именно его имя является именем Рыцаря Круглого Стола, а его меч легенда вкладывает в руку Роланда, лежащего рядом с оружием поверженного Гектора в последних руинах и блеске его собственного поражения. Это название предвосхищает все поражения, через которые предстояло пройти нашей расе и религии; это выживание после ста поражений и есть ее триумф.

У рассказа о падении Трои не будет конца, ибо он вечно возносится живым эхом, бессмертным, как наша безнадежность и наша надежда. Стоящая Троя была маленькой вещью, которая, возможно, стояла безымянной целую вечность. Но падение Трои было охвачено пламенем и приостановлено в бессмертный миг уничтожения; и поскольку она была уничтожена огнем, огонь никогда не будет уничтожен. И как с городом, так и с героем; архаичными линиями прорисована в этих первобытных сумерках первая фигура Рыцаря. В его названии есть пророческое совпадение; мы говорили о слове "рыцарство" и о том, как оно, кажется, смешивает всадника с лошадью. Это почти предвосхищено давным-давно в гомеровского гекзаметра и в том длинном скачущем слове, которым заканчивается "Илиада". Это то самое единство, для которого мы не можем найти другого названия, кроме "святой кентавр рыцарства". Но есть и другие причины для того, чтобы в этом воспоминании о

древности пламя охватило священный город. Святость таких городов, подобно пожару, распространилась по побережьям и островам северного Средиземноморья; обнесенная высокими заборами деревушка, за которую умирали герои. Из малости города вытекало величие горожанина. Эллада с ее сотнями статуй не создала ничего величественнее этой шагающей статуи - идеала человека, владеющего собой. Эллада ста статуй была одной легендой и литературой; и весь этот лабиринт маленьких обнесенных стенами народов звучал плачем Трои.

Более поздняя легенда, возникшая запоздало, но не случайность, гласила, что пришельцы из Трои основали республику на итальянском берегу. Это было правдой по духу, что республиканская добродетель имела такой корень. Тайна чести, которая не была рождена Вавилоном или египетской гордыней, сияла подобно щиту Гектора, бросая вызов Азии и Африке; пока свет нового дня не рассеялся с появлением орлов и появлением имени; имени, которое прозвучало подобно раскату грома, когда мир пробудился к Риму.

ГЛАВА IV

БОГ И СРАВНИТЕЛЬНОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Однажды профессор проводил меня по римским основаниям древнего британского города, и он сказал то, что мне кажется сатирой на многих других профессоров. Возможно, профессор понял шутку, хотя и сохранял железную серьезность, и, возможно, понял, а может, и нет, что это была шутка против многого из того, что называется сравнительным религиоведением. Я указал на скульптуру головы солнца с обычным ореолом лучей, но с той разницей, что лицо на диске было не мальчишеским, как у Аполлона, а бородатым, как у Нептуна или Юпитера. 'Да,' сказал он с некоторой деликатной точностью, 'предполагается, что это изображение местного бога Сула. Лучшие авторитеты отождествляют Сул с Минервой; но это было сделано для того, чтобы показать, что идентификация не полная'.

Это то, что мы называем сильным преуменьшением. Современный мир безумнее любой сатиры на него; давным-давно мистер Беллок заставил своего пародийного дона сказать, что современные исследования доказали, что бюст Ариадны был Силеном. Но это ничуть не лучше, чем реальный облик Минервы в роли Бородатой женщины мистера Барнума. Только оба они очень похожи на многие отождествления, проводимые "лучшими авторитетами" в области сравнительного религиоведения; и когда католические вероучения отождествляются с различными дикими мифами, я не смеюсь, не проклиная и не веду себя плохо; я ограничиваюсь благопристойным замечанием, что отождествление неполное.

Во времена моей юности Религия человечества была термином, обычно применяемым к комтизму, теории определенных рационалистов, которые поклонялись корпоративному человечеству как Высшему Существо. Даже в дни своей юности я заметил, что есть что-то немного странное в том, чтобы презирать и отвергать доктрину Троицы как мистическое и даже маниакальное противоречие; а затем просить нас поклоняться божеству, которое представляет собой сто миллионов личностей в одном Боге, не смешивая личностей и не разделяя сущность.

Но есть и другая сущность, более или менее определяемая и гораздо более вообразимая, чем многоголовый и чудовищный идол человечества. И у нее гораздо больше прав называться, в разумном смысле, религией человечества. Человек на самом деле не является идолом; но

человек почти везде является идолопоклонником. И в этих многочисленных идолопоклонствах человечества есть что-то во многих отношениях более человеческое и симпатичное, чем современные метафизические абстракции. Если у азиатского бога три головы и семь рук, то, по крайней мере, в этом есть идея материального воплощения, приближающего неизвестную силу к нам, а не отдаляющего ее. Но если бы наши друзья Браун, Джонс и Робинсон, выйдя на воскресную прогулку, преобразились на наших глазах в азиатского идола, они наверняка казались бы еще дальше. Если бы руки Брауна и ноги Робинсона были из одного и того же сложного тела, казалось бы, что они машут чем-то вроде печального прощания. Если бы головы всех трех джентльменов оказались улыбающимися на одной шее, мы бы даже колебались, по какому имени обращаться к нашему новому и несколько ненормальному другу. В многоголовом и многоруком восточном идоле есть определенный смысл тайн, становящихся по крайней мере частично понятными; бесформенных сил природы, принимающих некую темную, но материальную форму, но хотя это может быть верно для многоликого бога, это не так для многоликого человека. Человеческие существа становятся менее человеческими, становясь менее обособленными; мы могли бы сказать, менее человеческими, будучи менее одинокими. Человеческие существа становятся менее понятными по мере того, как они становятся менее изолированными; мы могли бы со строгой достоверностью сказать, что чем ближе они к нам, тем дальше они от нас. Сборник этических гимнов этого гуманитарного направления религии был тщательно отобран и исключен из него по принципу сохранения всего человеческого и устранения всего божественного. Одним из следствий стало появление гимна в измененной форме 'Ближе к тебе человечество, ближе к тебе'. Это всегда вызывало у меня ощущения вешалки для ремней безопасности во время давки в метро. Но странно и удивительно, какими далекими могут казаться души людей, когда их тела так близко.

Человеческое единство, с которым я здесь имею дело, не следует путать с этим современным промышленным однообразием и стадностью, которые скорее являются скоплением людей, чем общностью. Это то, к чему человеческие группы, предоставленные самим себе, и даже человеческие индивидуумы, предоставленные самим себе, повсюду стремились, руководствуясь инстинктом, который действительно можно назвать человеческим. Как и все здоровое человеческое, оно очень сильно варьировалось в пределах общего характера; ибо это характерно для всего, что принадлежит к той древней земле свободы, которая лежит перед рабским промышленным городом и вокруг него. Индустриализм на самом деле хвастается тем, что все его продукты имеют единый образец; что люди на Ямайке или в Японии могут взломать одну и ту же печать и пить одно и то же плохое виски; что человек на Северном полюсе и другой на Юге могут распознать одну и ту же оптимистичную этикетку на одной и той же сомнительной консервированной семге. Но вино, дар богов людям, может меняться в зависимости от каждой долины и каждого виноградника, может превращаться в сотню сортов вина, и ни одно вино ни разу не напомнит нам о виски; а сыры могут меняться от графства к графству, не забывая при этом разницы между мелом и сыром. Следовательно, когда я говорю об этом, я говорю о чем-то, что, несомненно, включает в себя очень большие различия; тем не менее здесь я буду утверждать, что это одно. Я буду утверждать, что большая часть современного беспокойства проистекает из непонимания того, что на самом деле это одно и то же. Я выдвину тезис о том, что прежде чем говорить о сравнительном религиоведении и отдельных религиозных основателях мира, первым важным является признание этого явления в целом, как почти естественного и нормального для великого сообщества, которое мы называем человечеством.

Это язычество; и я предлагаю показать на этих страницах, что оно является единственным реальным соперником Церкви Христовой.

Сравнительная религия действительно очень сравнительна. То есть это в такой степени вопрос степени, расстояния и различий, что она достигает сравнительного успеха только тогда, когда пытается сравнивать. При ближайшем рассмотрении мы обнаруживаем, что в нем сравниваются вещи, которые на самом деле совершенно несопоставимы. Мы привыкли видеть таблицу или каталог великих религий мира в параллельных столбцах, пока нам не покажется, что они действительно параллельны. Мы привыкли видеть имена великих религиозных основателей все подряд: Христос, Магомет, Будда, Конфуций. Но на самом деле это всего лишь трюк; еще одна из тех оптических иллюзий, с помощью которых любые объекты могут быть поставлены в определенное соотношение путем смещения к определенной точке зрения. Эти религии и религиозные основатели, или, скорее, те, кого мы считаем религиями и религиозными основателями, на самом деле не имеют никакого общего характера. Иллюзия частично создается тем, что ислам стоит в списке сразу после христианства; поскольку ислам действительно пришел после христианства и был в значительной степени имитацией христианства. Но другие восточные религии, или то, что мы называем религиями, не только не похожи на Церковь, но и не похожи друг на друга. Когда мы подходим к конфуцианству в конце списка, мы приходим к чему-то из совершенно другого мира мысли. Сравнить христианскую и конфуцианскую религии - все равно что сравнивать теиста с английским сквайром или спрашивать, верит ли человек в бессмертие или является стопроцентным американцем. Конфуцианство может быть цивилизацией, но это не религия.

По правде говоря, Церковь слишком уникальна, чтобы доказывать свою уникальность. Ибо самое популярное и простое доказательство - параллель; а здесь параллели нет. Поэтому нелегко разоблачить ошибочность, с помощью которой создается ложная классификация, чтобы замалчивать уникальную вещь, когда это действительно уникальная вещь. Как нигде больше нет в точности такого же факта, так и нигде больше нет в точности такой же логической ошибки. Но я возьму самое близкое, что смогу найти к такому изолированному социальному явлению, чтобы показать, как оно таким образом поглощается и ассимилируется. Я думаю, большинство из нас согласилось бы, что в положении евреев есть что-то необычное и неповторимое. Нет ничего, что в таком же смысле можно было бы назвать интернациональной нацией; древняя культура, разбросанная по разным странам, но все еще отчетливая и нерушимая. Теперь это дело похоже на попытку составить список кочевых народов, чтобы смягчить странное одиночество еврея. Было бы достаточно легко сделать это с помощью того же процесса, когда сначала дается правдоподобное приближение, а затем переходят к совершенно другим вещам, добавленным каким-то образом для составления списка. Таким образом, в новом списке кочевых народов за евреями последуют цыгане, которые, по крайней мере, действительно кочевники, если они на самом деле не национальны. Тогда профессор новой науки Сравнительной номадики мог бы легко перейти к чему-то другому, даже если бы это было совсем другое. Он мог бы упомянуть о странствиях англичан, разбросавших свои колонии по стольким морям, и называть их кочевниками. Совершенно верно, что очень многие англичане кажутся странно беспокойными в Англии. Совершенно верно, что не все из них покинули свою страну ради блага своей страны. В тот момент, когда мы упоминаем странствующую империю англичан, мы должны добавить странную империю изгнанников ирландцев. Ибо любопытный факт, который следует отметить в нашей имперской литературе, заключается в том, что та же вездесущность и беспорядки, которые являются доказательством английской

предприимчивости и триумфа, являются доказательством тщетности и поражения Ирландии. Затем профессор номадизма задумчиво оглядывался по сторонам и вспоминал, что недавно было много разговоров о немецких официантах, немецких парикмахерах, немецких клерках, о немцах, натурализовавшихся в Англии, Соединенных Штатах и южноамериканских республиках. Немцы вошли бы в историю как пятая кочевая раса; слова "Жажда странствий" и "Народное скитание" были бы здесь очень кстати. Ибо действительно были историки, которые объясняли крестовые походы предположением, что немцев нашли блуждающими (как утверждает полиция) по окрестностям Палестины. Тогда профессор, чувствуя, что он близок к концу, в отчаянии совершал последний прыжок. Он вспомнил бы тот факт, что французская армия захватила почти все столицы Европы, что она прошла маршем по бесчисленным завоеванным землям под предводительством Карла Великого или Наполеона; и *это* была бы жажда странствий, и *это* было бы отличительной чертой кочевой расы. Таким образом, у него были бы все шесть кочевых народов компактными и целостными, и он чувствовал бы, что еврей больше не был каким-то таинственным и даже мистическим исключением. Но люди с большим здравым смыслом, вероятно, поняли бы, что он лишь расширил номадизм, расширив значение термина "номадизм"; и что он расширял его до тех пор, пока оно на самом деле не потеряло никакого значения вообще. Совершенно верно, что французский солдат совершил один из лучших маршей за всю военную историю. Но столь же верно и гораздо более самоочевидно, что если французский крестьянин не является укоренившейся реальностью, то в мире нет такой вещи, как укоренившаяся реальность; или, другими словами, если он кочевник, то нет никого, кто не был бы кочевником.

Именно такой трюк был опробован в случае сравнительного религиоведения, когда все основатели мировых религий rispetабельно выстроились в ряд. Он стремится классифицировать Иисуса так, как другие классифицировали бы евреев, изобретая для этой цели новый класс и заполняя все остальное пробелами и второсортными копиями. Я не имею в виду, что эти другие вещи часто не являются великими вещами по своему собственному реальному характеру и классу. Конфуцианство и буддизм - великие явления, но неверно называть их Церквями; точно так же, как французы и англичане - великие народы, но бессмысленно называть их кочевниками. Есть некоторые моменты сходства между христианским миром и его имитацией в исламе; если уж на то пошло, есть некоторые моменты сходства между евреями и цыганами. Но после этого списки составляются из всего, что попадает под руку; из всего, что может быть помещено в тот же каталог, но не в ту же категорию.

В этом очерке истории религии, со всем пристойным уважением к людям гораздо более образованным, чем я, я предлагаю абстрагироваться от этого современного метода классификации, который, я уверен, фальсифицировал исторические факты. Здесь я представляю альтернативную классификацию религии или вероисповеданий, которая, как я полагаю, будет охватывать все факты и, что здесь не менее важно, все фантазии. Вместо того чтобы делить религию географически и как бы вертикально, на христианскую, мусульманскую, браминскую, буддийскую и так далее, я бы разделил ее психологически и в некотором смысле горизонтально; на слои духовных элементов и влияний, которые иногда могут существовать в одной и той же стране или даже в одном и том же человеке. Оставляя на данный момент Церковь в стороне, я был бы склонен разделить естественную религию массы человечества на такие разделы, как эти: Бог; Боги; Демоны; Философы. Я полагаю, что некоторая подобная классификация поможет нам разобраться в духовном опыте людей гораздо успешнее, чем обычное дело сравнения религий; и что многие известные личности естественным образом

встанут на свое место таким образом, которые лишь вынуждены занять свое место в другом мире. Поскольку я буду использовать эти названия или термины не один раз в повествовании и намеках, на данном этапе будет полезно определить, что я имею в виду под ними. И я начну с первого, самого простого и возвышенного в этой главе.

Рассматривая элементы языческой человечности, мы должны начать с попытки описать неопишемое. Многие преодолевают трудность описания этого, прибегая к способу отрицания или, по крайней мере, игнорирования этого; но весь смысл этого в том, что это было нечто такое, что никогда не устранялось полностью, даже когда это игнорировалось. Они одержимы своей эволюционной манией, что все великое вырастает из семени или чего-то меньшего, чем оно само. Кажется, они забывают, что каждое семя происходит от дерева или от чего-то большего, чем оно само. Теперь есть очень веские основания предполагать, что религия изначально возникла не из какой-то детали, которая была забыта, потому что она была слишком мала, чтобы ее можно было проследить. Гораздо более вероятно, что это была идея, от которой отказались, потому что она была слишком большой, чтобы ею можно было управлять. Есть очень веские основания предполагать, что многие люди действительно начинали с простой, но ошеломляющей идеи о едином Боге, который управляет всем; а затем скатились к таким вещам, как поклонение демонам, почти как к своего рода тайному разврату. Даже проверка верований дикарей, которую так любят изучать фольклор, по общему признанию, часто подтверждает такую точку зрения. Некоторые из самых грубых дикарей, примитивных во всех смыслах, в которых антропологи используют это слово, например, австралийские аборигены, исповедуют чистый монотеизм с высокими моральными устоями. Миссионер проповедовал очень дикому племени политеистов, которые рассказали ему все свои политеистические истории и в ответ рассказали им о существовании единого благого Бога, который является духом и судит людей по духовным стандартам. И внезапно среди этих невозмутимых варваров поднялся гул возбуждения, как при виде кого-то, кто выдал секрет, и они закричали друг другу: 'Атахокан! Он говорит об Атахокане!'

Вероятно, среди этих политеистов было проявлением вежливости и даже порядочности не говорить об Атахокане. Это название, возможно, не так приспособлено, как некоторые из наших собственных, к прямому и торжественному религиозному призыву; но многие другие социальные силы всегда прикрывают и путают такие простые идеи. Возможно, старый бог олицетворял старую мораль, которая раздражала в более экспансивные моменты; возможно, общение с демонами было более модным среди лучших людей, как в современной моде спиритуализма. Как бы то ни было, подобных примеров можно привести множество. Все они свидетельствуют о безошибочной психологии того, что считается само собой разумеющимся, в отличие от того, о чем говорят. Яркий пример тому - рассказ, записанный слово в слово краснокожим индейцем из Калифорнии, который начинается с искреннего легендарного и литературного смака: 'Солнце - отец и правитель небес. Он - большой вождь. Луна - его жена, а звезды - их дети'; и так далее по самой остроумной и запутанной истории, в середине которой неожиданно в скобках говорится, что солнце и луна должны что-то сделать, потому что "Так приказал Великий Дух, Который живет над местом всего сущего". Именно таково отношение большинства язычников к Богу. Он - нечто предполагаемое, забытое и о нем вспоминают случайно; привычка, возможно, не свойственная язычникам. Иногда высшее божество вспоминается на более высоких моральных уровнях и является своего рода загадкой. Но всегда, как справедливо было сказано, дикарь болтлив о своей мифологии и немногословен о своей религии. Австралийские дикари, действительно, демонстрируют такую первозданность,

которую древние могли бы счесть поистине достойной антиподов. Дикарь, который не задумывается о том, чтобы выкинуть из головы такой пустяк, как сказка о том, что солнце и луна - это половинки разрубленного надвое младенца, или завести светскую беседу о колоссальной космической короле, которую доят, чтобы вызвать дождь, просто для того, чтобы быть общительным, затем удалится в тайные пещеры, закрытые от женщин и белых мужчин, храмы ужасного посвящения, где под грохот ревущего быка и капающую жертвенную кровь священник шепчет последние секреты, известные только посвященному: что честность - лучшая политика, что честный человек никогда не станет жертвой. маленькая доброта никому не причиняет вреда, потому что все люди - братья и что есть только один Бог, Отец Всемогущий, творец всего видимого и невидимого.

Другими словами, мы имеем здесь курьез религиозной истории, заключающийся в том, что дикарь, по-видимому, выставляет напоказ все самые отталкивающие и невозможные стороны своей веры и скрывает все наиболее разумные и заслуживающие доверия части. Но объяснение заключается в том, что они не являются в этом смысле частями его веры; или, по крайней мере, не являются частями веры того же рода. Мифы - это всего лишь небылицы, хотя и такие же высокие, как небо, смерч или тропический дождь. Тайны - это правдивые истории, и их хранят в тайне, чтобы их можно было воспринимать всерьез. Действительно, слишком легко забыть, что в теизме есть волнующий момент. Роман, в котором несколько отдельных персонажей оказались одним и тем же персонажем, несомненно, стал бы сенсационным романом. То же самое и с идеей, что солнце, дерево и река - это личины одного бога, а не многих. Увы, нам также слишком легко принимать Атахокана как должное. Но независимо от того, позволяют ли ему превратиться в трюизм или сохраняют как сенсацию, сохраняя как тайну, ясно, что он всегда остается либо старым трюизмом, либо старой традицией. Нет ничего, что указывало бы на то, что он является усовершенствованным продуктом простой мифологии, и все указывает на то, что он предшествовал ей. Ему поклоняются простейшие племена, в которых нет и следа призраков или могильных приношений, или каких-либо сложностей, в которых Герберт Спенсер и Грант Аллен искали происхождение простейшей из всех идей. Что бы там еще ни было, никогда не существовало такой вещи, как Эволюция Идеи Бога. Эту идею скрывали, избегали, почти забыли, даже объясняли; но она никогда не развивалась. Есть немало указаний на это изменение в других местах. Это подразумевается, например, в том факте, что даже политеизм часто кажется комбинацией нескольких монотеизмов. Бог получит лишь незначительное место на горе Олимп, когда он владел землей, небом и всеми звездами, пока жил в своей собственной маленькой долине. Подобно многим маленьким нациям, сливающимся в великую империю, он отказывается от локальной универсальности только для того, чтобы попасть под универсальные ограничения. Само имя Пан предполагает, что он стал богом леса, когда был богом мира. Само имя Юпитер является почти языческим переводом слов 'Отче наш, сущий на небесах'. Как с Великим Отцом, символизируемым небом, так и с Великой Матерью, которую мы до сих пор называем Матерью-Землей. Деметра, Церера и Кибела часто кажутся почти неспособными взять на себя все дела божественности, так что люди не должны нуждаться в других богах. Представляется разумно вероятным, что у очень многих людей действительно не было других богов, кроме одного из этих, которому поклонялись как творцу всего сущего.

В некоторых из самых огромных и густонаселенных регионов мира, таких как Китай, может показаться, что более простая идея Великого Отца никогда особо не усложнялась конкурирующими культами, хотя, возможно, в некотором смысле она сама по себе перестала

быть культом. Лучшие авторитеты, по-видимому, считают, что, хотя конфуцианство в каком-то смысле является агностицизмом, оно не противоречит прямо старому теизму именно потому, что оно стало довольно расплывчатым теизмом. Это тот, в котором Бог называется Небесами, как в случае с вежливыми людьми, соблазняющимися выругаться в гостиных. Но Небеса все равно над головой, даже если они очень далеко над головой. У всех нас создается впечатление простой истины, которая отступила, пока не стала отдаленной, но при этом не перестала быть правдой. И одна эта фраза вернула бы нас к той же идее даже в языческой мифологии Запада. Несомненно, что-то от самого представления об уходе какой-то высшей силы есть во всех этих таинственных и очень образных мифах об отделении земли от неба. В сотнях форм нам говорят, что небо и земля когда-то были любовниками или когда-то были единым целым, когда какой-нибудь выскочка, часто какой-нибудь непослушный ребенок, разлучил их; и мир был построен на пропасти, на разделении и расставании. Одна из самых грубых версий этого явления была дана греческой цивилизацией в мифе об Уране и Сатурне. Одна из самых очаровательных его версий была у некоторых дикарей, которые говорят, что маленькое перечное растение становилось все выше и выше и закрывало все небо, как крышка; прекрасное варварское видение рассвета для некоторых наших художников, которые любят эти тропические сумерки. О мифах и в высшей степени мифических объяснениях мифов, которые предлагают современные люди, кое-что будет сказано в другом разделе; ибо я не могу не думать, что большая часть мифологии находится на другом, более поверхностном плане. Но в этом первобытном видении разделения одного мира на два, несомненно, есть нечто большее, чем предельные идеи. Что касается того, что это значит, человек узнает об этом гораздо больше, лежа на спине в поле и просто глядя на небо, чем читая все библиотеки, даже самые ученые и ценные фольклорные предания. Он поймет, что подразумевается под словами о том, что небо должно быть ближе к нам, чем оно есть, что, возможно, когда-то оно было ближе, чем оно есть, что это не просто нечто чуждое и бездонное, но каким-то образом отделенное от нас и прощающееся. В его разум закрадется любопытное предположение, что, в конце концов, возможно, мифотворец был не просто лунным тельцом или деревенским идиотом, думающим, что может разрезать облака, как пирог, но имел в себе нечто большее, чем принято приписывать троглодиту; что вполне возможно, что Томас Худ говорил не как троглодит, когда говорил, что с течением времени верхушки деревьев лишь говорили ему, что он дальше от небес, чем когда он был мальчиком. Но в любом случае легенда об Уране, Владыке Небес, свергнутом Сатурном, Духом Времени, что-то значила бы для автора этого стихотворения. И это означало бы, среди прочего, отказ от первого отцовства. Идея Бога содержится в самом представлении о том, что до богов были боги. Во всех намеках на этот более древний порядок присутствует идея большей простоты. Это предположение подтверждается процессом распространения, который мы наблюдаем в исторические времена. Боги, полубоги и герои плодятся, как сельди, прямо у нас на глазах, и сами собой наводят на мысль, что у семьи, возможно, был один основатель; мифология становится все более и более сложной, и само усложнение наводит на мысль, что вначале все было проще. Таким образом, даже на основании внешних свидетельств, которые называются научными, есть очень веские основания для предположения, что человек начал с монотеизма до того, как он развился или выродился в политеизм. Но меня интересует скорее внутренняя, чем внешняя истина; и, как я уже говорил, внутренняя истина почти неопишима. Мы должны говорить о чем-то, о чем весь смысл в том, что люди не говорили об этом; мы должны переводить не просто с незнакомого языка или речи, но со странного молчания.

Я подозреваю, что за всем политеизмом и язычеством стоит огромный подтекст. Я подозреваю, что у нас есть только намеки на это здесь и там в этих диких верованиях или греческом происхождении. Это не совсем то, что мы подразумеваем под присутствием Бога; в каком-то смысле это правильнее было бы назвать отсутствием Бога. Но отсутствие не означает несуществования; и человек, поднимающий тост за отсутствующих друзей, не означает, что в его жизни отсутствует вся дружба. Это пустота, но это не отрицание; это нечто столь же положительное, как пустой стул. Было бы преувеличением сказать, что язычник видел пустой трон выше Олимпа. Было бы ближе к истине обратиться к гигантским образам Ветхого Завета, в которых пророк видел Бога сзади; это было так, как будто некое неизмеримое присутствие повернулось спиной к миру. И все же смысл снова будет упущен, если предположить, что это нечто столь сознательное и яркое, как монотеизм Моисея и его народа. Я не имею в виду, что языческие народы были в малейшей степени подавлены этой идеей только потому, что она всепоглощающая. Напротив, он был настолько велик, что все они несли его легко, как все мы несем груз неба. Вглядываясь в какую-то деталь, например, в птицу или облако, мы все можем игнорировать их ужасный синий фон; мы можем пренебречь небом; и именно потому, что оно давит на нас с уничтожающей силой, оно ощущается как ничто. Вещь такого рода может быть только впечатлением, и довольно тонким впечатлением; но для меня это очень сильное впечатление, произведенное языческой литературой и религией. Я повторяю, что в нашем особом сакраментальном смысле, конечно, присутствует отсутствие присутствия Бога. Но в самом реальном смысле присутствует отсутствие Бога. Мы чувствуем это в непостижимой печали языческой поэзии; ибо я сомневаюсь, был ли когда-нибудь во всей удивительной мужественности древности человек, который был бы счастлив так, как был счастлив святой Франциск. Мы чувствуем это в легенде о Золотом веке и снова в смутном намеке на то, что сами боги в конечном счете связаны с чем-то другим, даже когда этот Неизвестный Бог превратился в Судьбу. Больше всего мы чувствуем это в те бессмертные моменты, когда языческая литература, кажется, возвращается к более невинной древности и говорит более прямым голосом, так что ни одно слово не достойно ее, кроме нашего собственного монотеистического односложия. Мы не можем сказать ничего, кроме 'Бог', в предложении, подобном тому, которое Сократ произносит, прощаясь со своими судьями: "Я иду умирать, а вы остаетесь жить; и только Бог знает, кто из нас пойдет лучшим путем". Мы не можем использовать другого слова даже для лучших моментов Марка Аврелия: "Могут ли они сказать "дорогой город Кекропс", а ты не можешь сказать "дорогой город Бога"?" Мы не можем употребить другого слова в той могучей строке, в которой Вергилий обратился ко всем страждущим с истинным криком христианина перед Христом, в непереводаемом слове: "O, passi graviora dabit deus his quoque finem".

Короче говоря, возникает ощущение, что есть нечто более высокое, чем боги; но поскольку это выше, то и дальше от нас. Даже Вергилий еще не мог разгадать загадку и парадокс этого другого божества, которое одновременно выше и ближе. Для них то, что было по-настоящему божественным, было очень далеким, настолько далеким, что они все больше и больше выбрасывали это из головы. Это имело все меньше и меньше общего с простой мифологией, о которой я напишу позже. Тем не менее, даже в этом было своего рода молчаливое признание его неосязаемой чистоты, если мы рассмотрим, на что похожа большая часть мифологии. Как евреи не хотели унижать его образами, так и греки не унижали его даже воображением. Когда о богах все чаще вспоминали только в виде шалостей и распутства, это было относительно движением благоговения. Забыть Бога было актом благочестия. Другими словами, во всем тоне того времени есть что-то, предполагающее, что мужчины приняли более низкий уровень и все

еще наполовину осознавали, что это был более низкий уровень. Трудно подобрать слова для этих вещей; и все же одно действительно справедливое слово готово. Эти люди сознавали Грехопадение, если они не сознавали ничего другого; и то же самое верно для всего языческого человечества. Те, кто падал, могут помнить падение, даже когда забывают высоту. Какой-нибудь такой мучительный пробел в памяти стоит за всеми языческими чувствами. Существует такая вещь, как сиюминутная способность помнить то, о чем мы забываем. И самые невежественные представители человечества по одному виду земли знают, что они забыли небеса. Но остается правдой, что даже у этих людей были моменты, подобные воспоминаниям детства, когда они слышали, как сами разговаривают на более простом языке; были моменты, когда римлянин, подобно Вергилию в уже цитированной строчке, одним взмахом меча прорубал себе дорогу из сплетения мифологий; пестрая толпа богов и богинь внезапно исчезала из виду, и Небесный Отец оставался один в небе.

Этот последний пример очень важен для следующего шага процесса. Белый свет, подобный ушедшему утру, все еще остается на фигуре Юпитера, Пана или старшего Аполлона; и вполне возможно, как уже отмечалось, что каждый из них когда-то был божеством столь же одиноким, как Иегова или Аллах. Они утратили эту одинокую универсальность в результате процесса, который здесь крайне необходимо отметить; процесса слияния, очень похожего на то, что впоследствии было названо синкретизмом. Весь языческий мир вознамерился построить Пантеон. Они признавали все больше и больше богов, богов не только греков, но и варваров; богов не только Европы, но и Азии и Африки. Чем больше, тем веселее, хотя некоторые азиаты и африканцы были не очень веселы. Они допускали их на равные троны со своими; иногда они отождествляли их со своими собственными. Возможно, они рассматривали это как обогащение своей религиозной жизни, но это означало окончательную потерю всего, что мы сейчас называем религией. Это означало, что древний свет простоты, имевший единственный источник, такой как солнце, в конце концов померк в ослеплении противоречивых огней и красок. Бог действительно приносится в жертву богам; в буквальном смысле этого легкомысленного выражения их было слишком много для него.

Таким образом, политеизм на самом деле был своего рода бассейном; в том смысле, что язычники согласились на объединение своих языческих религий. И этот момент очень важен во многих спорах древних и современных. Считается либеральным и просвещенным поступком утверждать, что бог чужака может быть таким же хорошим, как наш собственный; и, несомненно, язычники считали себя очень либеральными и просвещенными, когда соглашались добавить к богам города или домашнего очага какого-нибудь дикого и фантастического Диониса, спускающегося с гор, или какого-нибудь косматого и простоватого Пана, выползающего из леса. Но именно то, что он потерял из-за этих более масштабных идей, - это величайшая идея из всех. Именно идея отцовства делает весь мир единым целым. Верно и обратное. Несомненно, те более одряхлевшие люди древности, которые цеплялись за свои одинокие статуи и свои единственные священные имена, считались суеверными дикарями, погруженными во мрак и оставленными позади. Но эти суеверные дикари сохраняли нечто, гораздо более похожее на космическую силу в том виде, в каком она понимается философией или даже наукой. Этот парадокс, благодаря которому грубый реакционер был своего рода пророческим прогрессистом, имеет одно очень важное следствие. В чисто историческом смысле, и помимо любых других противоречий в той же связи, это проливает свет, единственный и устойчивый свет, который с самого начала освещает маленьких и одиноких

людей. В этом парадоксе, как в какой-то религиозной загадке, ответ на которую был сокрыт на века, заключается миссия и смысл евреев.

В этом смысле, говоря по-человечески, верно, что мир обязан Богом евреям. Этой истиной она обязана многому, в чем обвиняют евреев, возможно, многому, что заслуживает порицания в евреях. Мы уже отмечали кочевое положение евреев среди других скотоводческих народов на окраине Вавилонской империи, и что-то из их странного, беспорядочного пути пронеслось по темной территории глубокой древности, когда они перешли из резиденции Авраама и князей-пастухов в Египет, а затем вернулись в палестинские холмы, отбили их у филистимлян с Крита и попали в вавилонский плен; и все же снова вернулись в свой горный город из-за сионистской политики персидских завоевателей; и так продолжался тот удивительный роман неугомонности, о котором мы еще не слышали. видел конец. Но на протяжении всех своих странствий, и особенно на протяжении всех своих ранних странствий, они действительно несли судьбу мира в этой деревянной скинии, которая содержала, возможно, невыразительный символ и, безусловно, невидимого бога. Мы можем сказать, что одной из самых существенных особенностей было то, что он был невыразительным. Как бы мы ни предпочитали ту творческую свободу, которую провозгласила христианская культура и которой она затмила даже искусство античности, мы не должны недооценивать определяющее значение в то время еврейского запрета на изображения. Это типичный пример одного из тех ограничений, которые на самом деле сохраняли и увековечивали расширение, подобно стене, возведенной вокруг широкого открытого пространства. Бог, у которого не могло быть статуи, оставался духом. Ни в коем случае его статуя не обладала бы обезоруживающим достоинством и грацией греческих статуй того времени или христианских статуй впоследствии. Он жил в стране монстров. У нас будет возможность более подробно рассмотреть, что это были за чудовища - Молох, Дагон и Танит, ужасная богиня. Если бы у божества Израиля когда-либо было изображение, у него был бы фаллический образ. Просто дав ему тело, они привнесли бы все худшие элементы мифологии; всю полигамию политеизма; видение гарема на небесах. Этот пункт об отказе от искусства - первый пример ограничений, которые часто подвергаются негативной критике только потому, что сами критики ограничены. Но еще более убедительный пример можно найти в другой критике, предложенной теми же критиками. Часто с насмешкой говорят, что Бог Израиля был всего лишь Богом Битв, "простым варварским Владыкой Воинств", соперничавшим с другими богами только как их завистливый враг. Что ж, для всего мира он был Богом Битв. Что ж, для нас он был для всех остальных всего лишь соперником. Обычным способом им было бы слишком легко совершить безысходную катастрофу - воспринять его как друга. Им было бы слишком легко увидеть, как он протягивает руки в знак любви и примирения, обнимает Ваала и целует раскрашенное лицо Астарты, пирует в обществе богов; последний бог, продавший свою звездную корону за Сому индийского пантеона, или нектар Олимпа, или медовуху Валгаллы. Его почитателям было бы достаточно легко следовать просвещенным курсом синкретизма и объединения всех языческих традиций. Действительно, очевидно, что его последователи всегда скатывались по этому легкому склону; и это требовало почти демонической энергии некоторых вдохновенных демагогов, которые свидетельствовали о божественном единстве словами, которые все еще подобны ветрам вдохновения и разрушения. Чем больше мы действительно поймем о древних условиях, которые способствовали окончательному формированию культуры Веры, тем больше у нас будет реального и даже реалистичного почтения к величию израильских Пророков. Как бы то ни было, в то время как весь мир растворился в этой массе запутанной мифологии, это Божество, которое называют племенным

и узким, именно потому, что оно было тем, что называется племенным и ограниченным, сохранило основную религию всего человечества. Он был достаточно племенным, чтобы быть универсальным. Он был узок, как вселенная.

Одним словом, был популярный языческий бог по имени Юпитер-Амон. Никогда не существовало бога по имени Иегова-Амон. Никогда не существовало бога по имени Иегова-Юпитер. Если бы он существовал, то, несомненно, существовал бы другой по имени Иегова-Молох. Задолго до того, как либеральные и просвещенные объединители продвинулись так далеко, как Юпитер, образ Господа Саваофа утратил бы всякое представление о монотеистическом творце и правителе и превратился бы в идола, гораздо худшего, чем любой дикий фетиш; ибо он мог бы быть таким же цивилизованным, как боги Тира и Карфагена. Что означала эта цивилизация, мы рассмотрим более подробно в следующей главе; когда мы отметим, как сила демонов почти уничтожила Европу и даже языческое здоровье мира. Но судьба мира была бы искажена еще более фатально, если бы монотеизм потерпел неудачу в моисеевой традиции. Я надеюсь в следующем разделе показать, что я не без симпатии отношусь ко всему тому здоровому языческому миру, который создал свои сказки и причудливые религиозные романы. Но я надеюсь также показать, что в долгосрочной перспективе они были обречены на провал; и мир был бы потерян, если бы не смог вернуться к той великой изначальной простоте единого авторитета во всех вещах. Что мы действительно сохраняем что-то от той изначальной простоты, что поэты и философы все еще могут в некотором смысле произносить Универсальную молитву, что мы живем в большом и безмятежном мире под небом, которое по-отечески простирается над всеми народами земли, что философия и филантропия - прописные истины в религии разумных людей, всем этим мы действительно обязаны под небесами скрытному и беспокойному кочевому народу, который даровал людям высшее и безмятежное благословение ревнивого Бога.

Это уникальное достояние не было доступно языческому миру, потому что оно также было достоянием ревнивого народа. Евреи были непопулярны, отчасти из-за этой ограниченности, уже отмеченной в римском мире, отчасти, возможно, потому, что у них уже вошло в привычку просто обращаться с вещами для обмена, вместо того чтобы работать над их изготовлением своими руками. Отчасти это было еще и потому, что политеизм превратился в своего рода джунгли, в которых мог затеряться одинокий монотеизм; но странно осознавать, насколько полностью он на самом деле был утрачен. Помимо более спорных вопросов, в традиции Израиля были вещи, которые принадлежат всему человечеству сейчас и, возможно, принадлежали всему человечеству тогда. У них был один из колоссальных краеугольных камней мира - Книга Иова. Это явно контрастирует с "Илиадой" и греческими трагедиями; и даже в большей степени, чем с ними, это была ранняя встреча и расставание поэзии и философии на заре мира. Это торжественное и возвышающее зрелище - видеть, как эти два вечных дурака, оптимист и пессимист, были уничтожены на заре времен. И философия действительно совершенствует языческую трагическую иронию именно потому, что она более монотеистична и, следовательно, более мистична. Действительно, Книга Иова открыто отвечает на тайну только тайной. Иова утешают загадки; но он утешен. Здесь действительно прообраз, в смысле пророчества, вещей, говорящих авторитетно. Ибо когда тот, кто сомневается, может только сказать: 'Я не понимаю', верно, что тот, кто знает, может только ответить или повторить: 'Ты не понимаешь'. И под этим упреком всегда скрывается внезапная надежда в сердце; и ощущение чего-то, что стоило бы понять. Но эта могучая монотеистическая поэма осталась незамеченной всем античным миром, который был переполнен политеистической поэзией. Это признак того,

что евреи стояли особняком и сохраняли свою традицию непоколебимой, что они должны были уберечь такую вещь, как Книга Иова, от всего интеллектуального мира древности. Это похоже на то, как если бы египтяне скромно скрывали Великую пирамиду. Но были и другие причины для противоречия целей и тупика, характерных для всего периода конца язычества. В конце концов, традиция Израиля усвоила только половину правды, даже если мы воспользуемся популярным парадоксом и назовем это большей половиной. В следующей главе я попытаюсь обрисовать ту любовь к местности и личности, которая пронизывала мифологию; здесь нужно только сказать, что в ней была правда, которую нельзя было упускать из виду, хотя это была более легкая и менее существенная правда. Скорбь Иова должна была быть соединена с скорбью Гектора; и в то время как первая была скорбью вселенной, вторая была скорбью города; ибо Гектор мог стоять, указывая на небо, только как столп святой Трои. Когда Бог говорит из вихря, Он вполне может говорить в пустыне. Но монотеизма кочевников было недостаточно для всей этой разнообразной цивилизации полей, изгородей, городов, обнесенных стенами, храмов и поселков; и настал черед и этого, когда то и другое можно было объединить в более определенной и домашней религии. Тут и там во всей этой языческой толпе можно было встретить философа, чьи мысли основывались на чистом теизме; но он никогда не обладал или не предполагал, что у него есть сила изменить обычаи всего населения. Даже в таких философиях нелегко найти истинное определение этого глубокого вопроса об отношениях политеизма и теизма. Возможно, ближе всего мы можем подойти к тому, чтобы выделить ноту или дать этому факту название, в чем-то далеком от всей этой цивилизации и более отдаленном от Рима, чем изоляция Израиля. Это есть в высказывании, которое я однажды слышал из какой-то индуистской традиции; что боги, как и люди, - всего лишь сны Брахмы; и они погибнут, когда Брахма проснется. В подобном образе действительно есть что-то от души Азии, которая менее разумна, чем душа христианского мира. Мы должны назвать это отчаянием, даже если они называли бы это миром. Эту нотку нигилизма можно будет рассмотреть позже при более полном сравнении Азии и Европы. Здесь достаточно сказать, что в этой идее божественного пробуждения больше разочарования, чем подразумевается для нас при переходе от мифологии к религии. Но этот символ очень тонкий и точный в одном отношении; он действительно указывает на диспропорцию и даже разрыв между самими идеями мифологии и религии; на пропасть между этими двумя категориями. Крах сравнительной религии заключается в том, что между Богом и богами нет сравнения. Сравнения не больше, чем между человеком и людьми, которые бродят в его снах. Под следующим заголовком будет предпринята некоторая попытка указать на сумерки того сна, в котором боги разгуливают подобно людям. Но если кто-то воображает, что контраст монотеизма и политеизма заключается только в том, что у одних людей один бог, а у других несколько больше, для него будет гораздо ближе к истине погрузиться в слоновью экстравагантность космологии брахманов; что он может почувствовать дрожь, пробивающуюся сквозь завесу вещей, многоруких творцов, животных на тронах и в ореолах, и всю сеть запутанных звезд и повелителей ночи, когда ужасные глаза Брахмы открываются подобно рассвету после всеобщей смерти.

ГЛАВА V

ЧЕЛОВЕК И МИФОЛОГИИ

То, что здесь называется Богами, можно было бы почти альтернативно назвать Грезами наяву. Сравнить их со снами - не значит отрицать, что мечты могут сбываться. Сравнить их со

сказками путешественников ' не значит отрицать, что это могут быть правдивые истории или, по крайней мере, правдивые сказки. По правде говоря, они из тех историй, которые путешественник рассказывает сам себе. Весь этот мифологический бизнес принадлежит поэтической части человечества. В наши дни кажется странным, что миф - это произведение воображения и, следовательно, произведение искусства. Для его создания нужен поэт. Нужен поэт, чтобы критиковать это. В мире больше поэтов, чем не-поэтов, что подтверждается популярным происхождением таких легенд. Но по какой-то причине, которую я никогда не слышал объяснения, только меньшинству непоэтических людей позволено писать критические исследования этих популярных стихотворений. Мы не отдаем сонет математику или песню расчетливому мальчику; но мы потворствуем столь же фантастической идее о том, что к фольклору можно относиться как к науке. Если эти вещи не ценятся художественно, они вообще не ценятся. Когда варвар говорит профессору, что когда-то не было ничего, кроме огромного пернатого змея, если только ученый человек не испытывает трепета и легкого искушения пожелать, чтобы это было правдой, он вообще не разбирается в таких вещах. Когда его уверяют, ссылаясь на авторитетные источники краснокожих индейцев, что первобытный герой нес солнце, луну и звезды в ящике, если только он не хлопает в ладоши и чуть ли не дрыгает ногами, как ребенок от такой очаровательной фантазии, он ничего не понимает в этом вопросе. Этот тест не бессмысленный; первобытные дети и дети варваров действительно смеются и брыкаются, как другие дети; и мы должны обладать определенной простотой, чтобы воссоздать детство мира. Когда няня рассказала Гайавате, что воин забросил его бабушку на Луну, он рассмеялся, как любой английский ребенок, которому няня сказала, что корова перепрыгнула через луну. Ребенок понимает шутку так же хорошо, как и большинство людей, и лучше, чем некоторые ученые мужи. Но конечным критерием даже фантастического является уместность неуместного. И тест должен казаться просто произвольным, потому что он просто художественный. Если какой-нибудь студент скажет мне, что младенец Гайавата смеялся только из уважения к племенному обычаю приносить стариков в жертву экономному ведению домашнего хозяйства, я отвечу, что он этого не делал. Если какой-нибудь ученый скажет мне, что корова перепрыгнула через луну только потому, что телка была принесена в жертву Диане, я отвечу, что это не так. Это произошло потому, что корове, очевидно, подобает перепрыгнуть через Луну. Мифология - утраченное искусство, одно из немногих искусств, которые действительно утрачены; но это искусство. Рогатая луна и рогатый лунный теленок образуют гармоничный и почти спокойный узор. И подбрасывать свою бабушку в небо - нехорошее поведение, но это безусловно хороший вкус.

Таким образом, ученые редко понимают, как понимают художники, что одной из ветвей прекрасного является уродливое. Они редко допускают законную свободу гротеска. И они отвергнут дикий миф как просто грубый и неуклюжий и свидетельство деградации, потому что в нем нет всей красоты "вестника Меркурия", только что зажженного на целующем небеса холме; когда в нем действительно есть красота Мнимой Черепахи Безумного Шляпника. Высшим доказательством того, что человек прозаичен, является то, что он всегда настаивает на том, чтобы поэзия была поэтичной. Иногда юмор кроется в самом предмете, а также в стиле басни. У австралийских аборигенов, которых считают самыми грубыми из дикарей, есть история о гигантской лягушке, которая проглотила море и все воды мира; и которая была вынуждена разлить их только потому, что ее рассмешили. Все животные со всеми их ужимками проходили перед ним, и, подобно королеве Виктории, ему было не до смеха. Наконец он рухнул перед угрем, который изящно балансировал на кончике своего хвоста, несомненно, с довольно

отчаянным достоинством. На основе этой басни можно было бы написать сколько угодно прекрасной фантастической литературы. В этом видении сухого мира перед блаженным Потоксмехом есть философия. Гористое чудовище, извергающееся подобно водному вулкану, поражает воображение; очень забавно представлять себе его выпученную физиономию, когда мимо проходит пеликан или пингвин. Как бы то ни было, лягушка рассмеялась, но изучающий фольклор остается серьезным.

Более того, даже там, где басни уступают искусству, они не могут быть должным образом оценены наукой; еще менее должным образом оценены как наука. Некоторые мифы очень примитивны и причудливы, как ранние рисунки детей; но ребенок пытается рисовать. Тем не менее, было бы ошибкой относиться к его рисунку так, как если бы это была диаграмма или предполагалось, что это диаграмма. Изучающий не может сделать научного утверждения о дикаре, потому что дикарь не делает научного утверждения о мире. Он говорит нечто совершенно иное; то, что можно было бы назвать сплетнями богов. Если угодно, мы можем сказать, что в это верят до того, как появляется время изучить это. Правильнее было бы сказать, что это принимается до того, как появляется время поверить в это.

Признаюсь, я сомневаюсь во всей теории распространения мифов или (как это обычно бывает) в одном мифе. Это правда, что что-то в нашей природе и условиях делает многие истории похожими, но каждая из них может быть оригинальной. Один человек не заимствует историю у другого, хотя он может рассказывать ее из тех же побуждений, что и другой человек. Было бы легко применить весь аргумент о легенде к литературе и превратить его в вульгарную мономанию плагиата. Я бы взялся проследить идею, подобную "Золотой ветви", в отдельных современных романах так же легко, как в общественных и устаревших мифах. Я бы постарался найти что-нибудь вроде букета цветов, снова и снова перебирая в памяти все - от рокового букета Бекки Шарп до букета роз, присланного принцессой Руритании. Но хотя эти цветы могут вырасти из одной и той же почвы, из рук в руки передается не один и тот же увядший цветок. Эти цветы всегда свежие.

Истинное происхождение всех мифов обнаруживалось слишком часто. К мифологии слишком много ключей, как слишком много криптограмм у Шекспира. Все фаллически; все тотемистично; все есть время посева и сбора урожая; все есть призраки и могильные подношения; все есть золотая ветвь жертвоприношения; все есть солнце и луна; все есть все. Каждый изучающий фольклор, который знал немного больше, чем его собственная мономания, каждый человек с более широкой начитанностью и критической культурой, такой как Эндрю Лэнг, практически признавался, что от замешательства от этих вещей у него закружилась голова. Однако вся беда исходит от человека, пытающегося взглянуть на эти истории со стороны, как если бы они были научными объектами. Ему нужно только взглянуть на них изнутри и спросить себя, с чего бы он начал рассказ. История может начинаться с чего угодно и идти куда угодно. Она может начинаться с птицы, не будучи тотемом; она может начинаться с солнца, не будучи солнечным мифом. Говорят, что в мире всего десять сюжетов, и в них наверняка будут общие и повторяющиеся элементы. Заставьте десять тысяч детей говорить одновременно и рассказывать всякую чушь о том, что они делали в лесу; и вам будет нетрудно найти параллели, предполагающие поклонение солнцу или животным. Некоторые истории могут быть красивыми, некоторые глупыми, а некоторые, возможно, грязными; но их можно оценивать только как истории. На современном диалекте их можно оценивать только эстетически. Странно, что эстетике, или простому чувству, которому теперь позволено узурпировать власть там, где у него

вообще нет прав, разрушать разум прагматизмом, а мораль анархией, по-видимому, не позволено выносить чисто эстетическое суждение о том, что, очевидно, является чисто эстетическим вопросом. Мы можем фантазировать обо всем, кроме сказок.

Итак, первый факт заключается в том, что самые простые люди обладают самыми тонкими идеями. Это должен знать каждый, ибо каждый был ребенком. Ребенок невежествен, он знает больше, чем может сказать, и чувствует не только атмосферу, но и тонкие оттенки. И в этом вопросе есть несколько тонких оттенков. Никто не понимает этого, кто не испытал того, что можно назвать только жаждой художника найти какой-то смысл и какую-то историю в прекрасных вещах, которые он видит; его жажды секретов его гнева на любую башню или дерево, ускользающие со своей невысказанной историей. Он чувствует, что ничто не идеально, если это не личное. Без этого слепая бессознательная красота мира стоит в своем саду подобно безголовой статуе. Нужно быть совсем незначительным поэтом, чтобы бороться с башней или деревом до тех пор, пока оно не заговорило подобно титану или дриаде. Часто говорят, что языческая мифология была олицетворением сил природы. Фраза в некотором смысле верна, но она очень неудовлетворительна; потому что она подразумевает, что силы являются абстракциями, а олицетворение искусственно. Мифы - это не аллегории. Природные силы в данном случае не являются абстракциями. Это не значит, что существует Бог Всемирного тяготения. Возможно, есть гений водопада; но не простого падения, даже меньше, чем простой воды. Олицетворение не является чем-то безличным. Дело в том, что личность придает воде значимость. Дед Мороз - это не аллегория снега и остролиста; он не просто вещество, называемое снегом, которому впоследствии искусственно придали человеческую форму, как снежному человеку. Он - это то, что придает новый смысл белому миру и вечнозеленым растениям; так что сам снег кажется теплым, а не холодным. Таким образом, тест носит чисто творческий характер. Но образный не означает воображаемый. Из этого не следует, что все это современные люди называют субъективным, имея в виду ложь. Каждый истинный художник действительно чувствует, сознательно или бессознательно, что он прикасается к трансцендентным истинам; что его образы - это тени вещей, видимых сквозь завесу. Другими словами, прирожденный мистик действительно знает, что что-то есть *там*; что-то за облаками или в кронах деревьев; но он верит, что стремление к красоте - это способ найти ее; что воображение - это своего рода заклинание, которое может вызвать это.

Сейчас мы не осознаем этот процесс в самих себе, а тем более в наших самых отдаленных собратях. Опасность классификации этих вещей заключается в том, что может показаться, что они понятны. По-настоящему прекрасное фольклорное произведение, такое как *"Золотая ветвь"*, например, оставит у слишком многих читателей представление, что та или иная история о сердце великана или волшебника в шкатулке или пещере всего лишь 'означает' какое-то глупое и статичное суеверие, называемое "внешней душой". Но мы не знаем, что означают эти вещи, просто потому, что мы не знаем, что имеем в виду мы сами, когда они нас трогают. Предположим, кто-то в сказке говорит: "Сорвите этот цветок, и принцесса умрет в замке за морем", - мы не знаем, почему что-то шевелится в подсознании или почему то, что невозможно, кажется также неизбежным. Предположим, мы читаем: "И в тот час, когда король погасил свечу, его корабли потерпели крушение далеко на побережье Гебридских островов". Мы не знаем, почему воображение приняло этот образ до того, как разум смог его отвергнуть; или почему такие соответствия кажутся действительно соответствующими чему-то в душе. Очень глубокие вещи в нашей природе, какое-то смутное ощущение зависимости великого от малого, какое-то мрачное предположение о том, что ближайшие к нам вещи простираются далеко за пределы

нашей власти, какое-то сакраментальное ощущение магии в материальных субстанциях и многие другие эмоции, которые невозможно обнаружить, заключены в идее, подобной идее внешней души. Сила даже в мифах дикарей подобна силе в метафорах поэтов. Душа такой метафоры часто очень подчеркнута является внешней душой. Лучшие критики отмечали, что у лучших поэтов сравнением часто служит картинка, которая кажется совершенно отделенной от текста. Она так же неуместна, как отдаленный замок для цветка или побережье Гебридских островов для свечи. Шелли сравнивает жаворонка с молодой женщиной в башенке, с розой, утопающей в густой листве, с рядом вещей, которые кажутся настолько непохожими на жаворонка в небе, насколько мы можем себе представить. Я полагаю, что самым мощным образцом чистого волшебства в английской литературе является часто цитируемый отрывок из "Соловья" Китса об окнах, открывающихся в опасную пену. И никто не замечает, что этот образ, кажется, возникает из ниоткуда; что он появляется внезапно после нескольких почти столь же неуместных замечаний о Руфи; и что он не имеет никакого отношения к теме стихотворения. Если и есть в мире место, где никто не мог бы разумно ожидать встретить соловья, так это на подоконнике у моря. Но только в том же смысле, что никто не ожидал бы найти сердце великана в гробу на дне моря. Теперь было бы очень опасно классифицировать метафоры поэтов. Когда Шелли говорит, что облако поднимется, "как дитя из утробы, как призрак из могилы", было бы вполне возможно назвать первый случай грубым примитивным мифом о рождении, а второй пережитком культа призраков, который стал культом предков. Но это неправильный способ обращения с облаком; и образованный человек может оказаться в положении Полония, который слишком склонен думать, что это ласка или даже кит.

Из этой психологии сновидений наяву вытекают два факта, о которых следует помнить на протяжении всего их развития в мифологиях и даже религиях. Во-первых, эти образные впечатления часто носят строго локальный характер. Это далеко не абстракции, превращенные в аллегории, а часто образы, почти сконцентрированные в идолах. Поэт чувствует тайну конкретного леса, а не науки о лесоразведении или департамента лесов. Он поклоняется вершине конкретной горы, а не абстрактной идее высоты. Таким образом, мы обнаруживаем, что бог - это не просто вода, но часто одна особая река; он может быть морем, потому что море едино, как ручей; река, которая течет вокруг мира. В конечном счете, несомненно, многие божества увеличены до элементов; но они нечто большее, чем вездесущность. Аполлон не просто обитает там, где светит солнце; его дом находится на Дельфийской скале. Диана достаточно велика, чтобы быть в трех местах одновременно: на земле, на небесах и в аду, но еще больше Диана из Эфесян. Это локализованное чувство имеет свою низшую форму в виде простого фетиша или талисмана, который миллионеры надевают на свои автомобили. Но это также может затвердеть и превратиться во что-то вроде высокой и серьезной религии, где это связано с высокими и серьезными обязанностями; в богов города или даже богов домашнего очага.

Второе следствие таково: в этих языческих культах присутствуют все оттенки искренности - и неискренности. В каком именно смысле афинянин действительно думал, что должен принести жертву Афине Палладе? Какой ученый действительно уверен в ответе? В каком смысле доктор Джонсон действительно думал, что он должен трогать все столбы на улице или что он должен собирать апельсиновые корки? В каком смысле ребенок действительно думает, что он должен наступать на каждый другой камень мостовой? По крайней мере, две вещи достаточно ясны. Во-

первых, в более простые и менее застенчивые времена эти формы могли стать более прочными, не становясь на самом деле более серьезными. Сны наяву можно было бы разыгрывать среди бела дня, с большей свободой художественного самовыражения; но все же, возможно, с чем-то от легкой походки сомнамбулы. Заверните доктора Джонсона в старинную мантию, увенчайте его (с его любезного разрешения) гирляндой, и он будет торжественно двигаться под этими древними утренними небесами, прикасаясь к ряду священных столбов, на которых вырезаны головы странных конечных богов, стоящих на границах земли и жизни человека. Освободите ребенка от мрамора и мозаики какого-нибудь классического храма, дайте ему поиграть на полу, выложенном черно-белыми квадратами; и он охотно превратит это осуществление своей праздной мечты в чистое поле для серьезного и грациозного танца. Но столбы и брусчатка чуть более и чуть менее реальны, чем в современных условиях. На самом деле они не намного серьезнее, если их воспринимать всерьез. У них есть та искренность, которая была у них всегда; искренность искусства как символа, выражающего очень реальную духовность под поверхностью жизни. Но они искренни только в том же смысле, что и искусство; не искренни в том же смысле, что мораль. Коллекция апельсиновых корок эксцентрика может превратиться в апельсины на средиземноморском фестивале или в золотые яблоки в средиземноморском мифе. Но они никогда не находятся на одном уровне с разницей между подачей апельсина слепому нищему и осторожным размещением апельсиновой корки так, чтобы нищий мог упасть и сломать ногу. Между этими двумя вещами существует разница в виде, а не в степени. Ребенок не считает неправильным наступать на брусчатку, как он считает неправильным наступать собаке на хвост. И совершенно очевидно, что какая бы шутка, чувство или фантазия ни заставили Джонсона впервые прикоснуться к деревянным столбам, он никогда не прикасался к дереву с тем чувством, с которым протягивал руки к стволу этого ужасного дерева, которое было смертью Бога и жизнью человека.

Как уже отмечалось, это не означает, что в таком настроении не было реальности или даже религиозного чувства. На самом деле католическая церковь с оглушительным успехом взяла на себя весь этот популярный бизнес по передаче людям местных легенд и более легких церемониальных движений. Поскольку все это язычество было невинным и находилось в контакте с природой, нет никаких причин, по которым ему не должны были бы покровительствовать святые-покровители в той же степени, что и языческим богам. И в любом случае, в самом естественном притворстве есть определенная степень серьезности. Существует огромная разница между представлением о том, что в лесу водятся феи, что часто означает только представление о том, что определенный лес подходит для фей, и реальным испугом самих себя до тех пор, пока мы не пройдем мимо, а не пройдем мимо дома, в котором, как мы сказали себе, водятся привидения. За всем этим стоит тот факт, что красота и ужас - очень реальные вещи, связанные с реальным духовным миром; и прикасаться к ним вообще, даже в сомнении или фантазии, - значит будоражить глубины души. Мы все это понимаем, и язычники это понимали. Дело в том, что язычество на самом деле не волновало душу, за исключением этих сомнений и фантазий; в результате чего у нас сегодня мало что может быть, кроме сомнений и фантазий о язычестве. Все лучшие критики сходятся во мнении, что все величайшие поэты, например, в языческой Элладе, относились к своим богам так, что это было довольно странно и озадачивало людей христианской эпохи. Кажется, существует признанный конфликт между богом и человеком; но все, кажется, сомневаются в том, кто из них герой, а кто злодей. Это сомнение применимо не только к сомневающемуся, такому как Еврипид в "Вакханках"; оно применимо к умеренному консерватору, такому как Софокл в "Антигоне"; или

даже к закоренелому тори и реакционеру, такому как Аристофан в "Лягушках". Иногда может показаться, что греки превыше всего верили в благоговение, только им некого было почитать. Но суть головоломки заключается в следующем: вся эта расплывчатость и вариативность проистекают из того факта, что все началось в воображении и во сне; и что для замка в облаках не существует правил архитектуры.

Это могучее и ветвистое дерево, называемое мифологией, которое разветвляется по всему миру, чьи отдаленные ветви под отдельными небесами несут, подобно раскрашенным птицам, дорогих идолов Азии, и полусырых фетишей Африки, и сказочных королей и принцесс из лесных сказок, и погребли среди виноградных лоз и оливок Ларов латинян, и вознесли на облака Олимпа жизнерадостное превосходство богов Греции. Таковы мифы, а тот, кто не испытывает симпатии к мифам, не испытывает симпатии и к людям. Но тот, кто больше всего сочувствует мифам, лучше всего осознает, что они не являются и никогда не были религией в том смысле, в каком христианство или даже ислам являются религией. Они удовлетворяют некоторые потребности, удовлетворяемые религией; и в частности, потребность совершать определенные поступки в определенные даты; потребность в двойных идеях праздника и формальности. Но хотя они и снабжают человека календарем, они не снабжают его вероучением. Человек не встал и не сказал: "Я верю в Юпитера, Юнону и Нептуна" и т.д., Как он встает и говорит: "Я верю в Бога Отца Всемогущего" и в Символ Веры остальных Апостолов. Многие верили в одних и не верили в других, или больше в одних и меньше в других, или только в очень смутном поэтическом смысле в любом из них. Не было такого момента, когда все они были бы собраны в ортодоксальный орден, за сохранение которого люди сражались бы и подвергались пыткам. И уж тем более никто никогда не говорил подобным образом: "Я верю в Одина, Тора и Фрейю", ибо за пределами Олимпа даже олимпийский порядок становится туманным и хаотичным. Мне кажется очевидным, что Тор был вовсе не богом, а героем. Ничто, напоминающее религию, не могло бы представить кого-либо, похожего на бога, шарящим, как пигмей, в огромной пещере, оказавшейся перчаткой великана. Это и есть восхитительное невежество, называемое приключением. Возможно, Тор и был великим авантюристом, но называть его богом - все равно что пытаться сравнить Иегову с Джеком и Бобовым Стеблем. Один, похоже, был настоящим вождем варваров, возможно, времен средневековья после христианства. Политеизм постепенно уходит в сказки или варварские воспоминания; это не то же самое, что монотеизм в том виде, в каком его придерживаются серьезные монотеисты. Опять же, это удовлетворяет потребность воззвать к какому-нибудь возвышенному имени или какому-нибудь благородному воспоминанию в моменты, которые сами по себе являются благородными и возвышенными; например, при рождении ребенка или спасении города. Но это имя так часто использовалось многими, для кого оно было всего лишь именем. В конце концов, это действительно удовлетворило, или, скорее, частично, то, что действительно глубоко укоренилось в человечестве; идея отдать что-то в распоряжение неизвестных сил; вылить вино на землю, бросить кольцо в море; одним словом, принести себя в жертву. Это мудрая и достойная идея - не использовать наше преимущество в полной мере; положить что-то на другую чашу весов, чтобы балластировать нашу сомнительную гордость, платить десятину природе за нашу землю. Эта глубокая истина об опасности быть наглым или быть слишком большим для наших сапог проходит через все великие греческие трагедии и делает их великими. Но это соседствует с почти загадочным агностицизмом по поводу истинной природы богов, которых нужно умиловить. Там, где этот жест капитуляции наиболее великолепен, как у великих греков, на самом деле гораздо больше представлений о том, что человеку будет лучше потерять быка, чем

о том, что богу будет лучше получить его. Говорят, что в более грубых формах часто происходят действия, гротескно наводящие на мысль о боге, действительно поедающем жертву. Но этот факт искажен ошибкой, которую я поместил первой в этой заметке о мифологии. Это неправильное понимание психологии сновидений наяву. Ребенок, притворяющийся, что в дупле дерева живет гoblin, совершит грубый и материальный поступок, например, оставит для него кусок торта. Поэт мог бы поступить более достойно и элегантно, например, принести богу не только цветы, но и фрукты. Но степень *серьезности* обоих деяний может быть одинаковой или отличаться практически в любой степени. Грубая фантазия - это символ веры не больше, чем идеальная фантазия - символ веры. Конечно, язычник не неверует, как атеист, не больше, чем он верит, как христианин. Он чувствует присутствие сил, о которых он догадывается и изобретает. Святой Павел сказал, что у греков был один алтарь неизвестному богу. Но на самом деле все их боги были неизвестными богами. И настоящий перелом в истории произошел, когда святой Павел объявил им, кому они по невежеству поклонялись.

Суть всего подобного язычества можно резюмировать следующим образом. Это попытка достичь божественной реальности только с помощью воображения; в своей собственной области разум ее несколько не ограничивает. С точки зрения всей истории жизненно важно, чтобы разум был чем-то отдельным от религии даже в самой рациональной из этих цивилизаций. Лишь запоздало, когда такие культы приходят в упадок или занимают оборонительную позицию, обнаруживается, что несколько неоплатоников или несколько брахманов пытаются их рационализировать, да и то лишь пытаюсь аллегоризировать их. Но на самом деле реки мифологии и философии текут параллельно и не сливаются до тех пор, пока не встретятся в море Христианского мира. Простые секуляристы до сих пор говорят, как будто Церковь внесла своего рода раскол между разумом и религией. Правда в том, что Церковь на самом деле была первой, кто когда-либо пытался объединить разум и религию. Никогда прежде не было такого союза священников и философов. Таким образом, мифология искала Бога через воображение; или искала истину посредством красоты, в том смысле, в каком красота включает в себя большую часть самого гротескного уродства. Но у воображения есть свои собственные законы и, следовательно, свои собственные триумфы, которые не могут понять ни логики, ни люди науки. Он оставался верен этому инстинкту воображения, несмотря на тысячи экстравагантностей, через каждую грубую космическую пантомиму свиньи, поедающей луну, или мира, вырезанного из коровы, через все головокружительные изгибы и мистические уродства азиатского искусства, через всю застывшую неподвижность египетской и ассирийской портретной живописи, через все виды треснувших зеркал безумного искусства, которые, казалось, деформировали мир и смещали небо, он оставался верен чему-то, о чем не может быть никаких споров; чему-то, что позволяет какому-то художнику какой-то школы внезапно замереть перед этим конкретным изображением. деформируйся и скажи: "Моя мечта сбылась". Поэтому все мы на самом деле чувствуем, что языческие или первобытные мифы бесконечно наводят на размышления, до тех пор, пока мы достаточно мудры, чтобы не спрашивать, о чем они говорят. Поэтому мы все чувствуем, что подразумевается под Прометеем, крадущим огонь с небес, пока какой-нибудь педант-пессимист или прогрессивный человек не объяснит, что это значит. Следовательно, мы все знаем значение Джека и Бобового стебля, пока нам не сказали. В этом смысле верно, что мифы принимают невежды, но только потому, что именно невежды ценят стихи. Воображение имеет свои собственные законы и торжествует; и огромная сила начала облекать его образы, будь то образы в уме или в грязи, будь то бамбук островов Южного моря или мрамор гор Эллады. Но в "триумфе" всегда была

проблема, которую на этих страницах я тщетно пытался проанализировать; но, возможно, в заключение я мог бы сформулировать это так.

Суть и кризис в том, что человек считал естественным поклоняться; даже естественным поклоняться неестественным вещам. Поза идола могла быть напряженной и странной, но жест поклоняющегося был щедрым и красивым. Он не только чувствовал себя свободнее, когда наклонялся; он действительно чувствовал себя выше, когда кланялся. Отныне все, что лишало его жеста поклонения, будет мешать ему и даже калечить его навсегда. Отныне быть просто светским человеком будет рабством и запретом. Если человек не может молиться, ему затыкают рот; если он не может преклонить колени, он закован в кандалы. Поэтому мы ощущаем во всем язычестве любопытное двойное чувство доверия и недоверия. Когда мужчина совершает жест приветствия и жертвоприношения, когда он совершает возлияние или поднимает меч, он знает, что совершает достойный и мужественный поступок. Он знает, что делает одно из тех дел, для которых был создан человек. Поэтому его творческий эксперимент оправдан. Но именно потому, что все началось с воображения, в конце концов в нем есть что-то от насмешки, и особенно в его объекте. Эта насмешка в более напряженные моменты интеллекта становится почти невыносимой иронией греческой трагедии. Кажется, существует диспропорция между священником и алтарем или между алтарем и богом. Священник кажется более торжественным и почти более священным, чем бог. Весь порядок храма прочен, здравомыслящ и удовлетворителен для определенных частей нашей натуры; за исключением самого его центра, который кажется странно изменчивым и сомнительным, подобно танцующему пламени. Это первая мысль, вокруг которой было построено все; и первая мысль все еще остается фантазией и почти легкомыслием. В этом странном месте встречи мужчина кажется более величественным, чем статуя. Сам он может вечно стоять в благородной и естественной позе статуи Молящегося Мальчика. Но какое бы имя ни было написано на пьедестале, будь то Зевс, Аммон или Аполлон, бог, которому он поклоняется, - Протей.

Можно сказать, что Молящийся Мальчик скорее выражает нужду, чем удовлетворяет ее. Поднятие его рук является нормальным и необходимым действием; но не менее притчей во языцех является и то, что его руки пусты. О природе этой потребности можно будет сказать больше; но сейчас можно сказать, что, возможно, в конце концов этот истинный инстинкт, что молитва и самопожертвование - это свобода и расширение, восходит к той обширной и полузабытой концепции всеобщего отцовства, которая, как мы уже видели повсюду, исчезает с утреннего неба. Это правда; и все же это не вся правда. У поэта, представленного язычником, остается неистребимый инстинкт, что он не совсем неправ в локализации своего бога. В душе есть что-то от поэзии, если не от благочестия. И величайший из поэтов, когда он давал определение поэту, не говорил, что он дал нам вселенную, или абсолют, или бесконечность; но, выражаясь его собственным более широким языком, местное жилище и имя. Ни один поэт не является просто пантеистом; те, кого считают наиболее пантеистичными, как Шелли, начинают с какого-то локального и конкретного образа, как это делали язычники. В конце концов, Шелли написал о жаворонке, потому что это был жаворонок. Вы не могли издать его перевод на русский или международный язык для использования в Южной Африке, в котором оно было заменено на страуса. Таким образом, мифологическое воображение движется как бы кругами, паря либо в поисках места, либо возвращаясь к нему. Одним словом, мифология - это *поиск*; это нечто, что сочетает повторяющееся желание с повторяющимся сомнением, смешивая самую жадную искренность в идее поиска места с самым темным, глубоким и таинственным легкомыслием по отношению ко всем найденным местам. Так далеко могло завести одинокое

воображение, и позже мы должны обратиться к одинокой причине. Нигде на этом пути эти двое никогда не путешествовали вместе.

Вот чем все эти вещи отличались от религии - реальностью, в которой встречались эти разные измерения, или своего рода твердым телом. Они отличались от реальности не тем, как они выглядели, а тем, чем они были. Картина может выглядеть как пейзаж; она может выглядеть в каждой детали в точности как пейзаж. Единственная деталь, которой она отличается, это то, что это не пейзаж. Разница лишь в том, что отличает портрет королевы Елизаветы от королевы Елизаветы. Только в этом мифическом и мистическом мире портрет мог существовать перед человеком; и поэтому портрет был более расплывчатым и сомнительным. Но любой, кто прочувствовал атмосферу этих мифов и подпитался ими, поймет, что я имею в виду, когда говорю, что в каком-то смысле они на самом деле не претендовали на реальность. Язычники мечтали о реальности; и они были бы первыми, кто признал бы, по их собственным словам, что одни приходили через врата из слоновой кости, а другие - через врата из рога. Сны действительно имеют тенденцию быть очень яркими, когда они касаются тех нежных или трагических вещей, которые действительно могут заставить спящего проснуться с ощущением, что его сердце было разбито во сне. Они склонны постоянно сосредоточиваться на определенных страстных темах встреч и расставаний, жизни, которая заканчивается смертью, или смерти, которая является началом жизни. Деметра бродит по пораженному миру в поисках украденного ребенка; Исида тщетно простирает свои руки над землей, чтобы собрать конечности Осириса; на холмах раздается плач по Атису, а в лесах - по Адонису. Ко всему подобному трауру примешивается мистический и глубокий смысл того, что смерть может быть избавителем и умиротворением; что такая смерть дает нам божественную кровь для обновляющей реки и что все хорошее можно найти в том, чтобы собрать разбитое тело бога. Мы действительно можем назвать это предзнаменованиями; до тех пор, пока мы помним, что предзнаменования - это тени. И так случилось, что метафора тени очень точно отражает истину, которая здесь очень важна. Ибо тень - это форма; вещь, которая воспроизводит форму, но не текстуру. Эти вещи были чем-то *похожим* на настоящие; и сказать, что они были похожи, значит сказать, что они отличались. Сказать, что что-то похоже на собаку, - это еще один способ сказать, что это не собака; и именно в этом смысле идентичности миф - это не человек. Никто на самом деле не думал об Исиде как о человеке; никто на самом деле не думал о Деметре как об историческом персонаже; никто не думал об Адонисе как об основателе Церкви. Не было никакого представления о том, что кто-то из них изменил мир; скорее, что их повторяющиеся смерти и жизнь несли печальное и прекрасное бремя неизменности мира. Ни одно из них не было революцией, кроме как в смысле обращения солнца и луны. Весь их смысл упускается, если мы не видим, что они означают тени, которыми мы являемся, и тени, за которыми мы гонимся. В определенных жертвенных и общественных аспектах они, естественно, предполагают, какой бог мог бы удовлетворить людей; но они не заявляют, что удовлетворены. Любой, кто говорит, что они удовлетворены, плохой знаток поэзии.

Те, кто говорит о христах-язычниках, испытывают меньше симпатий к язычеству, чем к христианству. Те, кто называет эти культы "религиями" и "сравнивает" их с уверенностью и вызовом Церкви, гораздо меньше, чем мы, понимают, что сделало язычество человеческим, или почему классическая литература все еще является чем-то, что висит в воздухе, как песня. Не очень-то по-человечески проявлять нежность к голодающим, доказывая, что голод - это то же самое, что еда. Не очень-то добродушно со стороны молодежи утверждать, что надежда уничтожает потребность в счастье. И совершенно нереально утверждать, что эти образы в

сознании, которыми восхищались исключительно абстрактно, существовали даже в одном мире с живым человеком и живым государством, которым поклонялись, потому что они были конкретными. С таким же успехом мы могли бы сказать, что мальчик, играющий в разбойников, - это то же самое, что мужчина в свой первый день в окопах; или что первые фантазии мальчика о 'вполне возможной ней' совпадают с таинством брака. Они фундаментально различны именно там, где внешне похожи; мы могли бы почти сказать, что они не одинаковы, даже когда они одинаковы. Они отличаются только потому, что одно реально, а другое нет. Я имею в виду не только то, что я сам верю, что одно верно, а другое нет. Я имею в виду, что одно никогда не должно было быть истинным в том же смысле, что и другое. Смысл, в котором это должно было быть правдой, я попытался здесь смутно намекнуть, но он, несомненно, очень тонкий и почти неопиcуемый. Это настолько тонко, что студенты, претендующие на то, чтобы противопоставлять это нашей религии, упускают из виду весь смысл своего собственного изучения. Мы знаем лучше, чем ученые, даже те из нас, кто не является ученым, что было в том глухом крике, который раздался над мертвым Адонисом, и почему у Великой Матери была дочь, обрученная со смертью. Мы глубже, чем они, проникли в Элевсинские мистерии и прошли более высокую ступень, где врата за вратами охраняли мудрость Орфея. Мы знаем значение всех мифов. Мы знаем последнюю тайну, открытую совершенному посвященному. И это не голос священника или пророка, говорящий: 'Так оно и есть'. Это голос мечтателя и идеалиста, кричащего: "Почему этого не может быть?"

ГЛАВА VI

ДЕМОНЫ И ФИЛОСОФЫ

Я довольно подробно останавливался на этом богатом воображении виде язычества, которое наводнило мир храмами и повсюду является прародителем народных праздников. Ибо центральная история цивилизации, как я ее вижу, состоит из двух дальнейших этапов, предшествующих заключительному этапу христианского мира. Первым была борьба между этим язычеством и чем-то менее достойным, чем оно само, а вторым - процесс, посредством которого оно само по себе становилось менее достойным. В этом очень разнообразном и часто очень расплывчатом политеизме была слабость первородного греха. Языческие боги изображались бросающими людей, как игральные кости; и действительно, это игральные кости с начинкой. Что касается секса, то особенно мужчины рождаются неуравновешенными; мы могли бы почти сказать, что мужчины рождаются сумасшедшими. Они едва достигают здравомыслия, пока не достигают святости. Эта диспропорция привела к падению крылатых фантазий и завершила конец язычества простой грязью и отбросами порожденных богов. Но первое, что следует осознать, это то, что этот вид язычества рано столкнулся с другим видом язычества; и что исход этой по сути духовной борьбы действительно определил историю мира. Чтобы понять это, мы должны перейти к обзору другого вида язычества. Это можно рассмотреть гораздо короче; действительно, есть очень реальный смысл, в котором чем меньше об этом говорится, тем лучше. Если мы называли мифологию первого рода сном наяву, мы вполне могли бы назвать мифологию второго рода кошмаром.

Суеверия повторяются во все века, и особенно в рационалистические эпохи. Я помню, как защищал религиозную традицию перед целым обеденным столом выдающихся агностиков; и перед концом нашей беседы каждый из них достал из кармана или продемонстрировал на

цепочке от часов какой-нибудь амулет или талисман, с которым, по его признанию, он никогда не расставался. Я был единственным из присутствующих, кто пренебрег тем, чтобы обзавестись фетишем. Суеверие возвращается в эпоху рационализма, потому что оно основывается на чем-то, что если и не идентично рационализму, то не лишено связи со скептицизмом. Оно, по крайней мере, очень тесно связано с агностицизмом. Она основана на чем-то, что на самом деле является очень человеческим и понятным чувством, например, на местных призывах к *нуменам* в популярном язычестве. Но это агностическое чувство, поскольку оно основывается на двух чувствах: во-первых, на том, что мы на самом деле не знаем законов вселенной; и, во-вторых, на том, что они могут сильно отличаться от всего того, что мы называем разумом. Такие люди осознают истинную истину, что огромные вещи часто оборачиваются против крошечных вещей. Когда из традиции или чего-то еще доносится шепот, что одна конкретная крошечная вещь является ключом или зацепкой, что-то глубокое и не совсем бессмысленное в человеческой природе подсказывает им, что это не так уж маловероятно. Это чувство присутствует в обеих рассматриваемых здесь формах язычества. Но когда мы переходим ко второй его форме, мы обнаруживаем, что она преобразована и наполнена другим, более ужасным духом.

Имея дело с более легкой вещью, называемой мифологией, я мало сказал о самом спорном ее аспекте; о степени, в которой такое обращение к духам моря или стихий действительно может вызвать духов из необъятных глубин; или, скорее (как выразился насмешник-шекспировед), приходят ли духи, когда их призывают. Я полагаю, что прав, полагая, что эта проблема, какой бы практической она ни казалась, не играла доминирующей роли в поэтическом деле мифологии. Но я думаю, что на основании имеющихся свидетельств еще более очевидно, что вещи подобного рода иногда появлялись, даже если это были всего лишь видимости. Но когда мы приходим в мир суеверий, в более тонком смысле, возникает оттенок различия; оттенок углубления и затемнения. Несомненно, самое популярное суеверие столь же легкомысленно, как и любая популярная мифология. Люди не верят как догме, что Бог поразил бы их молнией за то, что они прошли под лестницей; чаще они развлекают себя не очень трудоемким упражнением - обходом ее. В этом нет ничего большего, чем то, что я уже обрисовал в общих чертах; своего рода легкий агностицизм по поводу возможностей столь странного мира. Но есть другой вид суеверия, который определенно нацелен на результат; то, что можно было бы назвать реалистичным суеверием. И с этим вопрос о том, отвечают ли духи или действительно появляются, становится намного серьезнее. Как я уже сказал, мне кажется вполне очевидным, что иногда они так и делают; но в этом есть различие, которое стало началом большого зла в мире.

То ли потому, что Грехопадение действительно приблизило людей к менее желанным соседям в духовном мире, то ли просто из-за того, что людям, жаждущим или алчным, легче представить зло, я считаю, что черная магия колдовства была гораздо более практичной и гораздо менее поэтичной, чем белая магия мифологии. Я полагаю, что сад ведьмы содержался гораздо тщательнее, чем лес нимфы. Я полагаю, что поле зла было даже более плодородным, чем поле добра. Начнем с того, что какой-то импульс, возможно, своего рода отчаянный импульс, толкал людей к темным силам, когда они сталкивались с практическими проблемами. Было какое-то тайное и извращенное чувство, что темные силы действительно будут что-то делать; что у них не было никакой ерунды по этому поводу. И действительно, эта популярная фраза точно выражает суть. О богах из простой мифологии было много всякой чепухи. В них было много хорошей чепухи; в том счастливом и веселом смысле, в каком мы говорим о чепухе Бармаглота или о

Стране, где живут Джамбли. Но человек, консультировавшийся с демоном, чувствовал то же, что чувствовали многие люди, консультируясь с детективом, особенно с частным детективом: это была грязная работа, но она действительно была сделана. Мужчина шел в лес не для того, чтобы встретить нимфу; скорее, он шел в надежде встретить нимфу. Это было скорее приключение, чем свидание. Но дьявол действительно соблюдал свои договоренности и даже в каком-то смысле сдерживал свои обещания; даже если человек иногда впоследствии жалел, как Макбет, что не нарушил их.

Из рассказов о многих грубых или дикарских расах мы узнаем, что культ демонов часто появлялся после культа божеств и даже после культа одного-единственного и верховного божества. Можно заподозрить, что почти во всех таких местах считается, что высшее божество находится слишком далеко, чтобы взывать к нему в некоторых мелких вопросах, и люди призывают духов, потому что они в более буквальном смысле являются знакомыми духами. Но с идеей нанять демонов, которые доводят дело до конца, новая идея кажется более достойной демонов. Это действительно можно по-настоящему описать как идею быть достойным демонов; сделать себя пригодным для их привередливого и требовательного общества. Суеверия более легкого толка забавляются идеей, что какой-нибудь пустяк, какой-нибудь незначительный жест, такой как бросание соли, может затронуть скрытую пружину, приводящую в действие таинственный механизм мира. И в конце концов, что-то есть в идее такого "Сезама, откройся". Но с обращением к низшим духам приходит ужасное представление о том, что жест должен быть не только очень маленьким, но и очень низким; что это должен быть обезьяний трюк совершенно уродливого и недостойного вида. Рано или поздно человек намеренно заставляет себя совершить самую отвратительную вещь, какую только может придумать. Считается, что крайность зла заставит злые силы, таящиеся под поверхностью мира, обратить на себя внимание или ответить. В этом смысл большей части каннибализма в мире. Для большинства каннибализм не является примитивной или даже звериной привычкой. Это искусственно и даже артистично; своего рода искусство ради искусства. Люди делают это не потому, что не считают это ужасным; а, наоборот, потому, что они действительно считают это ужасным. Они хотят, в самом буквальном смысле, поужинать ужасами. Вот почему часто обнаруживается, что грубые расы, такие как австралийские аборигены, не являются каннибалами; в то время как гораздо более утонченные и умные расы, такие как новозеландские маори, иногда являются ими. Они достаточно утонченны и умны, чтобы иногда предаваться застенчивому дьяволизму. Но если бы мы могли понять их умы или даже по-настоящему понять их язык, мы, вероятно, обнаружили бы, что они действовали не как невежественные, то есть как невинные каннибалы. Они делают это не потому, что не считают это неправильным, а именно потому, что они действительно считают это неправильным. Они ведут себя как парижские декаденты на Черной мессе. Но Черная Месса должна скрываться под землей от присутствия настоящей Мессы. Другими словами, демоны действительно скрывались с момента пришествия Христа на землю. Каннибализм высших варваров скрывается от цивилизации белого человека. Но до христианства, и особенно за пределами Европы, так было не всегда. В древнем мире демоны часто бродили по миру подобно драконам. Их можно было публично возводить на трон как богов. Их огромные изображения можно было устанавливать в общественных храмах в центре густонаселенных городов. И по всему миру можно найти следы этого поразительного и убедительного факта, который так странно упускается из виду современными людьми, которые говорят обо всем подобном зле как о примитивном и находящемся на ранней стадии эволюции,

что на самом деле некоторые из самых высоких цивилизаций мира были теми самыми местами, где рога сатаны были обращены не только к звездам, но и к солнцу.

Возьмем, к примеру, ацтеков и американских индейцев из древних империй Мексики и Перу. Они были по меньшей мере такими же развитыми, как Египет или Китай, и лишь менее живыми, чем та центральная цивилизация, которая является нашей собственной. Но те, кто критикует эту центральную цивилизацию (которая всегда является их собственной цивилизацией), имеют странную привычку не просто выполнять свой законный долг по осуждению ее преступлений, но и изо всех сил идеализировать ее жертв. Они всегда предполагают, что до появления Европы нигде не было ничего, кроме Эдема. И Суинберн в этом вдохновенном хоре наций в 'Песнях перед восходом солнца' использовал выражение об Испании в ее южноамериканских завоеваниях, которое всегда казалось мне очень странным. Он сказал что-то о 'ее грехах и сыновьях, рассеянных по безгрешным землям', и о том, как они 'сделали проклятым имя человека и трижды проклинали имя Бога'. Возможно, было бы достаточно разумно сказать, что испанцы были грешниками, но с какой стати он должен говорить, что южноамериканцы были безгрешны? Почему он должен был предполагать, что этот континент населен исключительно архангелами или святыми, совершенными на небесах? Это было бы слишком сильно сказано о самом респектабельном районе, но когда мы задумываемся о том, что мы действительно знаем об этом обществе, замечание кажется довольно забавным. Мы знаем, что безгрешные жрецы этого безгрешного народа поклонялись безгрешным богам, которые принимали в качестве нектара и амброзии своего солнечного рая не что иное, как непрекращающиеся человеческие жертвоприношения, сопровождаемые ужасными мучениями. Мы можем также отметить в мифологии этой американской цивилизации тот элемент обращения вспять или насилия над инстинктом, о котором писал Данте; который повсюду проходит в обратном направлении через неестественную религию демонов. Это примечательно не только с этической, но и с эстетической точки зрения. Южноамериканский идол был сделан настолько уродливым, насколько это возможно, а греческий образ - настолько красивым, насколько это возможно. Они искали секрет власти, действуя в обратном направлении, против своей собственной природы и природы вещей. Всегда было какое-то страстное желание наконец-то высечь в золоте, граните или темно-красной древесине лесов лицо, при взгляде на которое само небо разбивалось бы, как треснувшее зеркало.

В любом случае достаточно ясно, что раскрашенная и позолоченная цивилизация тропической Америки систематически совершала человеческие жертвоприношения. Насколько я знаю, отнюдь не очевидно, что эскимосы когда-либо позволяли себе человеческие жертвоприношения. Они были недостаточно цивилизованны. Они были слишком тесно связаны белой зимой и бесконечной темнотой. Холодная нужда подавляла их благородный гнев и замораживала жизнерадостный поток души. Именно в более светлые дни и при более ярком дневном свете благородный гнев безошибочно проявляется. Именно в более богатых и просвещенных землях на алтари стекал поток добра, который испивали великие боги в выпученных очках и ухмыляющихся масках, которых в ужасе или муках призывали длинными какофонистскими именами, звучащими как адский смех. Требовался более теплый климат и более научное культивирование, чтобы вырастить эти цветы; чтобы поднять к солнцу большие листья и яркие соцветия, которые придавали золото, малиновый и пурпурный оттенки этому саду, который Суинберн сравнивает с Гесперидами. По крайней мере, насчет дракона не было никаких сомнений.

Я не поднимаю в этой связи особых споров об Испании и Мексике; но могу мимоходом заметить, что они в точности напоминают вопрос, который в некотором смысле должен быть поднят впоследствии о Риме и Карфагене. В обоих случаях у англичан была странная привычка всегда выступать против европейцев и представлять конкурирующую цивилизацию, по выражению Суинберна, безгрешной; в то время как ее грехи явно вопияли кнебесам. Ибо Карфаген также был высокоразвитой цивилизацией, на самом деле гораздо более высокоразвитой цивилизацией. И Карфаген также основал эту цивилизацию на религии страха, распространяя повсюду дым человеческих жертвоприношений. Сейчас очень правильно упрекать нашу собственную расу или религию в том, что они не соответствуют нашим собственным стандартам и идеалам. Но абсурдно притворяться, что они пали ниже других рас и религий, исповедовавших совершенно противоположные стандарты и идеалы. Существует вполне реальный смысл, в котором христианин хуже язычника, испанец хуже краснокожего индейца или даже римлянин потенциально хуже карфагенянина. Но есть только одно чувство, в котором он хуже; и это не в том, что он положительно хуже. Христианин хуже только потому, что это его дело - быть лучше.

Это перевернутое воображение порождает вещи, о которых лучше не говорить. Некоторые из них действительно можно было бы назвать, не будучи известными; ибо они представляют собой то крайнее зло, которое невинным кажется невинным. Они слишком бесчеловечны даже для того, чтобы быть неприличными. Но, не задерживаясь дольше на этих темных углах, можно отметить, что здесь неуместно, что определенные античеловеческие противоречия, по-видимому, повторяются в этой традиции черной магии. Можно заподозрить, что в нем повсюду сквозит, например, мистическая ненависть к идее детства. Люди лучше поняли бы народную ярость против ведьм, если бы вспомнили, что злоба, которую чаще всего приписывают им, заключалась в предотвращении рождения детей. Еврейские пророки постоянно протестовали против того, что еврейская раса впадает в идолопоклонство, которое влечет за собой такую войну с детьми; и достаточно вероятно, что с тех пор это отвратительное отступничество от Бога Израиля время от времени проявлялось в Израиле в форме того, что называется ритуальным убийством; конечно, не каким-либо представителем религии иудаизма, а отдельными и безответственными дьяволопоклонниками, которые действительно оказались евреями. Это ощущение того, что силы зла особенно угрожают детству, снова проявляется в огромной популярности Ребенка-мученика Средневековья. Чосер всего лишь дал другую версию очень национальной английской легенды, когда он представил самую злую из всех возможных ведьм как темную инопланетянку, наблюдающую за своей высокой решеткой и слышащую, как журчание ручья на каменистой улице, пение маленького Святого Хью.

Во всяком случае, та часть подобных спекуляций, которая касается этой истории, была сосредоточена особенно вокруг восточной оконечности Средиземноморья, где кочевники постепенно превратились в торговцев и начали торговать со всем миром. Действительно, в смысле торговли, путешествий и колониального расширения у нее уже было что-то вроде империи, охватывающей весь мир. Его пурпурная краска, символ пышности и роскоши, пропитала товары, которые продавались далеко отсюда, среди последних утесов Корнуолла, и паруса, которые входили в тишину тропических морей среди всей таинственности Африки. Можно было бы сказать, что он действительно выкрасил карту в фиолетовый цвет. Это был уже всемирный успех, когда принцы Тира вряд ли потрудились бы заметить, что одна из их принцесс снизошла до брака с вождем какого-то племени по имени Иуда; когда торговцы его африканского форпоста лишь слегка улыбнулись бы своими бородатыми семитскими губами

при упоминании деревни под названием Рим. И действительно, нет двух вещей, которые могли бы казаться более далекими друг от друга не только в пространстве, но и по духу, чем монотеизм палестинского племени и сами добродетели маленькой итальянской республики. Между ними было только одно, и то, что разделяло их, объединило их. Очень разными и несовместимыми были вещи, которые могли любить римские консулы и пророки Израиля; но они были едины в том, что ненавидели. В обоих случаях очень легко представить эту ненависть как нечто просто вызывающее ненависть. Достаточно легко изобразить просто грубую и бесчеловечную фигуру либо Илии, бредящего над резней на Кармиле, либо Катона, громыхающего против амнистии в Африке. У этих людей были свои ограничения и свои местные пристрастия; но эта критика в их адрес лишена воображения и, следовательно, нереальна. Она упускает что-то, что-то огромное и промежуточное, обращенное лицом к востоку и западу и вызывающее эту страсть у своих восточных и западных врагов; и это что-то является первой темой этой главы.

Цивилизация, центром которой были Тир и Сидон, была прежде всего практичной. Это мало что оставило на пути искусства и ничего на пути поэзии. Но она гордилась тем, что была очень эффективной; и она следовала в своей философии и религии тому странному и иногда тайному ходу мыслей, который мы уже отмечали у тех, кто ищет немедленных результатов. В таком менталитете всегда присутствует идея, что есть короткий путь к секрету любого успеха; что-то, что потрясло бы мир такой бесстыдной тщательностью. Они верили, выражаясь современным языком, в людей, которые доставляли товары. В своих отношениях со своим богом Молохом они сами всегда были осторожны при доставке товаров. Это была интересная сделка, к которой нам еще не раз придется обратиться в оставшейся части повествования; здесь достаточно сказать, что она касалась предложенной мной теории об определенном отношении к детям. Именно это вызвало одновременную ярость слуги единого Бога в Палестине и хранителей всех домашних богов в Риме. Это то, что бросило вызов двум вещам, естественным образом разделенным всевозможными расстояниями и разобщенностью, чей союз должен был спасти мир.

Я назвал четвертое и последнее подразделение духовных элементов, на которые я должен разделить языческое человечество, именем Философов. Я признаюсь, что, на мой взгляд, она охватывает многое из того, что обычно классифицировалось бы иначе; и что то, что здесь называется философией, очень часто называют религией. Однако я полагаю, что мое собственное описание будет сочтено гораздо более реалистичным и не менее уважительным. Но сначала мы должны взять философию в ее самой чистой и ясной форме, чтобы мы могли проследить ее обычные очертания; и это можно найти в мире самых чистых и ясных очертаний, в той культуре Средиземноморья, мифологию и идолопоклонство которой мы рассматривали в последних двух главах.

Политеизм, или этот аспект язычества, никогда не был для язычника тем, чем католицизм является для католика. Это никогда не было представлением о вселенной, удовлетворяющим всем сторонам жизни; полной и сложной истиной, в которой есть что сказать обо всем. Это было лишь удовлетворение одной стороны души человека, даже если мы назовем это религиозной стороной; и я думаю, правильнее назвать это творческой стороной. Но это его действительно удовлетворило; в конце концов оно насытило его до отвала. Весь этот мир был тканью переплетенных сказок и культов, и, как мы уже видели, в нем пронизывала черная нить среди его более безупречных цветов: темное язычество, которое на самом деле было дьяволизмом. Но все мы знаем, что это не означало, что все язычники думали только о языческих богах. Именно потому, что мифология удовлетворяла только одному настроению, в

других настроениях они обращались к чему-то совершенно иному. Но очень важно понимать, что это было совершенно по-другому. Это было слишком по-другому, чтобы быть непоследовательным. Это было настолько чуждо, что не противоречило друг другу. В то время как толпа людей в праздничный день устремлялась на праздник Адониса или игры в честь Аполлона, тот или иной мужчина предпочел бы остаться дома и обдумать небольшую теорию о природе вещей. Иногда его хобби даже принимало форму размышлений о природе Бога; или даже в этом смысле о природе богов. Но он очень редко думал о том, чтобы противопоставить свою природу богов богам природы.

Необходимо настаивать на этой абстракции у первого изучающего абстракции. Он был не столько антагонистичен, сколько рассеян. Его хобби могла быть вселенная, но поначалу это хобби было таким же личным, как если бы это была нумизматика или игра в шашки. И даже когда его мудрость становилась общественным достоянием и почти политическим институтом, она очень редко находилась на том же уровне, что и народные и религиозные институты. Аристотель, с его колоссальным здравым смыслом, был, возможно, величайшим из всех философов; несомненно, самым практичным из всех философов. Но Аристотель не стал бы ставить Абсолют бок о бок с Дельфийским Аполлоном, как подобную или конкурирующую религию, точно так же, как Архимед не додумался бы установить Рычаг в качестве своего рода идола или фетиша, который должен был заменить Палладиум города. С таким же успехом мы могли бы представить себе Евклида, строящего алтарь равнобедренному треугольнику или приносящего жертвы квадрату гипотенузы. Один человек размышлял о метафизике так же, как другой - о математике; из любви к истине, или из любопытства, или ради удовольствия от всего этого. Но этот вид веселья, кажется, никогда особо не мешал другому виду веселья; веселью танцевать или петь в честь какого-нибудь нечестивого романа о том, как Зевс становится быком или лебедем. Возможно, это доказательство определенной поверхностности и даже неискренности популярного политеизма, что люди могут быть философами и даже скептиками, не нарушая его. Эти мыслители могли сдвинуть основы мира, не изменив даже очертаний того цветного облака, которое висело над ним в воздухе.

Ибо мыслители действительно сдвинули основы мира; даже когда странный компромисс, казалось, помешал им сдвинуть основы города. Два великих философа древности действительно представляются нам защитниками здравых и даже священных идей; их сентенции часто читаются как ответы на скептические вопросы, ответы на которые слишком полны, чтобы их можно было всегда записывать. Аристотель уничтожил сотню анархистов и чудаков, поклоняющихся природе, фундаментальным утверждением, что человек - политическое животное. Платон в некотором смысле предвосхитил католический реализм, подвергшийся нападкам еретического номинализма, настаивая на столь же фундаментальном факте, что идеи являются реальностью; что идеи существуют точно так же, как существуют люди. Однако Платону иногда казалось, что идеи существуют так, как не существуют люди; или что людей вряд ли нужно рассматривать там, где они вступают в противоречие с идеями. В нем было что-то от социального чувства, которое мы называем Фабианским в его идеале приспособления гражданина к городу, как воображаемой головы к идеальной шляпе; и каким бы великим и славным он ни оставался, он был отцом всех чудаков. Аристотель более полно предвосхитил сакраментальное здравомыслие, которое должно было сочетать тело и душу вещей; ибо он рассматривал природу людей так же, как природу морали, и обращался к глазам так же, как к свету. Но хотя эти великие люди были в этом смысле конструктивны и консервативны, они принадлежали к миру, где мысль была свободной до причудливости.

Многие другие великие умы действительно последовали за ними, одни превозносили абстрактное представление о добродетели, другие более рационально следовали необходимости человеческого стремления к счастью. Первых называли стоиками; и их название вошло в поговорку для обозначения того, что действительно является одним из главных моральных идеалов человечества: укреплять сам разум до тех пор, пока он не станет достаточно прочным, чтобы противостоять бедствиям или даже боли. Но общепризнано, что огромное число философов выродилось в тех, кого мы до сих пор называем софистами. Они стали своего рода профессиональными скептиками, которые задавали неудобные вопросы, и им щедро платили за то, что они доставляли неудобства нормальным людям. Возможно, именно случайное сходство с такими вопрошающими шарлатанами стало причиной непопулярности великого Сократа, чья смерть, казалось бы, противоречила предположению о постоянном перемирии между философами и богами. Но Сократ умер не как монотеист, осуждавший политеизм; и уж точно не как пророк, осуждавший идолов. Любому, кто читает между строк, ясно, что существовало какое-то представление, правильное или ошибочное, о чисто личном влиянии, влияющем на мораль и, возможно, политику. Общий компромисс оставался неизменным; заключалось ли это в том, что греки считали свои мифы шуткой или что они считали шуткой свои теории. Никогда не было никакого столкновения, в котором одно действительно уничтожало другое, и никогда не было никакой комбинации, в которой одно действительно примирялось с другим. Они, конечно, не работали вместе; во всяком случае, философ был соперником священника. Но оба, казалось, смирились со своего рода разделением функций и остались частями одной и той же социальной системы. Другая важная традиция восходит к Пифагору; он знаменателен тем, что стоит ближе всего к восточным мистикам, с которыми, в свою очередь, следует считаться. Он учил своего рода мистицизму математики, что число - это высшая реальность; но он также, кажется, учил переселению душ, подобно браминам; и оставил своим последователям некоторые традиционные приемы вегетарианства и употребления воды, очень распространенные среди восточных мудрецов, особенно тех, кто присутствует в модных гостиных, подобных тем, что были в поздней Римской империи. Но, переходя к восточным мудрецам и несколько иной атмосфере Востока, мы можем подойти к довольно важной истине другим путем.

Один из великих философов сказал, что было бы хорошо, если бы философы были королями, или короли были философами. Он говорил о чем-то слишком хорошем, чтобы быть правдой; но, на самом деле, это нередко оказывалось правдой. Определенный тип, возможно, слишком мало замеченный в истории, действительно может быть назван королевским философом. Начнем с того, что, помимо настоящей королевской власти, мудрецу иногда удавалось, хотя он и не был тем, кого мы называем религиозным основателем, быть чем-то вроде политического основателя. И великий пример этого, один из величайших в мире, при одной мысли о нем перенесет нас за тысячи миль через бескрайние пространства Азии в тот очень удивительный и в некотором смысле очень мудрый мир идей и институтов, от которого мы несколько легкомысленно отказываемся, когда говорим о Китае. Люди служили многим очень странным богам; и преданно служили многим идеалам и даже идолам. Китай - это общество, которое действительно решило верить в интеллект. Оно серьезно отнеслось к интеллекту; и, возможно, оно стоит особняком в мире. С самого раннего возраста он столкнулся с дилеммой короля и философа, фактически назначив философа советником короля. Это сделало общественный институт из частного лица, которому в мире нечего было делать, кроме как быть интеллектуалом. У него было и есть, конечно, много других вещей по тому же образцу. Она

создает все звания и привилегии путем общественного экзамена; в ней нет ничего из того, что мы называем аристократией; это демократия, в которой доминирует интеллигенция. Но дело здесь в том, что у него были философы, которые давали советы королям; и один из этих философов, должно быть, был великим философом и государственным деятелем.

Конфуций не был религиозным основателем или даже религиозным учителем; возможно, даже не был религиозным человеком. Он не был атеистом; очевидно, он был тем, кого мы называем агностиком. Но действительно важный момент заключается в том, что совершенно неуместно вообще говорить о его религии. Это все равно что говорить о теологии как о первом моменте в истории о том, как Роулэнд Хилл основал почтовую систему или Баден Пауэлл организовал бойскаутов. Конфуций был там не для того, чтобы донести послание с небес до человечества, а для того, чтобы организовать Китай; и он, должно быть, организовал его чрезвычайно хорошо. Из этого следует, что он много думал о морали, но строго связывал ее с манерами. Особенность его схемы и его страны, в которой она контрастирует с ее великой основой системой христианского мира, заключается в том, что он настаивал на увековечении внешней жизни со всеми ее формами, чтобы внешняя преемственность могла сохранить внутренний мир. Любой человек, который знает, как много привычка имеет общего со здоровьем, как ума, так и тела, увидит истину в своей идее. Но он также увидит, что поклонение предкам и благоговение перед Священным Императором были привычками, а не верованиями. Несправедливо по отношению к великому Конфуцию говорить, что он был религиозным основателем. Еще несправедливее по отношению к нему говорить, что он не был религиозным основателем. Это так же несправедливо, как пытаться изо всех сил утверждать, что Иеремия Бентам не был христианским мучеником.

Но есть класс наиболее интересных случаев, в которых философы были королями, а не просто друзьями королей. Это сочетание не случайно. Это имеет большое отношение к этому довольно трудноуловимому вопросу о функции философа. В нем содержится некоторый намек на то, почему философия и мифология редко приходили к открытому разрыву. Это было не только потому, что в мифологии было что-то немного легкомысленное. Это было также потому, что в философе было что-то немного надменное. Он презирал мифы, но он также презирал толпу и думал, что они подходят друг другу. Языческий философ редко был человеком из народа, по крайней мере по духу; он редко был демократом и часто яростным критиком демократии. От него веяло аристократическим и гуманным досугом, и его роль легче всего удавалось сыграть людям, оказавшимся в таком положении. Для принца или выдающейся личности было очень легко и естественно разыгрывать из себя философа, как Гамлет или Тесей в *"Сне в летнюю ночь"*. И с самого раннего возраста мы оказываемся в присутствии этих благородных интеллектуалов. На самом деле, мы находим одного из них в самые первые зарегистрированные эпохи мира, сидящего на том первобытном троне, который возвышался над древним Египтом.

Наибольший интерес в истории с Эхнатоном, которого обычно называют фараоном-еретиком, заключается в том факте, что он был единственным примером, по крайней мере до христианских времен, одного из тех царственных философов, которые поставили перед собой задачу бороться с популярной мифологией во имя частной философии. Большинство из них заняли позицию Марка Аврелия, который во многих отношениях является образцом такого монарха и мудреца. Марка Аврелия обвиняли в том, что он терпимо относился к языческому амфитеатру или христианским мученичествам. Но это было характерно, ибо люди такого типа действительно думали о популярной религии точно так же, как он думал о популярных цирках. О

нем профессор Филлимор глубокомысленно сказал: "Великий и добрый человек — и он знал это". У фараона-еретика была философия более серьезная и, возможно, более скромная. Ибо из представления о том, что человек слишком горд, чтобы сражаться, вытекает следствие. Оно заключается в том, что большую часть сражений приходится вести смиренным. Как бы то ни было, египетский принц был достаточно прост, чтобы серьезно относиться к своей собственной философии, и единственный среди таких интеллектуальных принцев он совершил своего рода *государственный переворот*; одним царственным жестом низвергнув высших богов Египта и подняв для всех людей, подобно сверкающему зеркалу монотеистической истины, диск вселенского солнца. У него были и другие интересные идеи, которые часто можно встретить у таких идеалистов. В том смысле, в каком мы говорим о маленьком англичанине, он был маленьким египтянином. В искусстве он был реалистом, потому что был идеалистом; ибо реализм более невозможен, чем любой другой идеал. Но, в конце концов, на него падает что-то от тени Марка Аврелия, преследуемого тенью профессора Филлимора. Что не так с этим благородным принцем, так это то, что ему никуда не деться от того, чтобы быть в некотором роде педантом. Чопорность - это настолько резкий запах, что среди увядших специй он остается даже у египетской мумии. Проблема фараона-еретика, как и многих других еретиков, заключалась в том, что он, вероятно, никогда не останавливался, чтобы спросить себя, есть *личто*-нибудь в народных верованиях и рассказах людей менее образованных, чем он сам. И, как уже предполагалось, в них что-то было. Во всех этих особенностях местности, в этой процессии божеств, похожих на огромных домашних животных, в этом неустанном наблюдении за определенными местами с привидениями, во всех запутанных блужданиях мифологии чувствовался настоящий человеческий голод. Природа может не носить имени Исида; Исида, возможно, на самом деле не ищет Осириса. Но это правда, что Природа действительно что-то ищет. Природа всегда ищет сверхъестественное. Что-то гораздо более определенное должно было удовлетворить эту потребность; но величественный монарх с солнечным диском ее не удовлетворял. Королевский эксперимент провалился на фоне бурной реакции народных суеверий, в результате которой священники встали на плечи народа и взошли на трон королей.

Следующий великий пример, который я приведу о великом мудреце, - это Гаутама, великий Господь Будда. Я знаю, что его обычно не причисляют только к философам; но я все больше и больше убеждаюсь, исходя из всей доходящей до меня информации, что это и есть реальная интерпретация его огромной важности. Он был, безусловно, величайшим и лучшим из этих интеллектуалов, рожденных в пурпуре. Его реакция была, возможно, самой благородной и искренней из всех последовательных действий этой комбинации мыслителей и тронов. Ибо его реакцией было отречение. Марк Аврелий с утонченной иронией сказал, что даже во дворце можно жить хорошо. Более пылкий египетский царь пришел к выводу, что после дворцового переворота можно было бы жить еще лучше. Но великий Гаутама был единственным из них, кто доказал, что действительно может обойтись без своего дворца. Один вернулся к терпимости, а другой - к революции. Но, в конце концов, в отречении есть нечто более абсолютное. Отречение, пожалуй, единственное действительно абсолютное действие абсолютного монарха. Индийский принц, воспитанный в восточной роскоши и помпезности, сознательно ушел из жизни и вел жизнь нищего. Это великолепно, но это не война; то есть это не обязательно Крестовый поход в христианском смысле. Это не решает вопроса о том, была ли жизнь нищего жизнью святого или жизнью философа. Это не решает, действительно ли этот великий человек отправится в ванну Диогена или в пещеру Святого Иеронима. Теперь те, кто, кажется, ближе всего подошел к изучению Будды, и, конечно, те, кто пишет о нем наиболее ясно и разумно,

убеждают меня, например, что он был просто философом, основавшим успешную философскую школу, и был превращен в своего рода *divus* или священное существо просто из-за более таинственной и ненаучной атмосферы всех подобных традиций в Азии. Так что здесь необходимо сказать несколько слов о той невидимой, но яркой границе, которую мы пересекаем, переходя из Средиземноморья в тайну Востока.

Возможно, нет вещей, из которых мы извлекаем так мало правды, как из трюизмов; особенно когда они действительно правдивы. У всех нас есть привычка говорить определенные вещи об Азии, которые достаточно правдивы, но которые вряд ли помогают нам, потому что мы не понимаем их истинности; например, что Азия стара, или смотрит в прошлое, или не прогрессивна. Теперь это правда, что христианский мир более прогрессивен, в том смысле, который имеет очень мало общего с довольно провинциальным представлением о бесконечной суеде политического совершенствования. Христианский мир действительно верит, ибо христианство действительно верит, что человек в конечном итоге может чего-то достичь, здесь или после смерти, или различными способами, в соответствии с различными доктринами. Желание мира может быть каким-то образом удовлетворено по мере удовлетворения желаний, будь то новая жизнь, или старая любовь, или какая-то форма позитивного обладания и самореализации. В остальном, мы все знаем, что есть ритм, а не просто прогресс в вещах, что вещи поднимаются и опускаются; только у нас ритм - это довольно свободный и неисчислимый ритм. Для большей части Азии ритм ужесточился и превратился в повторяющийся. Это больше не просто перевернутый вверх дном мир; это колесо. Что случилось со всеми этими высокоинтеллектуальными и высокоразвитыми народами, так это то, что они были вовлечены в своего рода космическое вращение, полая ступица которого на самом деле ничего не значит. В этом смысле худшая часть существования заключается в том, что оно с таким же успехом может продолжаться вечно. Вот что мы на самом деле имеем в виду, когда говорим, что Азия старая, или непрогрессивная, или смотрит назад. Вот почему мы видим даже ее изогнутые мечи как дуги, вырвавшиеся из этого ослепляющего колеса; вот почему мы видим, что ее змеевидный орнамент возвращается повсюду, подобно змее, которую никогда не убивают. Это имеет очень мало общего с политическим лоском прогресса; все азиаты могли бы носить шляпы на головах, но если бы в их сердцах все еще был этот дух, они бы думали, что шляпы исчезнут и вернутся снова, как планеты; не то чтобы погоня за шляпой могла привести их на небеса или даже домой.

Теперь, когда гений Будды проявился, чтобы разобраться с этим вопросом, такого рода космические чувства были уже присущи почти всему на Востоке. Это действительно были джунгли необычайно экстравагантной и почти удушающей мифологии. Тем не менее, можно испытывать больше сочувствия к этой популярной плодотворности фольклора, чем к некоторому высшему пессимизму, который мог бы его иссушить. Однако, при всех справедливых допущениях, всегда следует помнить, что большая часть спонтанных восточных образов на самом деле является идолопоклонством; локальным и буквальным поклонением идола. Вероятно, это не относится к древней брахманической системе, по крайней мере, в понимании брахманов. Но одна эта фраза напомнит нам о реальности гораздо большего значения. Этой великой реальностью является кастовая система древней Индии. Возможно, она обладала некоторыми практическими преимуществами гильдейской системы Средневековой Европы. Но она контрастирует не только с этой христианской демократией, но и со всеми крайними типами христианской аристократии в том факте, что она действительно воспринимает социальное превосходство как превосходство духовное. Это не только коренным образом отделяет его от братства христианского мира, но и оставляет его возвышающимся

подобно могучей горе гордости между относительно эгалитарными уровнями как ислама, так и Китая. Но неизменность этого образования на протяжении тысячелетий является еще одной иллюстрацией того духа повторения, которым было отмечено время с незапамятных времен. Теперь мы можем также предположить преобладание другой идеи, которую мы связываем с буддизмом в интерпретации теософов. На самом деле, некоторые из самых строгих буддистов отвергают эту идею и еще более презрительно отвергают теософов. Но независимо от того, присутствует ли эта идея в буддизме, или только на родине буддизма, или только в традиции или пародии на буддизм, это идея, полностью соответствующая этому принципу повторяемости. Я имею в виду, конечно, идею Реинкарнации.

Но Реинкарнация на самом деле не является мистической идеей. На самом деле это не трансцендентальная идея или в этом смысле религиозная идея. Мистицизм постигает нечто, превосходящее опыт; религия ищет проблески лучшего добра или худшего зла, чем может дать опыт. Реинкарнация должна лишь расширять опыт в смысле его повторения. Для человека помнить, что он делал в Вавилоне до своего рождения, не более трансцендентно, чем помнить, что он делал в Брикстоне до того, как его ударили по голове. Его последующие жизни должны быть не более чем человеческими жизнями, какими бы ограничениями ни обременялась человеческая жизнь. Это не имеет ничего общего с видением Бога или даже вызовом дьявола. Другими словами, реинкарнация как таковая не обязательно ускользает от колеса судьбы; в некотором смысле это колесо судьбы. И было ли это чем-то, что основал Будда, или чем-то, что Будда нашел, или чем-то, от чего Будда полностью отказался, когда нашел, это, безусловно, что-то, имеющее общий характер той азиатской атмосферы, в которой ему приходилось играть свою роль. И роль, которую он играл, была ролью философа-интеллектуала с особой теорией о правильном интеллектуальном отношении к этому.

Я могу понять, что буддистов могло бы возмутить мнение о том, что буддизм - это всего лишь философия, если мы понимаем под философией всего лишь интеллектуальную игру, подобную той, в которую играли греческие софисты, подбрасывая миры и ловя их, как мячи. Возможно, более точным утверждением было бы то, что Будда был человеком, создавшим метафизическую дисциплину, которую можно было бы даже назвать психологической дисциплиной. Он предложил способ убежать от всей этой повторяющейся печали; и это было просто избавление от иллюзии, которая называется желанием. Это было подчеркнуто не тем, что мы должны получать желаемое лучше, сдерживая свое нетерпение получить часть этого, или что мы должны получать это лучшим способом или в лучшем мире. Было подчеркнуто, что мы должны перестать хотеть этого. Если бы однажды человек осознал, что на самом деле реальности нет, что все, включая его душу, разрушается каждое мгновение, он ожидал бы разочарования и был бы неосязаем для изменений, существуя (насколько можно сказать, что он существует) в своего рода экстазе безразличия. Буддисты называют это блаженством, и мы не будем останавливать наш рассказ, чтобы обсудить этот момент; конечно, для нас это неотличимо от отчаяния. Я не вижу, например, почему разочарование в желании не должно применяться в равной степени к самым благожелательным желаниям, как и к самым эгоистичным. Действительно, Господь Сострадания, кажется, жалеет людей за то, что они живут, а не за то, что они умирают. Что касается остального, один умный буддист написал: 'Объяснение популярного китайского и японского буддизма заключается в том, что это не буддизм'. Это, несомненно, перестало быть простой философией, но только потому, что стало простой мифологией. Одно можно сказать наверняка: это так и не стало чем-то отдаленно напоминающим то, что мы называем Церковью.

Будет только шуткой сказать, что вся религиозная история на самом деле была узором из ноликов и крестиков. Но под нулями я подразумеваю не ничто, а только то, что является негативным по сравнению с позитивной формой или паттерном другого. И хотя этот символ, конечно, всего лишь совпадение, это совпадение, которое действительно совпадает. Разум Азии действительно может быть представлен круглой буквой О, если не в смысле символа, то, по крайней мере, в виде круга. Великий азиатский символ змеи с хвостом во рту действительно является очень совершенным изображением определенной идеи единства и повторяемости, которая действительно принадлежит восточным философиям и религиям. Это действительно кривая, которая в одном смысле включает в себя все, а в другом смысле сводится к нулю. В этом смысле она признает или, скорее, хвастается, что все аргументы - это аргументы по кругу. И хотя эта фигура - всего лишь символ, мы можем видеть, как звучит символический смысл, который ее порождает, параллельный символ Колеса Будды, обычно называемый Свастикой. Крест - это предмет под прямым углом, смело указывающий в противоположных направлениях; но Свастика - это то же самое в самом акте возвращения к повторяющейся кривой. Этот кривой крест на самом деле является крестом, превращающимся в колесо. Прежде чем мы отбросим даже эти символы, как если бы они были произвольными, мы должны вспомнить, насколько сильным был инстинкт воображения, который породил их или отобрал как на Востоке, так и на Западе. Крест стал чем-то большим, чем историческая память; он действительно передает, почти как математическая диаграмма, правду о реальном спорном моменте; идею конфликта, уходящего в вечность. Было бы правдой и даже тавтологией сказать, что крест - это суть всего дела.

Другими словами, крест, фактически так же, как и фигура, действительно символизирует идею выхода из круга, который есть все и ничто. Это действительно избавляет от кругового аргумента, с помощью которого все начинается и заканчивается в уме. Поскольку мы все еще имеем дело с символами, это можно было бы изложить в виде притчи о святом Франциске, в которой говорится, что птицы, улетающие с его благословением, могли улететь в бесконечность четырех небесных ветров, и их следы образовывали на небе огромный крест; ибо по сравнению со свободой этого полета птиц сама форма Свастики подобна котенку, гонящемуся за своим хвостом. В более популярной аллегории мы могли бы сказать, что когда Святой Георгий вонзил свое копьё в пасть чудовища, он нарушил одиночество самопожирателя змея и дал ему укунуть что-нибудь, кроме собственного хвоста. Но хотя многие фантазии можно было бы использовать как образы истины, сама истина абстрактна и абсолютна; хотя ее не очень легко суммировать иначе, как с помощью таких цифр. Христианство действительно апеллирует к твердой истине вне себя; к чему-то, что в этом смысле является как внешним, так и вечным. Это действительно заявляет, что вещи действительно существуют; или, другими словами, что вещи действительно являются вещами. В этом христианство едино со здравым смыслом; но вся религиозная история показывает, что этот здравый смысл погибает за исключением тех случаев, когда существует христианство, способное его сохранить.

Иначе это не может существовать или, по крайней мере, продолжаться, потому что простая мысль не остается разумной. В некотором смысле это становится слишком простым, чтобы быть разумным. Испытание философов - простота, а не утонченность. Их всегда привлекают безумные упрощения, подобно тому, как людей, парящих над безднами, завораживают смерть, небытие и пустой воздух. Нужен был философ другого типа, чтобы стоять на вершине Храма и сохранять равновесие, не бросаясь вниз. Одно из этих очевидных, этих слишком очевидных объяснений состоит в том, что все является сном и заблуждением, и нет ничего вне эго. Другой

заключается в том, что все повторяется; другой, который считается буддийским и, безусловно, восточным, - это идея о том, что то, что с нами происходит, является нашим творением в смысле нашей цветовой дифференциации и индивидуальности, и что ничего не будет хорошо, пока мы снова не сольемся в единое целое. Короче говоря, согласно этой теории, Сотворение Мира было Грехопадением. Это важно с исторической точки зрения, потому что оно было накоплено в темном сердце Азии и в разное время в различных формах распространилось за тусклые границы Европы. Сюда мы можем поместить таинственную фигуру Манеса или Манихея, мистика инверсии, которого мы должны назвать пессимистом, родоначальником многих сект и ересей; здесь, на более высоком месте, фигура Зороастра. В народе его отождествляют с другим из этих слишком простых объяснений: равенство зла и добра, уравновешенных и борющихся в каждом атоме. Он также принадлежит к школе мудрецов, которые могут быть названы мистиками; и из того же таинственного персидского сада прилетел на тяжелых крыльях Митра, неизвестный бог, чтобы потревожить последние сумерки Рима.

Этот круг или диск солнца, установленный на заре мира далеким египтянином, был зеркалом и образцом для всех философов. Они многое сделали из этого и иногда сходили из-за этого с ума, особенно когда, как у этих восточных мудрецов, круг превратился в колесо, вращающееся в их головах. Но суть их в том, что все они думают, что существование может быть представлено диаграммой, а не рисунком; и грубые рисунки наивных мифотворцев являются своего рода грубым и энергичным протестом против этой точки зрения. Они не могут поверить, что религия на самом деле не образец, а картинка. Еще меньше они могут поверить, что это картинка чего-то, что действительно существует вне нашего разума. Иногда философ раскрашивает диск полностью черным и называет себя пессимистом; иногда он раскрашивает его полностью белым и называет себя оптимистом; иногда он делит его точно на черно-белую половину и называет себя дуалистом, подобно тем персидским мистикам, которым я хотел бы, чтобы было место воздать должное. Никто из них не мог понять ничего, что позволило бы рисовать пропорции так, как если бы они были реальными пропорциями, расположенными живым образом, который рисовальщик-математик назвал бы непропорциональным. Подобно первому художнику в пещере, он открыл недоверчивым глазам намек на новую цель в том, что выглядело как дико изогнутый узор; казалось, он только искажал свою схему, когда впервые за все века начал проследживать линии формы — и Лица.

ГЛАВА VII

ВОЙНА БОГОВ И ДЕМОНОВ

Материалистическая теория истории, согласно которой вся политика и этика являются выражением экономики, на самом деле является очень простой логической ошибкой. Она состоит просто в смешении необходимых условий жизни с обычными жизненными заботами, которые совершенно разные вещи. Это все равно что сказать, что, поскольку мужчина может ходить только на двух ногах, поэтому он никогда не ходит иначе, как для того, чтобы купить туфли и чулки. Человек не может жить без двух опор - еды и питья, которые поддерживают его, как две ноги; но предполагать, что они были мотивами всех его движений в истории, все равно что утверждать, что целью всех его военных маршей или религиозных паломничеств должна была быть Золотая нога мисс Килмансегг или идеальная нога сэра Уиллоуби Паттерна. Но именно

такие движения составляют историю человечества, и без них практически не было бы никакой истории вообще. Коровы могут быть чисто хозяйственными в том смысле, что мы не можем видеть, что они делают что-то еще, кроме выпаса скота и поиска лучших пастбищных угодий; и именно поэтому история коров в двенадцати томах была бы не очень увлекательным чтением. Овцы и козы могут быть чистыми экономистами, по крайней мере, в своих внешних действиях; но именно поэтому овца вряд ли была героем эпических войн и империй, которые считались достойными подробного повествования; и даже более активное четвероногое не вдохновило на создание книги для мальчиков под названием "Золотые подвиги доблестных козлов" или с каким-либо подобным названием. Но пока мы далеки от движений, из которых складывается история экономического человека, мы можем сказать, что история начинается только там, где заканчивается мотив коров и овец. Будет трудно утверждать, что крестоносцы ушли из своих домов в ревущую пустыню, потому что коровы уходят из дикой местности на более удобные пастбища. Будет трудно утверждать, что исследователи Арктики отправились на север с теми же материальными мотивами, которые заставили ласточек отправиться на юг. И если вы уберете из человеческой истории такие вещи, как все религиозные войны и все просто авантурные исследования, она не только вообще перестанет быть человеческой, но и вообще перестанет быть историей. Контур истории состоит из этих решающих изгибов и углов, определенных волей человека. Экономическая история даже не была бы историей.

Но помимо этого очевидного факта существует более глубокая логическая ошибка: людям не нужно жить ради еды только потому, что они не могут жить без еды. Истина заключается в том, что больше всего на ум человеку приходит не экономический механизм, необходимый для его существования, а скорее само это существование; мир, который он видит, просыпаясь каждое утро, и природа его общего положения в нем. Есть что-то, что ему ближе, чем средства к существованию, и это жизнь. В кои-то веки он точно помнит, какая работа приносит ему зарплату и из какой зарплаты получается его питание, он десять раз задумывается о том, что сегодня прекрасный день или это странный мир, или задается вопросом, стоит ли жить, или задается вопросом, неудачен ли брак, или доволен и озадачен собственными детьми, или вспоминает собственную молодость, или любым другим подобным образом смутно размышляет о загадочной участи человека. Это верно даже для большинства наемных рабов нашего болезненного современного индустриализма, который своей уродливостью и бесчеловечностью действительно выдвинул экономический вопрос на передний план. Это неизмеримо более верно в отношении множества крестьян, охотников или рыбаков, составляющих реальную массу человечества. Даже те сухие педанты, которые думают, что этика зависит от экономики, должны признать, что экономика зависит от существования. И любое количество обычных сомнений и мечтаний наяву связано с существованием; не с тем, как мы можем жить, а с тем, почему мы это делаем. И доказательство этого простое; такое же простое, как самоубийство. Переверните вселенную с ног на голову в своем сознании, и вы перевернете с ног на голову всех политэкономистов вместе с этим. Предположим, что человек хочет умереть, и профессор политической экономии становится довольно скучным со своими подробными объяснениями того, как ему жить. И все отступления и решения, которые превращают наше человеческое прошлое в историю, имеют такой характер, что отклоняют от прямого курса чистой экономики. Как экономист может быть освобожден от расчета будущей зарплаты самоубийцы, так и он может быть освобожден от назначения пенсии по старости мученику. Как ему не нужно заботиться о будущем мученика, так и ему не нужно заботиться о семье монаха. Его план изменяется в меньшей и различной степени из-за того, что человек

является солдатом и умирает за свою страну, из-за того, что человек является крестьянином и особенно любит свою землю, из-за того, что человек более или менее подвержен влиянию какой-либо религии, которая запрещает или позволяет ему делать то или это. Но все это восходит не к экономическому расчету средств к существованию, а к элементарному взгляду на жизнь. Все они возвращаются к тому, что в основе своей чувствует человек, когда он смотрит из тех странных окон, которые мы называем глазами, на то странное видение, которое мы называем миром.

Ни один мудрый человек не захочет приносить в мир больше длинных слов. Но, возможно, допустимо сказать, что нам нужна новая вещь; которую можно назвать психологической историей. Я имею в виду рассмотрение того, что означают вещи в сознании человека, особенно обычного человека; в отличие от того, что определяется или выводится просто из официальных форм или политических заявлений. Я уже касался этого в таком случае, как тотем или любой другой популярный миф. Недостаточно услышать, что кота называли тотемом; особенно когда его не называли тотемом. Мы хотим знать, на что это было похоже. Был ли он похож на кота Уиттингтона или на кота ведьмы? Было его настоящее имя Пашт или Кот в сапогах? Это то, что нам нужно, чтобы коснуться природы политических и социальных отношений. Мы хотим знать истинное чувство, которое было социальной связью многих простых людей, таких же здравомыслящих и эгоистичных, как мы. Что почувствовали солдаты, когда увидели в небе великолепный тотем, который мы называем Золотым Орлом Легионов? Что чувствовали вассалы по отношению к этим другим тотемам, львам или леопардам на щите своего господина? До тех пор, пока мы пренебрегаем этой субъективной стороной истории, которую проще было бы назвать внутренней стороной истории, всегда будет существовать определенное ограничение для той науки, которую искусство может лучше преодолеть. Пока историк не может этого сделать, вымысел будет правдивее факта. В романе будет больше реальности; да, даже в историческом романе.

Ни в чем так не нуждается эта новая история, как в психологии войны. Наша история изобилует официальными документами, государственными или частными, которые ничего не говорят нам о самом деле. В худшем случае у нас есть только официальные плакаты, которые не могли быть спонтанными именно потому, что они были официальными. В лучшем случае у нас есть только тайная дипломатия, которая не могла быть популярной именно потому, что она была секретной. На том или ином из них основано историческое суждение о реальных причинах, поддержавших борьбу. Правительства борются за колонии или коммерческие права; правительства борются за гавани или высокие тарифы; правительства борются за золотую жилу или промысел жемчуга. Кажется достаточным ответить, что правительства вообще не борются. Почему бойцы сражаются? Какова психология, которая поддерживает ужасную и замечательную вещь, называемую войной? Никто, кто хоть что-то знает о солдатах, не верит глупой идее донов, что миллионами людей можно управлять силой. Если бы все они дали слабину, было бы невозможно наказать всех бездельников. И малейшая слабость может привести к провалу всей кампании за полдня. Что на самом деле думают мужчины об этой политике? Если сказать, что они приняли политику от политика, что они чувствовали по отношению к политику? Если вассалы слепо сражались за своего принца, то что эти слепцы увидели в своем принце?

Мы все знаем кое-что, что может быть передано только на соответствующем языке как *реальная политика*. На самом деле, это почти безумно нереальная политика. Всегда упрямо и глупо повторяют, что люди сражаются ради материальных целей, ни на мгновение не задумываясь о

том, что материальные цели вряд ли когда-либо являются материальными для людей, которые сражаются. В любом случае, ни один человек не умрет за практическую политику, точно так же, как ни один человек не умрет за плату. Нерон не мог нанять сотню христиан на съедение львам за шиллинг в час, потому что люди не станут принимать мученическую смерть из-за денег. Но видение, предлагаемое *real politik*, или реалистичной политикой, вне всякого примера безумно и невероятно. Верит ли кто-нибудь в мире, что солдат говорит: 'У меня почти отваливается нога, но я буду идти до тех пор, пока она не отвалится; потому что, в конце концов, я буду пользоваться всеми преимуществами того, что мое правительство получило порт с теплой водой в Финском заливе'. Может ли кто-нибудь предположить, что клерк, ставший новобранцем, говорит: 'Если меня отравят газом, я, вероятно, умру в мучениях; но утешает мысль о том, что если я когда-нибудь решу стать ловцом жемчуга в Южных морях, эта карьера теперь открыта для меня и моих соотечественников'. Материалистическая история - самая безумно невероятная из всех историй или даже из всех романов. Что бы ни начинало войны, то, что поддерживает войны, находится в душе; это нечто сродни религии. Это то, что люди чувствуют по отношению к жизни и смерти. Человек, близкий к смерти, имеет дело непосредственно с абсолютным; бессмысленно говорить, что его интересуют только относительные и отдаленные осложнения, которым смерть в любом случае положит конец. Если его поддерживает определенная лояльность, то это должна быть лояльность простая, как смерть. Обычно это две идеи, которые являются всего лишь двумя сторонами одной идеи. Первая - это любовь к какой-то вещи, которая, как говорят, находится под угрозой, если она лишь смутно известна как дом; вторая - это неприязнь и неповиновение какой-то странной вещи, которая ей угрожает. Первый гораздо более философичен, чем кажется, хотя нам нет необходимости обсуждать его здесь. Человек не хочет, чтобы его национальный дом был разрушен или даже изменен, потому что он даже не может вспомнить все хорошее, что с ним связано; точно так же он не хочет, чтобы его дом сгорел дотла, потому что он едва ли может сосчитать все то, чего ему будет не хватать. Поэтому он борется за то, что звучит как туманная абстракция, но на самом деле является домом. Но отрицательная сторона этого столь же благородна, сколь и сильна. Люди сражаются сильнее всего, когда чувствуют, что противник - это одновременно старый враг и вечный незнакомец, что его атмосфера чужда и антагонистична; как французы относятся к пруссакам или восточные христиане к туркам. Если мы скажем, что это разница в религии, люди погрузятся в унылые споры о сектах и догмах. Мы пожалеем их и скажем, что это разница между смертью и дневным светом; разница, которая действительно возникает подобно темной тени между нашими глазами и днем. Люди могут думать об этом различии даже в момент смерти, ибо это различие касается смысла жизни.

Людьми в этих вещах движет нечто гораздо более высокое и святое, чем политика: ненависть. Когда люди держались в самые мрачные дни Великой войны, страдая телом или душой за тех, кого любили, они давно перестали заботиться о деталях дипломатических целей в качестве мотивов своего отказа сдаться. О себе и о тех, кого я знал лучше всех, я могу ответить за видение, которое сделало капитуляцию невозможной. Это было видение лица германского императора, когда он въезжал в Париж. Это не то чувство, которое некоторые из моих друзей-идеалистов называют Любовью. Меня вполне устраивает называть это ненавистью; ненавистью к аду и всем его творениям, и соглашаться с тем, что, поскольку они не верят в ад, им не нужно верить в ненависть. Но перед лицом этого распространенного предрассудка это длинное введение, к сожалению, было необходимо, чтобы обеспечить понимание того, что подразумевается под религиозной войной. Религиозная война возникает, когда встречаются

два мира; то есть, когда встречаются два видения мира; или, говоря более современным языком, когда встречаются две моральные атмосферы. То, что является дыханием одного человека, является ядом другого человека; и напрасно говорить о том, чтобы предоставить чуме место под солнцем. И это то, что мы должны понять, даже ценой отступления, если мы хотим увидеть, что на самом деле произошло в Средиземноморье; когда прямо поперек подъема Республики на Тибре, нечто, возвышающееся над ней и презирающее ее, темное от всех загадок Азии и преследующее все племена и зависимости империализма, появился Карфаген, плывущий по морю.

Древняя религия Италии в целом представляла собой ту смесь, которую мы рассмотрели в разделе мифологии; за исключением того, что там, где у греков была естественная склонность к мифологии, у латинян, по-видимому, была настоящая склонность к религии. Оба умножили богов, но иногда кажется, что они умножили их по почти противоположным причинам. Иногда может показаться, что греческий политеизм разветвлялся и цвел вверх, как ветви дерева, в то время как итальянский политеизм разветвлялся вниз, как корни. Возможно, правильнее было бы сказать, что первые ветви легко приподнимались, принося цветы, в то время как вторые свисали вниз, отяжеленные плодами. Я имею в виду, что латиняне, кажется, умножают богов, чтобы приблизить их к людям, в то время как греческие боги поднимались и излучались наружу, в утреннее небо. Что поражает нас в итальянских культах, так это их локальный и особенно бытовой характер. У нас складывается впечатление, что божества роятся по дому, как мухи; божества собираются в группы и цепляются, как летучие мыши, за колонны или строят здания, как птицы, под карнизом. У нас есть видение бога крыш и бога воротных столбов, бога дверей и даже бога водостоков. Высказывалось предположение, что вся мифология была своего рода волшебной сказкой; но это была особая разновидность волшебной сказки, которую действительно можно назвать сказкой у камина или детской сказкой; потому что это была сказка о внутреннем убранстве дома; вроде тех, которые заставляют стулья и столы разговаривать, как эльфы. Старые домашние боги итальянских крестьян, по-видимому, были большими, неуклюжими деревянными изображениями, более безликими, чем фигурная голова, по которой Квилп колотил кочергой. Эта домашняя религия была очень домашней. Конечно, в переплетении итальянской мифологии были и другие, менее человеческие элементы. Греческие божества накладывались на римские; кое-где под ними скрывались более уродливые вещи, эксперименты в жестокой форме язычества, вроде арийского обряда, когда священник убивал убийцу. Но эти вещи всегда были потенциальными в язычестве; они, конечно, не являются особенностью латинского язычества. Особенность этого можно примерно объяснить, сказав, что если мифология олицетворяла силы природы, то эта мифология олицетворяла природу, преобразованную силами человека. Это был бог кукурузы, а не травы, крупного рогатого скота, а не лесной дикости; короче говоря, культ был буквально культурой; например, когда мы говорим о нем как о сельском хозяйстве.

При этом возник парадокс, который до сих пор остается для многих загадкой латинян. Когда религия пронизывала каждую домашнюю деталь подобно вьющемуся растению, появилось то, что многим кажется совершенно противоположным духом: дух бунта. Империалисты и реакционеры часто ссылаются на Рим как на образец порядка и послушания; но Рим был полной противоположностью. Реальная история древнего Рима гораздо больше похожа на историю современного Парижа. На современном языке это можно было бы назвать городом, построенным из баррикад. Говорят, что ворота Януса никогда не закрывались, потому что снаружи шла вечная война; почти так же верно и то, что внутри происходила вечная революция.

От первых плебейских бунтов до последних Рабских войн государство, которое навязало мир миру, на самом деле никогда не было в мире. Правители сами были мятежниками.

Существует реальная связь между этой религией в частной жизни и этой революцией в общественной. Истории, не менее героические, хотя и избитые, напоминают нам, что Республика была основана на тираноубийце, отомстившем за оскорбление жены; что народные трибуны были восстановлены после другого, отомстившего за оскорбление дочери. Правда в том, что только мужчины, для которых семья священна, когда-либо будут иметь стандарт или статус, на основании которых можно критиковать государство. Только они могут взывать к чему-то более святому, чем боги города, боги домашнего очага. Вот почему люди озадачены, видя, что те же самые нации, которые считаются жесткими в домашнем хозяйстве, также считаются беспокойными в политике; например, ирландцы и французы. Стоит остановиться на этом бытовом моменте, потому что это точный пример того, что здесь подразумевается под внутренней частью истории, например, внутри домов. Простые политические истории Рима могут быть достаточно правы, утверждая, что то или иное было циничным или жестоким поступком римских политиков; но дух, поднявший Рим снизу, был духом всех римлян; и не будет преувеличением назвать это идеалом Цинцинната, переходящего от сената к плугу. Люди такого сорта укрепили свою деревню со всех сторон, уже одержали победы над итальянцами и даже над греками, когда они оказались лицом к лицу с войной, изменившей мир. Я назвал это здесь войной богов и демонов.

На противоположном берегу внутреннего моря был основан город, который носил название Новый город. Он был уже намного старше, могущественнее и процветающее итальянского городка, но в нем все еще сохранялась атмосфера, которая делала это название вполне уместным. Его называли новым, потому что это была такая же колония, как Нью-Йорк или Новая Зеландия. Это был форпост или поселение энергии и расширения крупных торговых городов Тира и Сидона. В нем были нотки новых стран и колоний; уверенный коммерческий взгляд на вещи. Он любил говорить вещи, которые звучали с определенной металлической уверенностью; например, что никто не мог вымыть руки в море без разрешения Нового Города. Ибо он почти полностью зависел от величия своих кораблей, как и от двух больших портов и рынков, откуда происходили его жители. Он привез из Тира и Сидона поразительный талант к торговле и значительный опыт путешествий. Это принесло и другие вещи.

В предыдущей главе я кое-что намекнул на психологию, лежащую в основе определенного типа религии. У тех, кто жаждал практических результатов, помимо поэтических, была склонность призывать духов ужаса и принуждения; приводить Ашерона в отчаяние от попытки склонить богов. Всегда существует своего рода смутная идея о том, что эти темные силы действительно будут что-то делать, без всякой ерунды по этому поводу. Во внутренней психологии пунических народов этот странный вид пессимистического практицизма достиг огромных размеров. В Новом Городе, который римляне называли Карфагеном, как и в прародительских городах Финикии, бог, вершивший дела, носил имя Молох, который, возможно, был идентичен другому божеству, известному нам как Ваал, Господь. Римляне сначала не совсем понимали, как его называть и что с ним делать; им пришлось вернуться к самому грубому мифу греческого или римского происхождения и сравнить его с Сатурном, пожирающим своих детей. Но поклоняющиеся Молоху не были грубыми или примитивными. Они были представителями зрелой и отточенной цивилизации, изобилующей изысками и роскошью; вероятно, они были гораздо более цивилизованными, чем римляне. И Молох не был мифом; или, во всяком случае,

его трапеза не была мифом. Эти высокоразвитые люди действительно собрались вместе, чтобы призвать благословение небес на свою империю, бросив сотни своих младенцев в большую печь. Мы можем понять это сочетание, только представив себе нескольких манчестерских торговцев в шляпах-горшочках и бакенбардах размером с баранью отбивную, которые каждое воскресенье в одиннадцать часов собираются в церковь, чтобы посмотреть, как жарят младенца.

Первые этапы политической или коммерческой ссоры можно проследить слишком подробно именно потому, что она носит чисто политический или коммерческий характер. Одно время казалось, что Пунические войны никогда не закончатся; и нелегко сказать, когда они вообще начались. Греки исицийцы уже вели смутные бои на стороне европейцев против африканского города. Карфаген разгромил Грецию и завоевал Сицилию. Карфаген также прочно обосновался в Испании; и между Испанией и Сицилией латинский город был сдержан и был бы сокрушен, если бы римляне были из тех, кого легко сокрушить. И все же интерес этой истории на самом деле заключается в том факте, что Рим был сокрушен. Если бы не было определенных моральных элементов, а также материальных элементов, история закончилась бы там, где Карфаген, несомненно, думал, что она закончилась. Достаточно распространено обвинять Рим в том, что он не заключил мир. Но это был истинный народный инстинкт, что с такими людьми мира быть не может. Достаточно распространено обвинять римлян в *их несправедливости к Карфагену*; Карфаген должен быть разрушен. Обычнее забывать, что, судя по всему, сам Рим был разрушен. Священный аромат, который всегда витал над Римом, о котором слишком часто забывают, сохранился за ней отчасти потому, что она внезапно воскресла из мертвых.

Карфаген был аристократией, как и большинство подобных торговых государств. Давление богатых на бедных было безличным и непреодолимым. Ибо такие аристократии никогда не допускают личного правления, и, возможно, именно поэтому эта аристократия завидовала личному таланту. Но гений может появиться где угодно, даже в правящем классе. Словно для того, чтобы сделать высшее испытание в мире как можно более ужасным, было предопределено, что один из великих домов Карфагена произведет на свет человека, вышедшего из этих позолоченных дворцов со всей энергией и оригинальностью Наполеона, пришедшего из ниоткуда. В самый тяжелый период войны Рим узнал, что сама Италия, благодаря военному чуду, подверглась вторжению с севера. Ганнибал, Милость Ваала, как звучало его имя на его родном языке, протащил тяжелую цепь вооружений по звездному безлюдью Альп и указал на юг, на город, который все его ужасные боги поклялись ему разрушить.

Ганнибал шел по дороге в Рим, и римляне, которые бросились на него войной, чувствовали себя так, словно сражались с волшебником. Две огромные армии справа и слева от него погрузились в болота Требии; все больше и больше людей было втянуто в ужасный водоворот Канн; все больше и больше людей выходило вперед только для того, чтобы пасть в руинах от его прикосновения. Высший признак всех бедствий, которым является измена, обращал племя за племенем против падающего Рима, и все же непобедимый враг подкатывал все ближе и ближе к городу; и вслед за своим великим вождем растущая космополитическая армия Карфагена проходила, как шествие всего мира; слоны сотрясали землю, как марширующие горы, и гигантские галлы в своих варварских доспехах, и смуглые испанцы в золотых доспехах, и смуглые нумидийцы на своих необузданных пустынных лошадях кружились и метались, как

ястребы, и целые толпы людей, сражавшихся за Рим. дезертиры, наемники и разные народы; и Милость Ваала была пред ними.

Римские авгуры и писцы, которые говорили в тот час, что это породило неземные чудеса, что родился ребенок с головой слона или что звезды падали градом, обладали гораздо более философским пониманием того, что произошло на самом деле, чем современный историк, который не видит в этом ничего, кроме успеха стратегии, завершающей соперничество в торговле. В тот момент и на месте ощущалось нечто совершенно иное, как это всегда ощущают те, кто ощущает, как чужая атмосфера проникает в их собственную подобно туману или неприятному запаху. Это было не просто военное поражение, и уж точно не просто торговое соперничество наполнило воображение римлян такими отвратительными предзнаменованиями того, что сама природа становится неестественной. Это был Молох с горы Латинов, взиравший своим ужасающим лицом на равнину; это был Ваал, попиравший виноградники своими каменными ногами; это был голос Танит невидимой, за ее развевающимися вуалями шепчущий о любви, которая ужаснее ненависти. Сожжение итальянских кукурузных полей, гибель итальянских виноградников были чем-то большим, чем просто реальностью; они были аллегорическими. Это было разрушение домашнего очага и всего плодотворного, увядание того, что было человеческим до той бесчеловечности, которая далеко выходит за рамки человеческого, называемого жестокостью. Домашние боги низко склонились во тьме под своими неприятельскими крышами; а над ними летали демоны на ветру, дующем из-за всех стен, трубя в трамонтанскую трубу. Врата Альп были разрушены; и не в вульгарном, а в очень торжественном смысле это был Ад, выпущенный на свободу. Война богов и демонов, казалось, уже закончилась; и боги были мертвы. Орлы были потеряны, легионы разбиты, и в Риме не осталось ничего, кроме чести и холодного мужества отчаяния.

Во всем мире только одно все еще угрожало Карфагену, и это был Карфаген. Все еще сохранялась внутренняя работа элемента, сильного во всех успешных коммерческих государствах, и присутствие духа, который мы знаем. Все еще существовали здравый смысл и проницательность людей, управляющих крупными предприятиями; все еще существовали советы лучших финансовых экспертов; все еще существовало деловое управление; все еще существовал широкий и здравый взгляд практических дельцов; и на все это римляне могли надеяться. По мере того как война приближалась к тому, что казалось ее трагическим концом, постепенно росла слабая и странная вероятность того, что даже сейчас они, возможно, надеются не напрасно. Простые бизнесмены Карфагена, думавшие, как и подобает таким людям, в терминах живущих и умирающих рас, ясно видели, что Рим не только умирает, но и мертв. Война закончилась; очевидно, что для итальянского города было безнадежно сопротивляться дальше, и нелепым, чтобы кто-то сопротивлялся, когда это было безнадежно. В этих обстоятельствах оставалось рассмотреть еще один набор общих, обоснованных принципов ведения бизнеса. Войны велись с помощью денег и, следовательно, стоили денег; возможно, в глубине души они чувствовали, как и многие им подобные, что, в конце концов, война должна быть немного порочной, потому что она стоит денег. Теперь пришло время для мира, и еще больше для экономии. Сообщения, которые Ганнибал время от времени посылал с просьбой о подкреплении, были нелепым анахронизмом; сейчас нужно было заняться гораздо более важными делами. Возможно, это правда, что какой-нибудь консул совершил последний рывок к Метавру, убил брата Ганнибала и с латинской яростью швырнул его голову в лагерь Ганнибала; и безумные действия такого рода показали, насколько безнадежными латины считали свое дело. Но даже легковозбудимые латиноамериканцы не могли быть настолько

безумны, чтобы вечно цепляться за проигранное дело. Так утверждали лучшие финансовые эксперты; и отбрасывали в сторону все больше и больше писем, полных довольно странных панических сообщений. Так рассуждала и действовала великая Карфагенская империя. Этот бессмысленный предрассудок, проклятие коммерческих государств, что глупость в некотором роде практична, а гениальность в некотором роде бесполезна, привел их к голодной смерти и отказу от великого мастера оружейной школы, которого боги дали им напрасно.

Почему люди придерживаются этой странной идеи, что то, что подло, всегда должно перевешивать то, что великодушно; что существует какая-то смутная связь между умом и жестокостью или что не имеет значения, туп ли человек, если он еще и подлый? Почему они смутно думают о рыцарстве как о чувстве, а о чувствах как о слабости? Они делают это потому, что их, как и всех мужчин, в первую очередь вдохновляет религия. Для них, как и для всех людей, первым фактом является их представление о природе вещей; их представление о том, в каком мире они живут. И это их вера в то, что единственная высшая вещь - это страх и, следовательно, что само сердце мира - зло. Они верят, что смерть сильнее жизни, и поэтому мертвые вещи должны быть сильнее живых; будь то золото, железо и механизмы, скалы, реки и силы природы. Может показаться странным утверждать, что мужчины, с которыми мы встречаемся за чайными столами или беседуем на вечеринках в саду, тайно поклоняются Ваалу или Молоху. Но у такого коммерческого ума есть свое собственное космическое видение, и это видение Карфагена. В нем есть грубая ошибка, которая привела к крушению Карфагена. Пуническая власть пала, потому что в этом материализме присутствует безумное безразличие к реальной мысли. Неверие в душу приводит к неверию в разум. Будучи слишком практичной, чтобы быть моральной, она отрицает то, что каждый практичный солдат называет армейской моралью. Она воображает, что деньги будут сражаться, когда люди больше не будут сражаться. Так было с пуническими торговыми князьями. Их религия была религией отчаяния, даже когда их практическое положение было обнадеживающим. Как они могли понять, что римляне могли надеяться, даже когда их положение было безнадежным? Их религия была религией силы и страха; как они могли понять, что люди все еще могут презирать страх, даже когда подчиняются силе? В самой основе их философии мира лежала усталость; прежде всего, они устали от войны; как они должны понимать тех, кто продолжает вести войну, даже когда они устали от нее? Одним словом, как они должны понимать разум Человека, который так долго склонялся перед бессмысленными вещами, деньгами, грубой силой и богами, у которых были сердца зверей? Они внезапно проснулись от известия о том, что тлеющие угли, которые они побрезговали даже затоптать, снова повсюду вспыхнули пламенем; что Гасдрубал потерпел поражение, что Ганнибал был в меньшинстве, что Сципион перенес войну в Испанию; что он перенес ее в Африку. Перед самыми воротами золотого города Ганнибал сражался за него в своей последней битве и проиграл; и Карфаген пал так, как не пало ничто со времен сатаны. Название Нового Города осталось только как название. От него не осталось камня на камне. Перед окончательным разрушением действительно велась другая война: но разрушение было окончательным. Только люди, копавшиеся в его глубоких основаниях столетия спустя, нашли груду из сотен маленьких скелетов, священных реликвий этой религии. Ибо Карфаген пал, потому что она была верна своей собственной философии и довела до логического завершения свое собственное видение вселенной. Молох съел своих детей.

Боги восстали снова, и демоны, в конце концов, были побеждены. Но они были побеждены побежденными и почти побеждены мертвыми. Никто не понимает романтики Рима и того, почему он впоследствии поднялся до представительного руководства, которое казалось почти

обреченным и в корне естественным, кто не помнит агонию ужаса и унижения, через которые он продолжал свидетельствовать о здравомыслии, которое является душой Европы. Она оказалась в одиночестве посреди империи, потому что когда-то она уже стояла в одиночестве посреди руин и опустошения. После этого все люди знали в своих сердцах, что она была представителем человечества, даже когда была отвергнута людьми. И на нее упала тень от сияющего и пока еще невидимого света и бремя грядущего. Не нам гадать, каким образом или в какой момент милость Божья могла бы в любом случае спасти мир; но несомненно, что борьба, установившая христианский мир, была бы совсем иной, если бы вместо римской империи существовала Карфагенская империя. Мы должны благодарить терпение Пунических войн, если в последующие века божественное снизошло, по крайней мере, на человеческое, а не на бесчеловечное. Европа эволюционировала со своими собственными пороками и собственным бессилием, как будет показано на другой странице; но худшее, до чего она эволюционировала, не было похоже на то, чего она избежала. Может ли какой-нибудь человек в здравом уме сравнить огромную деревянную куклу, от которой дети ожидали, что она съест кусочек ужина, с великим идолом, от которого ожидалось, что он съест детей? Это показатель того, насколько далеко мир сбился с пути истинного, по сравнению с тем, как далеко он мог бы сбиться с пути истинного. Если римляне и были безжалостны, то это было в истинном смысле по отношению к врагу, и уж точно не просто к сопернику. Они помнили не торговые пути и правила, а лица насмешливых людей и ненавидели ненавистную душу Карфагена. И мы кое-чем обязаны им, если нам никогда не понадобилось вырубать рощи Венеры точно так же, как люди вырубали рощи Ваала. Отчасти именно их суровости мы обязаны тем, что наши мысли о нашем человеческом прошлом не совсем суровы. Если переход от язычества к христианству был не только проломом, но и мостом, мы в долгу перед теми, кто сохранил это язычество человечным. Если по прошествии всех этих веков мы в каком-то смысле примирились с язычеством и можем более благожелательно думать о наших отцах, то хорошо бы вспомнить о том, что было и что могло бы быть. Только по этой причине мы можем легкомысленно относиться к грузу древности и не содрогаться при виде нимфы на фонтане или купидона на валентинке. Смех и печаль связывают нас с тем, что давно ушло и что помнят без бесчестия; и мы можем не совсем без нежности наблюдать, как сумерки опускаются на сабинскую ферму, и слышать, как домашние боги радуются, когда Катулл возвращается домой в Сирмио. *Deleta est Carthago.*

ГЛАВА VIII

КОНЕЦ СВЕТА

Однажды летним днем я сидел на лугу в Кенте, в тени маленькой деревенской церкви, с довольно любопытным товарищем, с которым я только что гулял по лесу. Он был одним из группы эксцентриков, с которыми я столкнулся в своих странствиях, исповедовавших новую религию под названием "Высшее мышление"; в которую я был посвящен настолько, что осознал общую атмосферу возвышенности, и надеялся на какой-то более поздней и эзотерической стадии обнаружить зачатки мысли. Мой спутник был самым забавным из них, ибо, как бы он ни относился к мышлению, он, по крайней мере, намного превосходил их в опыте, поскольку путешествовал за пределами тропиков, пока они медитировали в пригороде; хотя его и обвинили в излишестве в рассказывании историй путешественников. Несмотря на все, что говорилось о нем, я предпочитал его товарищам и охотно ходил с ним по лесу; где я не мог не почувствовать, что его загорелое лицо, свирепые кустистые брови и заостренная борода

придавали ему что-то от Пана. Затем мы сели на лугу и лениво уставились на верхушки деревьев и шпиль деревенской церкви; в то время как теплый полдень начал переходить в ранний вечер, и пение маленькой птички было слабым далеко в небе, и не более чем шепот ветерка скорее успокаивал, чем шевелил древние сады "гарден оф Ингленд". Тогда мой спутник сказал мне: 'Ты знаешь, почему шпиль этой церкви так поднимается?' Я выразил респектабельный агностицизм, и он ответил небрежно: 'О, то же самое, что обелиски; фаллическое поклонение древности'. Потом я внезапно взглянул на него, когда он лежал, ухмыляясь из-за своей козлиной бороды; и на мгновение мне показалось, что это не Пан, а Дьявол. Никакие смертные слова не могут выразить безмерную, безумную неуместность и неестественное извращение мысли, заключенное в том, чтобы сказать такую вещь в такой момент и в таком месте. На какое-то мгновение я был в настроении, в котором люди сжигают ведьм; а затем ощущение абсурдности, столь же огромное, казалось, открылось вокруг меня, как рассвет. 'Ну, конечно,' сказал я после минутного размышления, 'если бы не фаллическое поклонение, они бы построили шпиль, направленный вниз и стоящий на своей собственной вершине'. Я мог бы сидеть на том поле и смеяться целый час. Мой друг, казалось, не обиделся, потому что на самом деле он никогда не был щепетилен в своих научных открытиях. Я встретил его лишь случайно и больше никогда не встречал, и я полагаю, что сейчас он мертв; но хотя это не имеет никакого отношения к аргументации, возможно, стоит упомянуть имя этого приверженца Высшей Мысли и толкователя примитивных религиозных истоков; или, по крайней мере, имя, под которым он был известен. Это был Луи де Ружмон.

Этот безумный образ кентской церкви, стоящей на острие своего шпиля, как в какой-нибудь старой деревенской сказке, перевернутой вверх дном, всегда всплывает в моем воображении, когда я слышу, как говорят о языческом происхождении, и призывает мне на помощь смех великанов. Тогда я испытываю такие же теплые и милосердные чувства ко всем другим научным исследователям, высшим критикам и авторитетам в области древней и современной религии, как и к бедному Луи де Ружмону. Но память об этой огромной абсурдности остается своего рода мерой и сдерживающим фактором, позволяющим сохранять здравый смысл не только в отношении христианских церквей, но и в отношении языческих храмов. Сейчас очень многие люди говорят о языческом происхождении, как выдающийся путешественник говорил о христианском происхождении. Действительно, очень многие современные язычники очень сурово относятся к язычеству. Очень многие современные гуманитарии очень сурово относятся к настоящей религии человечества. Они представили это как нечто повсеместное и с самого начала укоренившееся только в этих отталкивающих тайнах; и носящее характер чего-то совершенно бесстыдного и анархичного. Сейчас я ни на мгновение в это не верю. Мне и в голову не пришло бы думать о поклонении Аполлону в целом то, что Де Ружмон мог думать о поклонении Христу. Я бы никогда не допустил, чтобы в греческом городе царила такая атмосфера, какую этот безумец смог учуять в кентской деревне. Напротив, весь смысл даже этой заключительной главы, посвященной окончательному упадку язычества, в том, чтобы еще раз подчеркнуть, что худший вид язычества уже был побежден лучшим видом. Это был лучший вид язычества, завоевавший золото Карфагена. Это был лучший вид язычества, увенчанный лаврами Рима. Это было лучшее, что когда-либо видел мир, учитывая все обстоятельства и в любом крупном масштабе, который правил от Грампианской стены до сада Евфрата. Это были лучшие, которые побеждали; это были лучшие, которые правили; и это были лучшие, которые начали приходить в упадок.

Если не осознать эту общую истину, вся история будет восприниматься искаженно. Пессимизм заключается не в том, что вы устали от зла, а в том, что вы устали от добра. Отчаяние заключается не в том, чтобы устать от страданий, а в том, чтобы устать от радости. Именно тогда, когда по той или иной причине все хорошее в обществе больше не работает, общество начинает приходить в упадок; когда его пища не насыщает, когда его лекарства не излечивают, когда его благословения отказываются благословлять. Мы могли бы почти сказать, что в обществе, лишенном таких хороших вещей, у нас вряд ли был бы какой-либо тест, с помощью которого можно было бы зафиксировать упадок; вот почему некоторые из статичных коммерческих олигархий, таких как Карфаген, имеют в истории скорее вид стоящих и пляшущихся, как мумии, настолько высохшие, завернутые и забальзамированные, что никто не знает, новые они или старые. Но Карфаген, во любом случае, был мертв, и худшее нападение, когда-либо предпринятое демонами на общество смертных, было отбито. Но какое значение имело бы то, что худшее было бы мертво, если бы умирало лучшее?

Для начала следует отметить, что отношение Рима к Карфагену частично повторилось и расширилось в ее отношении к народам, более нормальным и более близким ей, чем Карфаген. Я здесь не собираюсь оспаривать чисто политическое мнение о том, что римские государственные деятели действовали недобросовестно по отношению к Коринфу или греческим городам. Но я озабочен опровержением представления о том, что обычная римская неприязнь к греческим порокам была не чем иным, как лицемерным оправданием. Я не представляю этих язычников как рыцарских паладинов, с чувством национализма, не известным до христианских времен. Но я представляю их как людей с чувствами мужчин; и эти чувства не были притворством. Истина заключается в том, что одна из слабостей в поклонении природе и простой мифологии уже привела к извращению среди греков из-за худшей софистики - софистики простоты. Точно так же, как они стали неестественными, поклоняясь природе, точно так же они на самом деле стали недостойными мужчины, поклоняясь человеку. Если бы Греция вела своего завоевателя, она, возможно, ввела бы его в заблуждение; но это были вещи, которые он изначально хотел завоевать — даже в самом себе. Это правда, что в каком-то смысле даже в Содоме и Гоморре было меньше бесчеловечности, чем в Тире и Сидоне. Когда мы рассматриваем войну демонов с детьми, мы не можем сравнить даже греческий декаданс с пуническим поклонением дьяволу. Но неверно, что искреннее отвращение к тому или другому должно быть просто фарисейским. Это не соответствует человеческой природе или здравому смыслу. Пусть любой юноша, которому посчастливилось вырасти здоровым и простым в своих мечтах о любви наяву, впервые услышит о культе Ганимеда; он будет не просто потрясен, но и испытает отвращение. И это первое впечатление, как здесь так часто говорилось о первых впечатлениях, будет правильным. Наше циничное безразличие - иллюзия; это величайшая из всех иллюзий: иллюзия фамиллярности. Правильно понимать более или менее деревенские добродетели гуск первых римлян как реакцию на сам слух об этом с полной непосредственностью и искренностью. Справедливо считать, что они отреагировали, хотя и в меньшей степени, точно так же, как они отреагировали на жестокость Карфагена. Потому что это было в меньшей степени то, что они не разрушили Коринф так, как они разрушили Карфаген. Но если их отношение и действия были скорее деструктивными, то ни в том, ни в другом случае их негодование не должно быть простой самоправедностью, прикрывающей простой эгоизм. И если кто-то настаивает на том, что в обоих случаях не могло действовать ничего, кроме государственных и коммерческих заговоров, мы можем только сказать ему, что есть нечто, чего он не понимает; нечто, чего, возможно, он никогда не поймет;

нечто, чего, пока он не поймет, он никогда не поймет латинян. Это нечто называется демократией. Он, вероятно, слышал это слово много раз и даже использовал его сам; но он понятия не имеет, что оно означает. На протяжении всей революционной истории Рима наблюдалось непрекращающееся стремление к демократии; государство и государственный деятель ничего не могли сделать без значительной поддержки демократии; той разновидности демократии, которая никогда не имеет ничего общего с дипломатией. Именно из-за присутствия римской демократии мы так много слышим о римской олигархии. Например, недавние историки пытались объяснить доблесть и победу Рима в терминах того отвратительного ростовщичества, которым занимались некоторые патриции; как будто Курий покорил людей македонской фаланги, ссудив их деньгами; или консул Нерон договорился о победе при Метавре за пять процентов. Но мы осознаем ростовщичество патрициев из-за постоянных восстаний плебеев. Правление пунических князей-торговцев имело саму суть ростовщичества. Но никогда не было пунической толпы, которая осмеливалась бы называть их ростовщиками.

Обремененный, как и все смертное, всеми смертными грехами и слабостями, расцвет Рима на самом деле был расцветом нормальных и особенно популярных вещей; и ни в чем ином, как в совершенно нормальной и глубоко популярной ненависти к извращениям. Теперь среди греков извращение стало условностью. Это правда, что оно стало настолько условным, особенно литературным, что иногда его традиционно копировали римские литераторы. Но это одно из тех осложнений, которые всегда возникают из-за условностей. Это не должно заслонять наше ощущение разницы в тоне в двух обществах в целом. Это правда, что Вергилий когда-то в некотором роде перенял тему Феокрита; но ни у кого не может сложиться впечатление, что Вергилий особенно любил эту тему. Темы Вергилия были особенно и примечательно обычными темами, и нигде больше, кроме морали; благочестие, патриотизм и честь сельской местности. И мы вполне можем остановиться на имени поэта, переходя к осени античности: на его имени, которое в столь высоком смысле было самым голосом осени, ее зрелости и меланхолии, ее плодов самореализации и ее перспективы увядания. Никто, прочитавший хотя бы несколько строк Вергилия, не может усомниться в том, что он понимал, что значит для человечества моральное здравомыслие. Никто не может усомниться в его чувствах, когда демоны были обращены в бегство перед домашними богами. Но есть два особых момента о нем и его работе, которые особенно важны для основного тезиса здесь. Во-первых, вся его великая патриотическая эпопея в весьма своеобразном смысле основана на падении Трои, то есть на общепризнанной гордости за Трою, несмотря на то, что она пала. Прослеживая до троянцев истоки своей любимой расы и республики, он положил начало тому, что можно назвать великой троянской традицией, проходящей через средневековую и современную историю. Мы уже видели первый намек на это в пафосе Гомера о Гекторе. Но Вергилий превратил это не просто в литературу, но в легенду. И это была легенда о почти божественном достоинстве, которое принадлежит побежденным. Это была одна из традиций, которая действительно подготовила мир к приходу христианства и особенно христианского рыцарства. Это то, что помогло сохранить цивилизацию во время непрекращающихся поражений Темных веков и варварских войн, из которых родилось то, что мы называем рыцарством. Это моральная позиция человека, прислонившегося спиной к стене; и это была стена Трои. На протяжении всего средневековья и нового времени эту версию добродетелей в гомеровском конфликте можно проследить сотнями способов, сочетающихся со всем, что было сродни ей в христианских чувствах. Наши соотечественники и мужчины из других стран любили заявлять, подобно Вергилию, что их

собственная нация произошла от героических троянцев. Самые разные люди считали, что это самый превосходный вид геральдики - заявлять, что они происходят от Гектора. Кажется, никто не хотел быть потомком Ахилла. Сам факт, что троянское имя стало христианским и было рассеяно до последних пределов христианского мира, до Ирландии или Гэльского нагорья, в то время как греческое имя оставалось относительно редким и педантичным, является данью той же истине. Действительно, это связано с языковым любопытством, почти похожим на шутку. Это имя было превращено в глагол; и сама фраза о хекторинге в смысле чванства наводит на мысль о мириадах солдат, взявших за образец павшего троянца. На самом деле, никто в древности не был менее склонен к издевательствам, чем Гектор. Но даже хулиган, притворяющийся завоевателем, отнял свой титул у побежденного. Вот почему популяризация Вергилием троянского происхождения имеет жизненно важное отношение ко всем тем элементам, которые заставили людей говорить, что Вергилий был почти христианином. Это почти как если бы два огромных инструмента или игрушки из одного дерева, божественное и человеческое, находились в руках Провидения; и единственной вещью, сравнимой с Деревянным Голгофским Крестом, был Деревянный Конь Трои. Итак, в какой-то дикой аллегории, благочестивой по замыслу, но почти нечестивой по форме, Святое Дитя могло сразиться с Драконом деревянным мечом и деревянным конем.

Другой элемент у Вергилия, который важен для аргументации, - это особая природа его отношения к мифологии; или тому, что здесь в особом смысле можно назвать фольклором, верованиям и фантазиям простых людей. Всем известно, что его поэзия в своем самом совершенном виде связана не столько с помпезностью Олимпа, сколько с *снуминой* природы и земледелия. Каждый знает, где Вергилий искал причины вещей. Он говорит о том, что находит их не столько в космических аллегориях Урана и Хроноса, сколько в Пане, сестричестве нимф и косматом лесном старике. Пожалуй, больше всего он похож на себя в некоторых отрывках Эклог, в которых он навсегда увековечил великую легенду об Аркадии и пастухах. И здесь снова достаточно легко упустить суть, мелочно критикуя все то, что отделяет его литературные традиции от наших. Нет ничего более искусственного, чем крик об искусственности, направленный против старой пасторальной поэзии. Мы полностью упустили из виду все, что имели в виду наши отцы, рассматривая внешнюю сторону того, что они писали. Людей так позабавил сам факт того, что фарфоровая пастушка была сделана из фарфора, что они даже не спросили, зачем она вообще была сделана. Они были так довольны, рассматривая Веселого Крестьянина как персонаж оперы, что даже не спросили, как он попал в оперу и как попал на сцену.

Короче говоря, нам остается только спросить, почему существует фарфоровая пастушка, а не владелец посудной лавки. Почему каминные полки не были украшены фигурами городских торговцев в элегантных позах; кузнецов, выкованных из железа, или золотопромышленников из золота? Почему в опере был изображен Веселый крестьянин, а не Веселый политик? Почему не было балета банкиров, исполняющих пируэты на острых носках? Потому что древний инстинкт и юмор человечества всегда говорили им, при любых условностях, что условности сложных городов были менее по-настоящему здоровыми и счастливыми, чем обычаи сельской местности. Так же и с вечностью эклог. Современный поэт действительно написал вещи, называемые эклогами с Флит-стрит, в которых поэты заняли место пастухов. Но никто еще не написал ничего, что называлось бы Эклогами Уолл-стрит, в которых миллионеры должны были бы занять место поэтов. И причина в том, что существует реальное, хотя и повторяющееся, стремление к такого рода простоте; и никогда не бывает такого рода стремления к такого рода

сложности. Ключ к тайне Веселого крестьянина заключается в том, что крестьянин часто бывает весел. Те, кто не верит в это, - это просто те, кто ничего не знает о нем и, следовательно, не знает, в какое время он веселится. Те, кто не верит в пастуший праздник или песню, просто не знают о пастушьем календаре. Настоящий пастух действительно сильно отличается от идеального пастуха, но это не повод забывать о реальности, лежащей в основе идеала. Нужна истина, чтобы создать традицию. Нужна традиция, чтобы создать условность. Пасторальная поэзия, безусловно, часто является условностью, особенно в период социального упадка. Именно в период социального упадка пастухи Ватто и пастушки разгуливали по садам Версаля. Кроме того, в условиях социального упадка пастухи и пастушатаки продолжали играть на свирели и танцевать под самые блеклые имитации Вергилия. Но это не повод отвергать умирающее язычество, так и не поняв его жизни. Это не повод забывать, что само слово "язычник" - это то же самое, что и слово "Крестьянин". Мы можем сказать, что это искусство - всего лишь искусственность; но это не любовь к искусственному. Напротив, по самой своей природе это всего лишь провал поклонения природе или любви к естественному.

Ибо пастухи умирали, потому что умирали их боги. Язычество жило поэзией; эта поэзия уже рассматривалась под названием мифологии. Но повсюду, и особенно в Италии, это была мифология и поэзия, уходящие корнями в сельскую местность; и эта деревенская религия была в значительной степени ответственна за деревенское счастье. Только по мере того, как все общество становилось старше и опытнее, начала проявляться слабость всей мифологии, уже отмеченная в главе под этим названием. Эта религия была не совсем религией. Другими словами, эта религия была не совсем реальностью. Это был бунт молодого мира с образами и идеями, подобный бунту молодого человека с вином или занятиями любовью; это было не столько аморально, сколько безответственно; в нем не было предвидения последнего испытания временем. Поскольку оно было творческим в любой степени, оно было доверчивым в любой степени. Оно принадлежало артистической стороне человека, но даже с художественной точки зрения оно давно стало перегруженным и запутанным. Генеалогические древа, произросшие из семени Юпитера, были скорее джунглями, чем лесом; заявления богов и полубогов казались делами, которые должен был решать скорее юрист или профессиональный глашатай, чем поэт. Но нет нужды говорить, что эти вещи стали более анархичными не только в художественном смысле. Все более и более вопиющим образом проявлялся тот цветок зла, который на самом деле заложен в самом семени поклонения природе, каким бы естественным оно ни казалось. Я уже говорил, что не верю, что поклонение природе обязательно начинается с этой особой страсти; я не принадлежу к школе научного фольклора Де Ружмона. Я не верю, что мифология должна начинаться с эротики. Но я верю, что мифология должна на этом заканчиваться. Я совершенно уверен, что мифология действительно на этом заканчивалась. Более того, не только поэзия становилась все более безнравственной, но и сама безнравственность становилась все более неоправданной. Греческие пороки, восточные пороки, намеки на древние ужасы семитских демонов начали наполнять фантазии разлагающегося Рима, роясь, как мухи на навозной куче. Психология этого действительно достаточно человечна для любого, кто попробует этот эксперимент - увидеть историю изнутри. После Полудня наступает час, когда ребенок устает 'притворяться'; когда ему надоедает быть грабителем или краснокожим индейцем. Именно тогда он мучает кошку. В рутине упорядоченной цивилизации наступает момент, когда человек устает играть в мифологию и притворяться, что дерево - это дева или что луна занималась любовью с мужчиной. Эффект этой затхлости везде одинаков; он наблюдается при любом приеме наркотиков и крепком алкоголе,

а также при любой форме тенденции к увеличению дозы. Мужчины ищут более странные грехи или более поразительные непристойности в качестве стимулятора своего пресыщенного чувства. Они стремятся к безумным восточным религиям по той же причине. Они пытаются оживить свои нервы, как если бы это было сделано ножами жрецов Ваала. Они ходят во сне и пытаются разбудить себя кошмарами.

Поэтому даже на этой стадии язычества крестьянские песни и танцы звучат в лесу все тише и тише. Во-первых, крестьянская цивилизация угасала или уже угасла во всей сельской местности. Империя в конце концов все больше и больше строилась на той рабской системе, которая обычно сопутствует хвастовству организованностью; на самом деле она была почти такой же рабской, как современные схемы организации промышленности. Вошло в поговорку, что то, что когда-то было крестьянством, превратилось в простую городскую чернь, зависящую от хлеба и зрелищ; что опять-таки может наводить некоторых на мысль о толпе, зависящей от долевого участия и кинотеатров. В этом, как и во многих других отношениях, современный возврат к язычеству был возвращением даже не к языческой юности, а скорее к языческой старости. Но причины этого в обоих случаях были духовными; и особенно дух язычества исчез вместе с его привычными духами. Сердце ушло из него вместе с его домашними богами, которые ушли вместе с богами сада, поля и леса. Лесной Старик был слишком стар; он уже умирал. В каком-то смысле верно сказано, что Пан умер, потому что родился Христос. Почти так же верно и в другом смысле, что люди знали, что Христос родился, потому что Пан уже был мертв. В результате исчезновения всей мифологии человечества образовалась пустота, которая задохнулась бы, как вакуум, если бы не была заполнена теологией. Но на данный момент суть в том, что мифология в любом случае не могла бы существовать как теология. Теология - это мысль, согласны мы с ней или нет. О мифологии никогда не думали, и никто не мог по-настоящему согласиться с ней или не согласиться с ней. Это было просто навеянное очарованием настроение, и когда оно исчезало, его уже нельзя было восстановить. Люди не только перестали верить в богов, но и осознали, что никогда в них не верили. Они пели им хвалу; они танцевали вокруг их алтарей. Они играли на флейте, они валяли дурака.

Так на Аркадию опустились сумерки, и последние звуки свирели печально донеслись из буковой рощи. В великих стихотворениях Вергилиана уже есть что-то от печали; но любовь и домашние боги задерживаются в прекрасных строках, подобных той, которую мистер Беллок принял за проверку понимания: *incipere, parve puer, risu cognoscere matrem*. Но у них, как и у нас, сама человеческая семья начала распадаться из-за рабской организации и управления городами. Городская чернь стала просвещенной; то есть она утратила ментальную энергию, которая могла создавать мифы. По всему кольцу средиземноморских городов люди оплакивали потерю богов и утешались гладиаторами. А тем временем нечто подобное происходило с той интеллектуальной аристократией древности, которая разгулиwała и говорила на свободе еще со времен Сократа и Пифагора. Они начали сообщать миру о том, что ходят по кругу и говорят одно и то же снова и снова. Философия стала превращаться в шутку; она также стала надоедать. Это неестественное упрощение всего в ту или иную систему, которое мы отметили как ошибку философа, сразу выявило свою окончательность и тщетность. Все было добродетелью, или все было счастьем, или все было судьбой, или все было хорошо, или все было плохо; в любом случае, все было всем, и больше нечего было сказать; вот они и сказали это. Повсюду мудрецы выродились в софистов, то есть в наемных риториков или задающих загадки. Одним из симптомов этого является то, что мудрец начинает превращаться не только в

софиста, но и в мага. Нотка восточного оккультизма очень ценится в лучших домах. Поскольку философ уже является светским артистом, он с таким же успехом может быть и фокусником.

Многие современные исследователи настаивали на малости этого средиземноморского мира и на более широких горизонтах, которые могли бы его ожидать с открытием других континентов. Но это иллюзия; одна из многих иллюзий материализма. Пределы, которых язычество достигло в Европе, были пределами человеческого существования; в лучшем случае оно достигало таких же пределов только в других местах. Римским стоикам не нужны были китайцы, чтобы учить их стоицизму. Пифагорейцам не нужны были индусы, чтобы учить их о повторении, или простой жизни, или красоте вегетарианства. В той мере, в какой они могли получить эти вещи с Востока, они уже получили их с Востока в избытке. Синкретисты были так же убеждены, как и теософы, что все религии на самом деле одинаковы. И как еще они могли расширить философию, просто расширив географию? Вряд ли можно предложить, чтобы они переняли более чистую религию у ацтеков или сидели у ног инков Перу. Весь остальной мир представлял собой хаос варварства. Важно признать, что Римская империя была признана высшим достижением человеческой расы, а также самым обширным. Ужасная тайна, казалось, была начертана непонятными иероглифами на этих могучих сооружениях из мрамора и камня, на этих колоссальных амфитеатрах и акведуках. Человек больше ничего не мог сделать.

Ибо это была не весть, начертанная на Вавилонской стене, о том, что один царь был найден нуждающимся или его единственное царство отдано чужаку. Это были не такие хорошие новости, как новости о вторжении и завоевании. Не осталось ничего, что могло бы покорить Рим; но также не осталось ничего, что могло бы улучшить его. Это было самое сильное, что слабело. Это было лучшее, что могло обернуться плохо. Необходимо снова и снова настаивать на том, что многие цивилизации встретились в одной цивилизации Средиземного моря; что она уже была универсальной с черствой и стерильной универсальностью. Народы объединили свои ресурсы, и все равно их было недостаточно. Империи вступили в партнерские отношения, но все равно были банкротами. Ни один философ, который был бы по-настоящему философичен, не мог думать ни о чем, кроме того, что в этом центральном море мировая волна достигла своего пика и, казалось, касалась звезд. Но волна уже пошла на убыль, ибо это была всего лишь мировая волна.

Та мифология и та философия, в рамках которых язычество уже анализировалось, были, таким образом, истощены в буквальном смысле до дна. Если с умножением магии третий отдел, который мы называли демонами, становился еще более активным, то это никогда не было ничем иным, как разрушением. Остается только четвертый элемент, или, скорее, первый; тот, который был в некотором смысле забыт, потому что он был первым. Я имею в виду первичное и всепоглощающее, но неосязаемое впечатление, что вселенная, в конце концов, имеет одно происхождение и одну цель; и поскольку у нее есть цель, у нее должен быть автор. Что стало с этой великой истиной на задворках человеческих умов в настоящее время, возможно, определить труднее. Некоторые из стоиков, несомненно, видели это все более и более ясно по мере того, как облака мифологии рассеивались; и великие люди среди них многое сделали, даже до последнего, чтобы заложить основы концепции морального единства мира. Евреи все еще ревниво хранили свою тайную уверенность в этом за высокими заборами исключительности; и все же для общества и ситуации чрезвычайно характерно, что некоторые модные фигуры, особенно светские дамы, действительно приняли иудаизм. Но в случае многих других, я полагаю, в этот момент возникло новое отрицание. Атеизм стал действительно

возможным в то ненормальное время; ибо атеизм - это ненормальность. Это не просто отрицание догмы. Это изменение подсознательного предположения в душе; ощущение того, что в мире, который она видит, есть смысл и направление. Лукреций, первый эволюционист, попытавшийся заменить Бога Эволюцией, уже продемонстрировал людям свой танец сверкающих атомов, с помощью которого он представлял космос созданным хаосом. Но не его сильная поэзия и не его печальная философия, как мне кажется, сделали возможным для людей такое видение. Это было что-то вроде чувства бессилия и отчаяния, с которым люди тщетно потрясали кулаками, обращаясь к звездам, видя, как все лучшие достижения человечества медленно и беспомощно погружаются в болото. Они легко могли поверить, что даже само творение было не творением, а вечным падением, когда увидели, что самое тяжелое и достойное из всех человеческих творений падает под собственным весом. Они могли вообразить, что все звезды - это падающие звезды; и что сами колонны их собственных торжественных портиков были согнуты под действием своего рода постепенного Наводнения. Для людей в таком настроении была причина для атеизма, которая в некотором смысле разумна. Мифология могла бы поблукнуть, а философия - застыть; но если бы за этими вещами стояла реальность, то, несомненно, эта реальность могла бы поддерживать вещи, когда они тонули. Бога не было; если бы Бог существовал, несомненно, это был тот самый момент, когда Он пришел бы в движение и спас мир.

Жизнь великой цивилизации протекала с унылой промышленностью и даже с унылыми празднествами. Это был конец света, и хуже всего было то, что он никогда не должен был закончиться. Был достигнут удобный компромисс между всеми многочисленными мифами и религиями Империи; каждая группа должна была свободно поклоняться и просто выразить своего рода официальную благодарность терпимому императору, бросив ему немного благовоний под его официальным титулом Divus. Естественно, с этим не было никаких трудностей; или, скорее, прошло много времени, прежде чем мир осознал, что где-либо когда-либо существовали хотя бы тривиальные трудности. Члены какой-то восточной секты, или тайного общества, или чего-то еще, казалось, устроили где-то сцену; никто не мог себе представить, почему. Инцидент повторился раз или два и начал вызывать раздражение, непропорциональное его незначительности. Это было не совсем то, что говорили эти провинциалы; хотя, конечно, это звучало достаточно странно. Казалось, они говорили, что Бог умер и что они сами видели, как он умирал. Возможно, это была одна из многих маний, порожденных отчаянием эпохи; только они не казались особенно отчаянными. Они кажутся совершенно неестественно радостными по этому поводу и объясняют это тем, что смерть Бога позволила им съесть его и выпить его кровь. Согласно другим рассказам, Бог все-таки был не совсем мертв; в смятенном воображении пронеслась своего рода фантастическая процессия похорон Бога, во время которой солнце почернело, но которая закончилась тем, что мертвое всемогущество вырвалось из могилы и снова взошло подобно солнцу. Но это была не та странная история, на которую кто-то обратил особое внимание; люди в том мире видели достаточно странных религий, чтобы заполнить сумасшедший дом. Это было что-то в тоне безумцев и их типе построения. Это была небольшая компания варваров, рабов, бедных и неважных людей; но их формирование было военным; они двигались вместе и были очень категоричны в отношении того, кто и что на самом деле было частью их маленькой системы; и то, что они говорили, каким бы мягким оно ни было, звенело, как железо. Люди, привыкшие ко многим мифологиям и моральным устоям, не могли провести никакого анализа этой тайны, кроме любопытной догадки, что они имели в виду то, что говорили. Все попытки заставить их

увидеть разум в совершенно простом вопросе со статуей Императора, казалось, были обращены к глухим людям. Это было похоже на то, как если бы на землю упал новый метеоритный металл; на ощупь вещество было иным. Тем, кто прикасался к своему основанию, казалось, что они наткнулись на камень.

Со странной быстротой, подобной переменам во сне, казалось, что пропорции вещей меняются в их присутствии. Прежде чем большинство людей осознало, что произошло, эти несколько человек были ощутимо рядом. Они были достаточно важны, чтобы их игнорировали. Люди внезапно замолчали и чопорно проходили мимо них. Мы видим новую сцену, в которой мир отдернул свои юбки от этих мужчин и женщин, и они стоят в центре огромного пространства, как прокаженные. Сцена снова меняется, и огромное пространство, на котором они стоят, со всех сторон окружено облаком свидетелей, бесконечными террасами, полными лиц, пристально смотрящих на них сверху вниз; ибо с ними происходят странные вещи. Были изобретены новые пытки для безумцев, принесших благую весть. Это печальное и усталое общество, кажется, почти обрело новую энергию в своем первом религиозном преследовании. Никто еще не знает очень ясно, почему этот ровный мир таким образом потерял равновесие по отношению к людям в своей среде; но они стоят неестественно неподвижно, в то время как арена и весь мир, кажется, вращаются вокруг них. И в тот темный час над ними засиял свет, который никогда не был затемнен; белый огонь, цепляющийся за эту группу подобно неземному фосфоресцированию, прокладывая свой путь сквозь сумерки истории и сводящий на нет все попытки спутать ее с туманами мифологии и теории; тот луч света или молния, которым сам мир поразил, изолировал и увенчал ее; которым ее собственные враги сделали ее более прославленной, а ее собственные критики - более необъяснимой; ореол ненависти вокруг Церкви Божьей.

ЧАСТЬ II

О ЧЕЛОВЕКЕ ПО ИМЕНИ ХРИСТОС

ГЛАВА I

БОГ В ПЕЩЕРЕ

Этот очерк истории человека начался в пещере; пещере, которую популярная наука связывает с пещерным человеком и в которой практическими исследованиями действительно были обнаружены архаичные рисунки животных. Вторая половина истории человечества, которая была подобна новому сотворению мира, также начинается в пещере. Есть даже тень такой фантазии в том факте, что животные снова присутствовали; ибо это была пещера, используемая как конюшня горцами с возвышенностей около Вифлеема; которые до сих пор загоняют свой скот в такие норы и каверны по ночам. Именно здесь бездомная пара забралась под землю со

скотом, когда двери переполненного караван-сарая захлопнулись у них перед носом; и именно здесь, под самыми ногами прохожих, в подвале под самым полом мира, родился Иисус Христос. Но в том втором творении действительно было что-то символическое в корнях первобытной скалы или рогах доисторического стада. Бог тоже был Пещерным Человеком и тоже рисовал странные формы существ, причудливо раскрашенных, на стене мира; но рисунки, которые он создал, ожили.

Масса легенд и литературы, которая растет и никогда не закончится, повторяет и вносит изменения в этот единственный парадокс; что руки, сотворившие солнце и звезды, были слишком малы, чтобы дотянуться до огромных голов крупного рогатого скота. На этом парадоксе, мы могли бы почти сказать, на этой шутке, основана вся литература нашей веры. В этом, по крайней мере, есть что-то вроде шутки, что научный критик не может увидеть. Он старательно объясняет трудность, которую мы всегда вызывающе и почти насмешливо преувеличивали; и мягко осуждает как невероятное то, что мы почти безумно превозносим как невероятное; как нечто, что было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой, за исключением того, что это правда. Когда этот контраст между космическим творением и маленьким местным младенчеством повторялся, подчеркивался, подчеркивался, ликовал, воспевался, кричал, ревел, чтобы не сказать выл, в сотнях тысяч гимнов, колядок, рифм, ритуалов, картинок, стихотворений и популярных проповедей, можно предположить, что нам вряд ли нужен критик более высокого уровня, чтобы привлечь наше внимание к чему-то немного странному в этом; особенно к такому, которому, кажется, требуется много времени, чтобы понять шутку, даже его собственную. Но об этом контрасте и сочетании идей здесь можно сказать кое-что, потому что это имеет отношение ко всему тезису этой книги. Современный критик, о котором я говорю, как правило, находится под большим впечатлением от важности образования в жизни и важности психологии в образовании. Такой человек никогда не устанет повторять нам, что первое впечатление определяет характер по закону причинности; и он будет очень нервничать, если зрительное восприятие ребенка будет отравлено неправильными цветами на голливуде или его нервная система преждевременно потрясена какофонией погремушки. И все же он сочтет нас очень недалекими, если мы скажем, что именно поэтому на самом деле есть разница между воспитанием как христианина и воспитанием как еврея, мусульманина или атеиста. Разница в том, что каждый ребенок-католик узнал по картинкам, и даже каждый ребенок-протестант из рассказов, об этом невероятном сочетании противоположных идей как об одном из самых первых впечатлений в своем сознании. Это не просто теологическое различие. Это психологическое различие, которое может пережить любые теологии. Оно действительно, как любят говорить о чем угодно ученые такого рода, неизлечимо. У любого агностика или атеиста, чье детство знавало настоящее Рождество, впоследствии, нравится ему это или нет, возникает ассоциация в его сознании между двумя идеями, которые большая часть человечества, должно быть, считает далекими друг от друга; идеей младенца и идеей неведомой силы, поддерживающей звезды. Его инстинкты и воображение все еще могут связать их, когда его разум больше не видит необходимости в этой связи; для него всегда будет какой-то привкус религии в простом изображении матери и младенца; какой-то намек на милосердие и смягчение в простом упоминании ужасного имени Бога. Но эти две идеи не сочетаются естественным образом или обязательно. Они не обязательно сочетались бы для древнего грека или китайца, даже для Аристотеля или Конфуция. Связать Бога с младенцем не более неизбежно, чем связать гравитацию с котенком. Это было создано в наших умах к Рождеству, потому что мы христиане; потому что мы психологические христиане, даже если мы не теологи.

Другими словами, это сочетание идей решительно, как часто оспаривается, изменило природу человека. На самом деле есть разница между человеком, который это знает, и человеком, который этого не знает. Возможно, это не разница в моральной ценности, поскольку мусульманин или еврей могут быть достойнее в зависимости от своего мировоззрения; но это очевидный факт пересечения двух конкретных светил, соединения двух звезд в нашем конкретном гороскопе. Всомогущество и бессилие, или божественность и младенчество, определенно составляют своего рода эпиграмму, которую миллион повторений не может превратить в банальность. Вполне разумно назвать ее уникальной. Вифлеем - это, безусловно, место, где сходятся крайности.

Здесь начинается, нет необходимости говорить, еще одно мощное влияние на гуманизацию христианского мира. Если бы мир хотел того, что называется неконфликтным аспектом христианства, он, вероятно, выбрал бы Рождество. Тем не менее, очевидно, что это связано с тем, что считается спорным аспектом (я никогда, ни на каком этапе формирования своего мнения, не мог себе представить, почему); с уважением, оказываемым Пресвятой Деве. Когда я был мальчиком, более пуританское поколение возражало против статуи в приходской церкви, изображающей Богородицу с Младенцем. После долгих споров они пошли на компромисс, забрав Ребенка. Можно было бы подумать, что это было еще более искажено Мариолатрией, если только мать не считалась менее опасной, когда ее лишали своего рода оружия. Но практическая трудность также является притчей во языцех. Вы не можете отделить статую матери от статуи новорожденного ребенка. Вы не можете подвесить новорожденного ребенка в воздухе; на самом деле, у вас вообще не может быть статуи новорожденного ребенка. Точно так же вы не можете отбросить мысль о новорожденном ребенке в пустоту или думать о нем, не думая о его матери. Вы не можете навестить ребенка, не навестив мать; в обычной человеческой жизни вы не можете приблизиться к ребенку иначе, как через мать. Если мы вообще хотим думать о Христе в этом аспекте, то из этого вытекает другая идея, поскольку ей следуют в истории. Мы должны либо исключить Христа из Рождества, либо Рождество из Христа, либо мы должны признать, хотя бы так, как мы признаем это на старой картине, что эти святые головы расположены слишком близко друг к другу, чтобы нимбы не смешивались и не пересекались.

Можно было бы предположить, в несколько резкой форме, что в той складке или трещине в великих серых холмах ничего не произошло, за исключением того, что вся вселенная была вывернута наизнанку. Я имею в виду, что все глаза удивления и поклонения, которые были обращены наружу, к самому большому предмету, теперь были обращены внутрь, к самому маленькому. Само изображение наводит на мысль обо всем том многочисленном чуде сходящихся глаз, которое так характерно для цветных католических образов, таких как павлиний хвост. Но в каком-то смысле верно, что Бог, который был всего лишь окружностью, рассматривался как центр, а центр бесконечно мал. Это правда, что духовная спираль отныне работает внутрь, а не наружу, и в этом смысле является центростремительной, а не центробежной. Вера становится, во многих отношениях, религией мелочей. Но его традиции в искусстве, литературе и популярных баснях вполне достаточно подтверждают, как уже было сказано, этот особый парадокс божественного существа в колыбели. Возможно, они не так четко подчеркивали значение божественного существа в пещере. Как ни странно, действительно, традиция не очень четко подчеркивает пещеру. Общеизвестно, что сцена Вифлеема была представлена во всех возможных декорациях времени и страны, в ландшафте и архитектуре; и это совершенно счастливый и достойный восхищения факт, что люди

воспринимали ее совершенно иначе, в соответствии со своими индивидуальными традициями и вкусами. Но хотя все поняли, что это была конюшня, не так уж многие осознали, что это была пещера. Некоторые критики даже были настолько глупы, что предположили, что между конюшней и пещерой существовало какое-то противоречие; в этом случае они не могут много знать о пещерах или конюшнях в Палестине. Поскольку они видят различия, которых там нет, нет необходимости добавлять, что они не видят различий, которые там есть. Когда хорошо известный критик говорит, например, что Христос, родившийся в скалистой пещере, подобен Митре, живым возникшему из скалы, это звучит как пародия на сравнительное религиоведение. Существует такая вещь, как смысл истории, даже если это история в смысле лжи. И представление о герое, появляющемся, подобно Палладе, из мозга Зевса, взрослым и без матери, очевидно, прямо противоположно представлению о боге, рождающемся как обычный младенец и полностью зависящем от матери. Какой бы идеал мы ни предпочли, мы, несомненно, должны понимать, что это противоположные идеалы. Связывать их из-за того, что они оба содержат вещество, называемое камнем, так же глупо, как отождествлять наказание Потопом с крещением в Иордане, потому что они оба содержат вещество, называемое водой. Будь то миф или мистерия, Христос, очевидно, был задуман как рожденный в яме в скалах, прежде всего потому, что это обозначало положение отверженного и бездомного. Тем не менее, как я уже говорил, это правда, что пещера не использовалась так часто и так явно в качестве символа, как другие реалии, окружавшие первое Рождество.

И причина этого также связана с самой природой этого нового мира. В некотором смысле это была трудность нового измерения. Христос родился не только на уровне мира, но даже ниже этого мира. Первый акт божественной драмы разыгрывался не только на сцене, установленной не над зрителем, а на темной и занавешенной сцене, скрытой от посторонних глаз; и эту идею очень трудно выразить в большинстве способов художественного самовыражения. Это идея одновременных событий на разных уровнях жизни. Нечто подобное могло быть предпринято в более архаичном и декоративном средневековом искусстве. Но чем больше художники узнавали о реализме и перспективе, тем меньше они могли изобразить одновременно ангелов на небесах, пастухов на холмах и великолепие во тьме, которая была под холмами. Возможно, лучше всего это можно было бы передать с помощью характерного приема некоторых средневековых гильдий, когда они возили по улицам театр с тремя сценами, расположенными одна над другой, с раем над землей и адом под землей. Но в вифлеемской загадке именно небо находилось под землей.

Уже в одном этом есть привкус революции, как будто мир перевернулся с ног на голову. Было бы тщетно пытаться сказать что-либо адекватное или что-либо новое о том изменении, которое эта концепция божества, рожденного как изгой или даже вне закона, оказала на всю концепцию закона и его обязанностей по отношению к бедным и отверженным. Было бы глубокой правдой сказать, что после этого момента рабов уже не могло быть. Могли быть и оставались люди, носящие этот законный титул, пока Церковь не стала достаточно сильной, чтобы искоренить их, но языческого покоя в том простом преимуществе, которое дает государству сохранение его в рабском состоянии, больше быть не могло. Личности стали важны в том смысле, в каком не могут быть важны никакие инструменты. Человек не может быть средством достижения цели, во всяком случае, цели любого другого человека. Весь этот народный и братский элемент в этой истории был по традиции справедливо отнесен к эпизоду с Пастухами - оленями, которые

оказались лицом к лицу с князьями небес. Но есть еще один аспект народной стихии, представленный пастухами, который, возможно, не был так полно развит; и который здесь имеет более непосредственное отношение.

Люди из народа, такие как пастухи, люди народной традиции, повсюду были создателями мифологий. Именно они наиболее непосредственно, с наименьшим сдерживанием или холодом со стороны философии или порочных культов цивилизации, ощутили потребность, которую мы уже рассматривали; образы, которые были приключениями воображения; мифология, которая была своего рода поиском; заманчивые и дразнящие намеки на что-то получеловеческое в природе; немая значимость времен года и особых мест. Они лучше всех понимали, что душа пейзажа - это история, а душа истории - это личность. Но рационализм уже начал разрушать эти действительно иррациональные, хотя и наделенные воображением сокровища крестьянина; точно так же, как систематическое рабство изгнало крестьянина из дома. На все подобные крестьянства повсюду опускались сумерки разочарования в тот час, когда эти несколько человек обнаружили то, что искали. Повсюду Аркадия исчезала из леса. Пан был мертв, а пастухи разбежались, как овцы. И хотя ни один человек не знал этого, близился час, который должен был закончиться и свершиться всему сущему; и хотя ни один человек не слышал этого, над вздымающейся горной пустыней раздался один далекий крик на незнакомом языке. Пастухи нашли своего Пастуха.

И то, что они нашли, было похоже на то, что они искали. Население ошибалось во многих вещах; но они не были неправы, веря, что святые могут иметь обиталище и что божественности не обязательно пренебрегать пределами времени и пространства. И варвар, которому пришла в голову самая грубая фантазия о том, что солнце украдено и спрятано в шкатулке, или самый дикий миф о спасении бога, а его враг обманут камнем, был ближе к тайне пещеры и знал больше о мировом кризисе, чем все те в кольце городов Средиземноморья, которые довольствовались холодными абстракциями или космополитическими обобщениями; чем все те, кто вытягивал все более тонкие нити мысли из трансцендентализма Платона или ориентализма Пифагора. Место, которое нашли пастухи, не было академией или абстрактной республикой; это не было местом, где мифы аллегоризировались, или препарировались, или разъяснялись. Это было место сбывшихся мечтаний. С того часа в мире не было создано ни одной мифологии. Мифология - это поиск.

Мы все знаем, что популярное представление этой популярной истории во множестве пьес о чудесах и колядок придало пастухам костюм, язык и ландшафт отдельных английских и европейских провинций. Все мы знаем, что один пастух заговорит на сомersetском диалекте или по-другому расскажет о том, как гнал своих овец из Конвея в сторону Клайда. Большинство из нас к настоящему времени знают, насколько верна эта ошибка, насколько мудр, насколько артистичен, насколько глубоко христианский и католический этот анахронизм. Но те, кто видел это в этих сценах средневековой деревенской жизни, возможно, не видели этого в поэзии другого рода, которую иногда принято называть искусственной, а не художественной. Я боюсь, что многие современные критики увидят лишь поблекший классицизм в том факте, что такие люди, как Крэшоу и Херрик, представляли себе вифлеемских пастухов в образе пастухов Вергилия. И все же они были глубоко правы; и, превратив свою вифлеемскую пьесу в латинскую эклогу, они затронули одно из самых важных звеньев в истории человечества. Вергилий, как мы уже видели, действительно выступает за все то более здоровое язычество, которое ниспровергло безумное язычество человеческих жертвоприношений; но сам факт, что даже добродетели

Вергилия и здоровое язычество находились в неизлечимом упадке, является целой проблемой, решением которой является откровение пастухам. Если бы у мира когда-нибудь был шанс устать от демонизма, он мог бы исцелиться, просто придя в норму. Но если бы оно устало даже от того, чтобы быть в здоровом уме, что должно было произойти, кроме того, что произошло? Не будет ложью и представление о аркадском пастухе из Эклог как о радующемся тому, что произошло. Одна из Эклог даже была заявлена как пророчество о том, что действительно произошло. Но именно в тоне и случайной дикции великого поэта мы чувствуем потенциальное сочувствие к великому событию; и даже в их собственных человеческих фразах голоса виргилийских пастухов могли не раз нарушать нечто большее, чем нежность Италии.... *Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem...* Они могли бы найти в этом странном месте все лучшее, что было в последних традициях латинян, и нечто лучшее, чем деревянный идол, вечно стоящий как опора человеческой семьи, Домашний Бог. Но они и все другие мифологи имели бы право радоваться тому, что это событие оправдало не только мистицизм, но и материализм мифологии. У мифологии было много грехов, но она не была неправильной в том, что была такой же плотской, как Воплощение. Чем-то похожим на древний голос, который, как предполагалось, разносился по рощам, он мог снова воскликнуть: 'Мы видели, он видел нас, видимый бог'. Так что древние пастухи, возможно, танцевали, и их ноги были прекрасны на горах, радуясь философам. Но философы тоже слышали.

Это все еще странная история, хотя и старая, о том, как они пришли из восточных земель, увенчанные величием королей и окутанные чем-то вроде тайны магов. Та истина, которая является традицией, мудро запомнила их почти как неизвестные величины, такие же таинственные, как их таинственные и мелодичные имена: Мельхиор, Каспар, Бальтазар. Но вместе с ними пришел весь тот мир мудрости, который наблюдал за звездами в Халдее и солнцем в Персии; и мы не ошибемся, если увидим в них то же любопытство, которое движет всеми мудрецами. Они отстаивали бы один и тот же человеческий идеал, если бы их действительно звали Конфуций, или Пифагор, или Платон. Они были теми, кто искал не сказок, а правды о вещах; и поскольку их жажда правды сама по себе была жаждой Бога, они также получили свою награду. Но даже для того, чтобы понять эту награду, мы должны понять, что для философии, как и для мифологии, этой наградой было завершение незавершенного.

Такие ученые люди, несомненно, пришли бы, как пришли эти ученые люди, чтобы найти подтверждение во многом, что было истинным в их собственных традициях и правильным в их собственных рассуждениях. Конфуций нашел бы новую основу для семьи в самом перевороте Святого Семейства; Будда увидел бы новое отречение от звезд, а не от драгоценных камней, и от божественности, а не от царственности. Эти ученые люди все еще имели бы право сказать, или, скорее, новое право сказать, что в их старом учении была истина. Но, в конце концов, эти ученые люди пришли бы учиться. Они пришли бы к тому, чтобы дополнить свои концепции чем-то, чего они еще не представляли; даже к тому, чтобы уравновесить свою несовершенную вселенную чем-то, чему они, возможно, когда-то противоречили. Будда пришел бы из своего безличного рая, чтобы поклониться человеку. Конфуций пришел бы из своих храмов поклонения предкам, чтобы поклониться ребенку.

Мы должны с самого начала понять эту особенность нового космоса: что он был больше старого космоса. В этом смысле христианский мир больше, чем творение; каким творение было до Христа. Оно включало в себя то, чего там не было; оно также включало в себя то, что там было. Этот момент хорошо проиллюстрирован на этом примере китайского благочестия, но это было

бы верно и в отношении других языческих добродетелей или верований. Никто не может сомневаться в том, что разумное уважение к родителям является частью Евангелия, в котором сам Бог в детстве подчинялся земным родителям. Но другой смысл, в котором родители подчинялись ему, действительно вводит идею, которая не является конфуцианской. Младенец Христос не похож на младенца Конфуция; наш мистицизм представляет его бессмертным младенцем. Я не знаю, что бы Конфуций сделал с Бамбино, если бы оно ожило в его руках так же, как в руках святого Франциска. Но это верно по отношению ко всем другим религиям и философиям; это вызов Церкви. Церковь содержит то, чего нет в мире. Сама жизнь не обеспечивает так, как она это делает, все стороны жизни. То, что любая другая система узка и недостаточна по сравнению с этой; это не риторическое бахвальство; это реальный факт и реальная дилемма. Где Святое Дитя среди стойков и почитателей предков? Где Богоматерь мусульман, женщина, не созданная для мужчины и поставленная выше всех ангелов? Где святой Михаил из монахов Будды, всадник и мастер труб, охраняющий честь меча для каждого солдата? Что мог сделать святой Фома Аквинский с мифологией брахманизма, он, который изложил всю науку, рациональность и даже рационализм христианства? И все же, даже если мы сравним Аквината с Аристотелем, с другой стороны разума, мы обнаружим тот же смысл чего-то добавленного. Фома Аквинский мог понять наиболее логичные части Аристотеля; сомнительно, чтобы Аристотель мог понять самые мистические части Фомы Аквинского. Даже там, где мы вряд ли можем назвать христианина великим, мы вынуждены называть его великим. Но это так, к какой бы философии, ереси или современному движению мы ни обращались. Как бы обстояли дела у Франциска Трубадура среди кальвинистов или, если уж на то пошло, среди утилитаристов Манчестерской школы? И все же такие люди, как Боссюэ и Паскаль, могли быть такими же строгими и логичными, как любой кальвинист или утилитарист. Как бы жила святая Жанна д'Арк, женщина, призывающая мужчин к войне мечом, среди квакеров, духаборов или толстовской секты пацифистов? И все же множество католических святых потратили свою жизнь на проповедь мира и предотвращение войн. То же самое происходит со всеми современными попытками синкретизма. Они никогда не смогут создать что-то большее, чем Символ Веры, не упустив чего-то из виду. Я имею в виду опустить не что-то божественное, а что-то человеческое: флаг, или гостиницу, или рассказ мальчика о битве, или изгородь в конце поля. Теософы строят пантеон; но это только пантеон для пантеистов. Они называют Парламент Религий воссоединением всех народов; но это всего лишь воссоединение всех педантов. Однако именно такой пантеон был создан две тысячи лет назад на берегах Средиземного моря; и христианам было предложено установить изображение Иисуса рядом с изображением Юпитера, Митры, Осириса, Атиса или Амона. Именно отказ христиан стал поворотным моментом истории. Если бы христиане согласились, они и весь мир, несомненно, в гротескной, но точной метафоре, пошли бы ко дну. Все они были бы сведены к одной тепловатой жидкости в том огромном котле космополитического разложения, в котором уже таяли все остальные мифы и тайны. Это был ужасный побег. Никто не понимает природу Церкви или звенящую ноту символа веры, восходящего к древности, кто не осознает, что когда-то весь мир едва не погиб из-за широты взглядов и братства всех религий.

Здесь важно отметить, что Маги, которые выступают за мистицизм и философию, действительно воспринимаются как ищущие что-то новое и даже находящие что-то неожиданное. То напряженное ощущение кризиса, которое все еще присутствует в рождественской истории и даже в каждом праздновании Рождества, подчеркивает идею поиска и открытия. В данном случае это действительно научное открытие. Для других мистических фигур в пьесе о чуде, для

ангела и матери, пастухов и солдат Ирода, могут быть аспекты как более простые, так и более сверхъестественные, более элементарные или более эмоциональные. Но Мудрые Люди, должно быть, ищут мудрости; и для них также должен быть свет в интеллекте. И это свет: что католическое вероучение является католическим и что ничто другое не является католическим. Философия Церкви универсальна. Философия философов не была универсальной. Если бы Платон, Пифагор и Аристотель постояли хоть мгновение в свете, исходящем из этой маленькой пещеры, они бы поняли, что их собственный свет не был универсальным. На самом деле, далеко не факт, что они этого уже не знали. Философия, как и мифология, во многом носила характер поиска. Именно осознание этой истины придает фигурам Трех королей традиционное величие и таинственность; открытие того, что религия шире философии и что это самая широкая из религий, заключенная в этом узком пространстве. Маги пристально смотрели на странный пентакль с перевернутым человеческим треугольником; и они так и не закончили свои расчеты по этому поводу. Ибо парадокс той группы в пещере заключается в том, что, хотя наши эмоции по этому поводу по-детски просты, наши мысли о ней могут разветвляться с бесконечной сложностью. И мы никогда не сможем до конца разобраться даже в наших собственных представлениях о ребенке, который был отцом, и о матери, которая была ребенком.

Мы вполне могли бы удовлетвориться утверждением, что мифология пришла вместе с пастухами, а философия - с философами; и что им оставалось только объединиться в признании религии. Но был и третий элемент, который нельзя игнорировать, и который эта религия навсегда отказывается игнорировать, при любом праздновании или примирении. В начальных сценах драмы присутствовал тот Враг, который испортил легенды похотью и заморозил теории до атеизма, но который ответил на прямой вызов чем-то вроде того более прямого метода, который мы видели в сознательном культе демонов. Описывая это демонопоклонство, всепожирающее отвращение к невинности, проявленное в произведениях его колдовства, и самые бесчеловечные человеческие жертвоприношения, я меньше всего говорил о его косвенном и тайном проникновении в более здоровое язычество; о пропитывании мифологического воображения сексом; о подъеме имперской гордыни до безумия. Но в вифлеемской драме ощущается как косвенное, так и прямое влияние. Правитель, находящийся под римским сюзеренитетом, вероятно, экипированный и окруженный римским орнаментом и порядком, хотя сам восточной крови, кажется, в тот час почувствовал, как в нем зашевелился дух странных вещей. Все мы знаем историю о том, как Ирод, встревоженный какими-то слухами о таинственном сопернике, вспомнил о диком поступке капризных азиатских деспотов и приказал расправиться с подозрительными представителями нового поколения населения. Каждый знает эту историю, но, возможно, не каждый заметил ее место в истории странных религий людей. Не все осознали значение даже самого контраста с коринфскими колоннами и римской мостовой того завоеванного и внешне цивилизованного мира. Только когда цель в его темном духе начала проявляться и сиять в глазах идумеянина, провидец, возможно, увидел бы нечто вроде огромного серого призрака, заглянувшего ему через плечо; увидел бы позади себя, заполняющего купол ночи и парящего в последний раз над историей, то огромное и страшное лицо, которым был карфагенский Молох, ожидающий своей последней дани от правителя рас Сима. Демоны тоже на том первом рождественском празднике пировали по-своему.

Пока мы не осознаем присутствие этого Врага, мы упустим не только смысл христианства, но даже смысл Рождества. Рождество для нас в христианском мире стало чем-то единым, и в каком-то смысле даже простым. Но, как и все истины этой традиции, в другом смысле это очень сложная вещь. Его уникальная нота заключается в одновременном звучании многих нот:

смирения, веселья, благодарности, мистического страха, но также бдительности и драматизма. Это событие не только для миротворцев, но и для веселящихся; это не только индуистская мирная конференция, но и не только скандинавский зимний праздник. В этом также есть что-то вызывающее; что-то, что заставляет резкий звон колоколов в полночь звучать как грохот огромных пушек только что выигранного сражения. Все это неопишное явление, которое мы называем рождественской атмосферой, лишь витает в воздухе как нечто вроде затяжного аромата или рассеивающегося пара от ликующего взрыва, произошедшего в тот час на Иудейских холмах почти две тысячи лет назад. Но вкус по-прежнему безошибочен, и это что-то слишком тонкое или слишком уединенное, чтобы его можно было охватить словом "покой". По самой природе рассказа ликование в пещере было ликованием в крепости или логове разбойника; при правильном понимании не будет излишним легкомыслием сказать, что это было ликование в землянке. Верно не только то, что такая подземная комната была укрытием от врагов; и что враги уже прочесывали каменистую равнину, которая простиралась над ней подобно небу. Дело не только в том, что сами лошадиные копыта Ирода могли в этом смысле прогреметь подобно грому над поникшей головой Христа. Дело также в том, что в этом изображении есть истинная идея форпоста, пролома в скале и входа на вражескую территорию. В этом погребенном божестве есть идея *подорвать* мир; потрясти башни и дворцы снизу; подобно тому, как великий царь Ирод почувствовал это землетрясение под собой и покачнулся вместе со своим шатающимся дворцом.

Это, пожалуй, самая могущественная из тайн пещеры. Уже очевидно, что, хотя говорят, что люди искали ад под землей, в данном случае это скорее рай, который находится под землей. И далее в этой странной истории следует идея переворота небес. В этом парадокс всей ситуации; отныне высшее может действовать только снизу. Королевская власть может вернуться к своим владениям только путем своего рода восстания. Действительно, Церковь с самого начала, и, возможно, особенно в начале своего существования, была не столько княжеством, сколько революцией против князя мира. Это ощущение, что мир был завоеван великим узурпатором и находился в его власти, вызывало сильное сожаление или высмеивалось теми оптимистами, которые с легкостью отождествляют просветление. Но это было причиной всего того трепета неповиновения и прекрасной опасности, из-за которых хорошие новости казались действительно хорошими и новыми. На самом деле это было восстание против огромной бессознательной узурпации, и первоначально столь малоизвестное восстание. Олимп все еще занимал небо, подобно неподвижному облаку, принявшему множество величественных форм; философия все еще восседала на возвышенностях и даже на тронах царей, когда Христос родился в пещере, а христианство - в катакомбах.

В обоих случаях мы можем отметить один и тот же парадокс революции: ощущение чего-то презираемого и чего-то боящегося. Пещера в одном аспекте - это всего лишь дыра или угол, в который изгнанников сметают, как мусор; но в другом аспекте это тайник чего-то ценного, что тираны ищут, как сокровище. В каком-то смысле они там потому, что хозяин гостиницы даже не вспомнил бы о них, а в другом - потому, что король никогда не сможет их забыть. Мы уже отмечали, что этот парадокс проявлялся также в трактовке ранней Церкви. Это было важно, пока оставалось незначительным, и, конечно, пока это было все еще бессильно. Это было важно исключительно потому, что это было невыносимо; и в этом смысле верно сказать, что это было невыносимо, потому что это было нетерпимо. Это вызвало возмущение, потому что по-своему тихо и почти тайно оно объявило войну. Оно восстало из-под земли, чтобы разрушить небо и землю язычества. Оно не пыталось разрушить все это творение из золота и мрамора; но

оно созерцало мир без него. Оно осмелилось смотреть прямо сквозь него, как будто золото и мрамор были стеклом. Те, кто обвинял христиан в поджоге Рима с помощью головешек, были клеветниками; но они, по крайней мере, были гораздо ближе к природе христианства, чем те из современных людей, которые говорят нам, что христиане были своего рода этичным обществом, вяло принимавшим мученическую смерть за то, что говорили людям, что у них есть долг перед своими ближними, и их лишь слегка недолюбливали, потому что они были кроткими.

Таким образом, Ирод занял свое место в вифлеемском спектакле чудес, потому что он представляет угрозу для Воинствующей Церкви и с самого начала показывает, что она подвергается преследованиям и борется за свою жизнь. Для тех, кто считает это диссонансом, это диссонанс, который звучит одновременно с рождественским звоном колоколов. Для тех, кто думает, что идея Крестового похода портит идею Креста, мы можем только сказать, что для них идея Креста испорчена; идея Креста испорчена буквально в колыбели. Здесь нет цели спорить с ними об абстрактной этике боя; цель этого места - просто подвести итог сочетанию идей, составляющих христианскую и католическую идею, и отметить, что все они уже выкристаллизовались в первой рождественской истории. Это три различные и обычно противопоставляемые вещи, которые, тем не менее, являются одной вещью; но это единственное, что может сделать их едиными. Первый - это человеческий инстинкт к раю, который должен быть таким же буквальным и почти таким же локальным, как дом. Это идея, которую преследуют все поэты и язычники, создающие мифы; что определенное место должно быть святилищем бога или обителью блаженных; что волшебная страна - это земля; или что возвращение призрака должно быть воскрешением тела. Я здесь не рассуждаю об отказе рационализма удовлетворить эту потребность. Я только говорю, что если рационалисты откажутся удовлетворить ее, язычники не будут удовлетворены. Это присутствует в истории Вифлеема и Иерусалима так же, как это присутствует в истории Делоса и Дельфы; и так же, как это *не* присутствует во всей вселенной Лукреция или во всей вселенной Герберта Спенсера. Второй элемент - это философия, *более* крупная, чем другие философии; крупнее, чем у Лукреция, и бесконечно крупнее, чем у Герберта Спенсера. Она смотрит на мир через сотню окон, в то время как древний стоик или современный агностик смотрит только через одно. Он видит жизнь тысячами глаз, принадлежащих тысячам разных людей, в то время как другой - это всего лишь индивидуальная точка зрения стоика или агностика. У него есть что-то для любого настроения человека, он находит работу для всех типов людей, он понимает секреты психологии, он осознает глубины зла, он способен отличать реальные чудеса от нереальных и чудесных исключений, он тренирует себя в тактичности в трудных случаях, и все это с разнообразием, тонкостью и воображением в отношении разнообразия жизни, которое намного превосходит голые или беззаботные банальности большинства древних или современных моральных философий. Одним словом, в нем есть нечто большее; он находит в существовании больше поводов для размышлений; он получает больше от жизни. Масса этого материала о нашей многогранной жизни была добавлена со времен святого Фомы Аквинского. Но один только святой Фома Аквинский оказался бы ограниченным в мире Конфуция или Конта. И третий момент таков: хотя это достаточно локально для поэзии и шире, чем любая другая философия, это также вызов и борьба. Хотя она намеренно расширена, чтобы охватить все аспекты истины, она по-прежнему жестко противостоит всем видам заблуждений. Она заставляет всех людей сражаться за нее, она вооружается всеми видами оружия для борьбы, она расширяет свои знания о вещах, за которые борются и против которых проявляют

всяческое любопытство или сочувствие; но она никогда не забывает, что она борется. Он провозглашает мир на земле и никогда не забывает, почему на небесах была война.

Это триединство истин, символизируемое здесь тремя типами из старой рождественской сказки: пастухами, королями и тем другим королем, который воевал с детьми. Просто неверно говорить, что другие религии и философии являются в этом отношении его соперниками. Неверно говорить, что кто-то из них сочетает в себе эти характеры; неверно говорить, что кто-то из них притворяется, что объединяет их. Буддизм может претендовать на такую же мистичность; он даже не претендует на такую же воинственность. Ислам может претендовать на такую же воинственность; он даже не претендует на такую же метафизичность и утонченность. Конфуцианство может претендовать на удовлетворение потребности философов в порядке и разуме; оно даже не претендует на удовлетворение потребности мистиков в чуде, таинстве и освящении конкретных вещей. Есть много свидетельств этого присутствия духа, одновременно универсального и уникального. Здесь будет уместно указать на то, что является символом темы этой главы; что никакая другая история, никакая языческая легенда, философский анекдот или историческое событие на самом деле не воздействуют ни на кого из нас с таким особенным и даже острым впечатлением, которое производит на нас слово "Вифлеем". Никакое другое рождение бога или детство мудреца не кажется нам Рождеством или чем-то подобным Рождеству. Это либо слишком холодно, либо слишком легкомысленно, либо слишком формально и классически, либо слишком просто и дико, либо слишком оккультно и сложно. Ни один из нас, каковы бы ни были его мнения, никогда бы не пошел на такую сцену с чувством, что он возвращается домой. Он мог восхищаться ею, потому что она была поэтичной, или потому что она была философской, или по множеству других отдельных вещей; но не потому, что она была сама по себе. Правда в том, что влияние этой истории на природу человека носит довольно своеобразный и индивидуальный характер; по своей психологической сути она совсем не похожа на простую легенду или жизнь великого человека. Это не совсем в обычном смысле обращает наши умы к величию; к тем расширениям и преувеличениям человечности, которые превращаются в богов и героев даже при самом здоровом поклонении героям. Это точно не работает вовне, без приключений, по отношению к чудесам, которые можно найти на концах земли. Это скорее что-то, что удивляет нас сзади, из скрытой и личной части нашего существа; подобно тому, что иногда может застать нас врасплох в пафосе мелких предметов или слепой набожности бедных. Это скорее похоже на то, как если бы человек нашел внутреннюю комнату в самом сердце своего собственного дома, о которой он никогда не подозревал, и увидел свет изнутри. Как будто он нашел что-то в глубине своего собственного сердца, что привело его к добру. Он сделан не из того, что мир назвал бы прочными материалами; или, скорее, он сделан из материалов, сила которых в том крылатом легкомыслии, с которым они задевают нас и проходят мимо. Это все, что есть в нас, кроме кратковременной нежности, которая становится вечной; все это означает не более чем кратковременное смягчение, которое каким-то странным образом становится укреплением и успокоением; это оборванная речь и утраченное слово обретают уверенность и остаются неизменными; как чужие короли исчезают в далекой стране, и горы больше не издают звука от шагов пастухов; и только ночь и пещера лежат складкой за складкой над чем-то более человеческим, чем человечество.

ГЛАВА II

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЗАГАДКИ

Чтобы понять суть этой главы, необходимо вернуться к сути этой книги. Аргумент, который должен стать основой книги, относится к тому типу, который называется *доведением до абсурда*. Это предполагает, что результаты принятия рационалистического тезиса более иррациональны, чем наши; но чтобы доказать это, мы должны принять этот тезис. Таким образом, в первом разделе я часто обращался с человеком просто как с животным, чтобы показать, что эффект был более невозможным, чем если бы с ним обращались как с ангелом. В том смысле, в каком было необходимо относиться к человеку просто как к животному, необходимо относиться ко Христу просто как к человеку. Я должен отказаться от своих собственных убеждений, которые гораздо более позитивны, и принять это ограничение даже для того, чтобы устранить его. Я должен попытаться представить, что случилось бы с человеком, который действительно прочитал историю Христа как историю человека, и даже человека, о котором он никогда раньше не слышал. И я хочу отметить, что действительно беспристрастное прочтение такого рода привело бы, если не к немедленному убеждению, то, по крайней мере, к замешательству, из которого на самом деле нет выхода, кроме как в вере. По этой причине в эту главу я не привнесу ничего от духа моего собственного вероучения; я исключу саму манеру изложения и даже буквы, которые, по моему мнению, подходят для выступления от моего имени. Я говорю как воображаемый язычник, впервые честно вззирающий на евангельскую историю.

Сейчас совсем нелегко рассматривать Новый Завет как Новый Завет. Совсем нелегко воспринимать благую весть как новую. Как к добру, так и ко злу, знакомство наполняет нас предположениями и ассоциациями; и ни один человек нашей цивилизации, что бы он ни думал о нашей религии, действительно не может читать эту вещь так, как будто он никогда не слышал о ней раньше. Конечно, в любом случае совершенно неисторично говорить так, как если бы Новый Завет был аккуратно переплетенной книгой, упавшей с небес. Это просто выбор, сделанный авторитетом Церкви из массы раннехристианской литературы. Но помимо любого подобного вопроса, существует психологическая трудность в восприятии Нового Завета как нового. Существует психологическая трудность в том, чтобы видеть эти хорошо известные слова просто такими, как они есть, и не выходить за рамки того, что они по сути обозначают. И эта трудность, должно быть, действительно очень велика, поскольку результат этого очень любопытен. Результатом этого является то, что большинство современных критиков и самая актуальная критика, даже популярная, делает комментарии, прямо противоположные истине. Это настолько противоречит истине, что можно почти заподозрить, что они вообще никогда не читали Новый Завет.

Мы все сотни раз слышали, как люди говорят, ибо они, кажется, никогда не устанут это повторять, что Иисус Нового Завета действительно самый милосердный и гуманный человеколюбец, но что Церковь скрыла этот человеческий характер за отвратительными догмами и усилила его церковными ужасами, пока он не приобрел бесчеловечный характер. Осмелюсь повторить, это почти противоположно истине. Истина в том, что образ Христа в церквях почти полностью кроток и милосерден. Образ Христа в Евангелиях - это и многое другое. Фигура в Евангелиях действительно выражает словами почти душераздирающей красоты свою жалость к нашим разбитым сердцам. Но это далеко не единственные слова,

которые он произносит. Тем не менее, это почти единственные слова, которые Церковь в своих популярных образах когда-либо представляет как произносимые им. Этот популярный образ вдохновлен совершенно здравым народным инстинктом. Масса бедных сломлена, и масса людей бедна, и для массы человечества главное - нести убеждение в невероятном сострадании Бога. Но никто с открытыми глазами не может усомниться в том, что популярная церковная машина действительно стремится нести главным образом эту идею сострадания. Популярные образы во многом перекликаются с чувством 'Кроткого Иисуса, кроткого и незлобивого'. Это первое, что чувствует и критикует посторонний в Пьете или святилище Святого Сердца. Как я уже сказал, хотя искусства может быть недостаточно, я не уверен, что инстинкт неразумен. В любом случае есть что-то ужасающее, что-то, от чего кровь стынет в жилах, в идее иметь статую Христа в гневе. Есть что-то невыносимое даже для воображения в идее завернуть за угол улицы или выйти на рыночную площадь, чтобы встретить окаменевшую эту фигуру, когда она повернулась к поколению гадюк, или это лицо, когда оно смотрело в лицо лицемера. Следовательно, Церковь может быть разумно оправдана, если она обратит самое милосердное лицо или аспект к людям; но это, безусловно, самый милосердный аспект, к которому она обращается. И дело здесь в том, что это гораздо более конкретно и исключительно милосердно, чем любое впечатление, которое могло бы сложиться у человека, просто впервые читающего Новый Завет. Человек, просто принимающий слова истории такими, какие они есть, произвел бы совсем другое впечатление; впечатление, полное таинственности и, возможно, непоследовательности; но, конечно, не просто впечатление мягкости. Это было бы чрезвычайно интересно, но отчасти этот интерес состоял бы в том, что в нем многое оставалось бы недосказанным. Он полон внезапных жестов, очевидно, значимых, за исключением того, что мы едва ли знаем, что они означают; загадочного молчания; ироничных ответов. Вспышки гнева, подобные штормам над нашей атмосферой, по-видимому, поражают не совсем там, где мы должны их ожидать, а следуют какой-то своей собственной метеорологической карте, расположенной выше. Петр, которого представляет популярное церковное учение, совершенно справедливо является тем Петром, которому Христос сказал в прощении: 'Пасите агнцев моих'. Он не тот Петр, к которому Христос обратился, как к дьяволу, крича в своем неясном гневе: 'Отойди от меня, сатана'. Христос не испытывал ничего, кроме любви и жалости к Иерусалиму, который должен был убить его. Мы не знаем, какая странная духовная атмосфера или духовное озарение побудили его погрузить Вифсаиду в яму еще более глубокую, чем Содом. Я оставляю на данный момент в стороне все вопросы доктринальных выводов или толкований, ортодоксальных или иных; я просто представляю себе, какое впечатление произвело бы на разум человека, если бы он действительно сделал то, о чем всегда говорят эти критики; если бы он действительно прочитал Новый Завет без ссылки на ортодоксию и даже без ссылки на доктрину. Он обнаружил бы ряд вещей, которые гораздо меньше согласуются с нынешней неортодоксальностью, чем с нынешней ортодоксией. Он обнаружил бы, например, что если и существуют какие-либо описания, заслуживающие названия реалистичных, то это именно описания сверхъестественного. Если и есть какой-то аспект новозаветного Иисуса, в котором он, можно сказать, в высшей степени проявляет себя как практичный человек, то это аспект экзорциста. Нет ничего кроткого и незлобивого, нет ничего даже в обычном смысле мистического в тоне голоса, который говорит: "Замолчи и выйди из него". Это гораздо больше похоже на тон очень делового укротителя львов или решительного врача, имеющего дело с маньяком-убийцей. Но это лишь второстепенный вопрос ради иллюстрации; я сейчас не поднимаю эти противоречия, а рассматриваю случай с воображаемым человеком с Луны, для которого Новый Завет является чем-то новым.

Теперь первое, что следует отметить, это то, что если мы воспринимаем это просто как историю человека, то в некотором смысле это очень странная история. Я не имею здесь в виду его грандиозную и трагическую кульминацию или какие-либо последствия, связанные с триумфом в этой трагедии. Я не имею в виду то, что обычно называют элементом чуда; ибо в этом вопросе философии расходятся, и современные философии очень решительно колеблются. Действительно, можно сказать, что образованный англичанин наших дней отошел от старой моды, по которой он не верил бы ни в какие чудеса, если бы они не были древними, и принял новую моду, по которой он не будет верить ни в какие чудеса, если они не являются современными. Раньше он считал, что чудесные исцеления прекратились с первыми христианами, а теперь склонен подозревать, что они начались с первых христианских ученых. Но я имею в виду здесь скорее непостижимые и даже незамеченные части истории. В нем есть очень много вещей, которые никто бы не изобрел, потому что это вещи, которым никто никогда не находил особого применения; вещи, которые, если бы на них вообще обратили внимание, остались бы скорее загадками. Например, в жизни Христа существует длительный период молчания до тридцатилетнего возраста. Из всех периодов молчания это самое грандиозное и впечатляющее воображение. Но это не та вещь, которую кто-либо с особой вероятностью изобретет для того, чтобы что-то доказать; и никто, насколько я знаю, никогда не пытался доказать что-либо конкретное на основе этого. Это впечатляет, но впечатляет только как факт; в этом нет ничего особенно популярного или очевидного как в басне. Обычная тенденция поклонения героям и мифотворчества с гораздо большей вероятностью говорит прямо противоположное. Гораздо более вероятно сказать (как, я полагаю, говорят некоторые Евангелия, отвергнутые Церковью), что Иисус проявил божественную развитость и начал свою миссию в чудесным образом раннем возрасте. И действительно, есть что-то странное в мысли, что тот, кто из всего человечества меньше всего нуждался в подготовке, похоже, получил ее больше всего. Было ли это неким проявлением божественного смирения или некой истиной, тень которой мы видим в более длительной домашней опеке высших созданий земли, я не собираюсь спекулировать; я упоминаю это просто как пример того рода вещей, которые в любом случае дают повод для спекуляций, совершенно отличных от общепризнанных религиозных спекуляций. Вся история полна таких вещей. Это ни в коем случае не та история, до сути которой легко докопаться, как ее откровенно преподносят в печати. Это что угодно, только не то, о чем эти люди говорят как о простом Евангелии. Условно говоря, именно Евангелию присущ мистицизм, а Церкви - рационализм. Как я бы выразился, конечно, именно Евангелие является загадкой, а Церковь - ответом. Но каким бы ни был ответ, Евангелие в его нынешнем виде - это почти книга загадок.

Во-первых, человек, читающий евангельские изречения, не нашел бы в них банальностей. Если бы он хотя бы в самом уважительном тоне прочел большинство древних философов и современных моралистов, он бы оценил уникальную важность того, что он не находит банальностей. Это больше, чем можно сказать даже о Платоне. Это гораздо больше, чем можно сказать об Эпиктете, Сенеке, Марке Аврелии или Аполлонии Тианском. И это неизмеримо больше, чем можно сказать о большинстве моралистов-агностиков и проповедниках этических обществ с их песнями служения и их религией братства. Мораль большинства моралистов, древних и современных, была одним сплошным и отшлифованным водопадом банальностей, текущим вечно. Это, конечно, не было бы впечатлением воображаемого независимого аутсайдера, изучающего Новый Завет. Он не осознавал бы ничего более банального и, в некотором смысле, ничего более непрерывного, чем этот поток. Он нашел бы ряд странных

утверждений, которые могли бы звучать как утверждение о том, что он брат солнца и луны; ряд очень поразительных советов; ряд ошеломляющих упреков; ряд удивительно красивых историй. Он видел какие-то очень гигантские фигуры речи о невозможности вдеть нитку в иголку верблюду или о возможности сбросить гору в море. Он увидел бы ряд очень смелых упрощений жизненных трудностей; например, совет освещать всех безразлично, как это делает солнечный свет, или не беспокоиться о будущем больше, чем птицы. С другой стороны, он обнаружил бы некоторые отрывки, покрытые, по его мнению, почти непроницаемой тьмой, такие как мораль притчи о несправедливом управляющем. Некоторые из этих вещей могут показаться ему баснями, а некоторые - правдой; но ни одна из них не является прописной истиной. Например, он не нашел бы обычных банальностей в пользу мира. Он обнаружил бы несколько парадоксов в пользу мира. Он обнаружил бы несколько идеалов непротивления, которые, взятые в их нынешнем виде, были бы слишком мирными для любого пацифиста. В одном отрывке ему будет сказано относиться к грабителю *не* с пассивным сопротивлением, а скорее с позитивным и восторженным поощрением, если понимать эти термины буквально; осыпать подарками человека, который украл товары. Но он не нашел бы ни слова из всей той очевидной риторики против войны, которая заполнила бесчисленные книги, оды и речи; ни слова о порочности войны, о расточительности войны, об ужасающих масштабах бойни на войне и обо всем остальном знакомом безумии; на самом деле, вообще ни слова о войне. Нет ничего, что проливалось бы какой-то особый свет на отношение Христа к организованной войне, за исключением того, что он, по-видимому, очень любил римских солдат. Действительно, если говорить с той же внешней и человеческой точки зрения, то это еще одно затруднение: он, по-видимому, гораздо лучше ладил с римлянами, чем с евреями. Но здесь речь идет об определенном тоне, который можно оценить, просто прочитав определенный текст; и мы могли бы привести любое количество примеров этого.

Утверждение о том, что кроткие унаследуют землю, очень далеко от того, чтобы быть кротким утверждением. Я имею в виду, что это не кротость в обычном смысле слова - мягкая и умеренная и безобидная. Чтобы оправдать это, было бы необходимо углубиться очень глубоко в историю и предвидеть вещи, о которых тогда и не мечтали, а многие не осознали даже сейчас; например, способ, которым монахи-мистики вернули земли, потерянные практичными королями. Если это вообще было правдой, то только потому, что это было пророчество. Но, конечно, это не было правдой в смысле прописной истины. Благословение на кротких может показаться очень жестоким утверждением; в смысле совершения насилия над разумом и вероятностью. И с этим мы подходим к еще одному важному этапу рассуждений. Как пророчество, оно действительно исполнилось; но исполнилось лишь много времени спустя. Монастыри были самыми практичными и процветающими поместьями и экспериментами по восстановлению после варварского потопа; кроткие действительно унаследовали землю. Но в то время никто не мог знать ничего подобного - если только действительно не было того, кто знал. Нечто подобное можно сказать и о происшествии с Марфой и Марией, которое было истолковано ретроспективно и изнутри мистиками христианской созерцательной жизни. Но это вовсе не было очевидным взглядом на это; и большинству моралистов, древних и современных, можно было доверять в том, что они поспешат с очевидностью. Какие потоки непринужденного красноречия лились бы из них, чтобы подчеркнуть любое небольшое превосходство Марты; какие великолепные проповеди о Радости служения, Евангелии Труда и о том, что Мир стал лучше, чем мы его видели, и вообще обо всех десяти тысячах банальностей, которые можно произнести в пользу того, чтобы не утруждать себя, — людьми, которым не нужно утруждать

себя их произнесением. Если в Марии, мистике и дитя любви, Христос хранил семя чего-то более тонкого, кто мог понять это в то время? Никто другой не смог бы увидеть Клэр, Кэтрин и Терезу, сияющих над маленькой крышей Вифании. По-другому обстоит дело с той величественной угрозой о появлении в мире меча, способного разделять. Тогда никто не мог предположить, ни как это может быть выполнено, ни чем это может быть оправдано. Действительно, некоторые вольнодумцы все еще настолько просты, что попадают в ловушку и бывают шокированы столь намеренно вызывающей фразой. На самом деле они жалуются на парадокс за то, что он не является банальностью.

Но суть здесь в том, что если бы мы *могли* читать евангельские сообщения как нечто столь же новое, как газетные сообщения, они бы озадачили нас и, возможно, ужаснули гораздо *больше*, чем те же самые вещи, которые развивало историческое христианство. Например, Христос, явно намекая на евнухов при восточных дворах, сказал, что в царстве небесном будут евнухи. Если это не означает добровольного увлечения девственностью, то это могло бы означать только нечто гораздо более неестественное или грубое. Именно историческая религия очеловечивает его для нас благодаря опыту францисканцев или Сестер Милосердия. Простое утверждение, стоящее само по себе, вполне могло бы наводить на мысль о довольно бесчеловечной атмосфере; зловещем и нечеловеческом молчании азиатского гарема и дивана. Это всего лишь один пример из десятков; но мораль такова, что Евангельский Христос на самом деле может показаться более странным и ужасным, чем Христос Церкви.

Я останавливаюсь на темной, или ослепительной, или вызывающей, или таинственной стороне евангельских слов не потому, что у них явно не было более очевидной и популярной стороны, а потому, что это ответ на распространенную критику по жизненно важному вопросу. Вольнодумец часто говорит, что Иисус из Назарета был человеком своего времени, даже если он опережал свое время; и что мы не можем принять его этику как окончательную для человечества. Затем вольнодумец продолжает критиковать его этику, достаточно правдоподобно заявляя, что мужчины не могут подставлять другую щеку, или что они должны думать о завтрашнем дне, или что самоотречение слишком аскетично, или моногамия слишком сурова. Но zeloty и легионеры подставляли другую щеку не больше, чем мы, если уж на то пошло. Еврейские торговцы и римские сборщики налогов думали о завтрашнем дне не меньше нас, если не больше. Мы не можем притворяться, что отказываемся от морали прошлого в пользу морали, более подходящей для настоящего. Это, конечно, не мораль другого века, но она может принадлежать другому миру.

Короче говоря, мы можем сказать, что эти идеалы невозможны сами по себе. Чего мы точно не можем сказать, так это того, что они невозможны для нас. Они довольно заметно отмечены мистицизмом, который, если это своего рода безумие, всегда поражал бы людей одного и того же типа как сумасшедших. Возьмем, к примеру, случай с браком и отношениями полов. Вполне могло быть правдой, что галилейский учитель учил вещам, естественным для галилейской среды; но это не так. Разумно было бы ожидать, что человек во времена Тиберия выдвинул бы точку зрения, обусловленную временем Тиберия; но он этого не сделал. То, что он продвигал, было чем-то совсем другим; чем-то очень трудным; но сейчас это не более трудно, чем было тогда. Когда, например, Магомет пошел на свой полигамный компромисс, мы можем с полным основанием сказать, что это было обусловлено полигамным обществом. Когда он позволял мужчине иметь четырех жен, он действительно делал что-то соответствующее обстоятельствам, что могло бы быть менее подходящим для других обстоятельств. Никто не станет утверждать, что

четыре жены были подобны четырем ветрам, чему-то, что казалось бы частью порядка природы; никто не скажет, что цифра четыре была навеки начертана звездами на небе. Но никто также не скажет, что цифра четыре - непостижимый идеал; что разум мужчины не в силах сосчитать до четырех; или сосчитать количество своих жен и посмотреть, равняется ли оно четырем. Это практический компромисс, несущий в себе характер конкретного общества. Если бы Магомет родился в Эктоне в девятнадцатом веке, мы вполне можем усомниться в том, что он немедленно наполнил бы этот пригород гаремами по четыре жены в каждом. Поскольку он родился в Аравии в шестом веке, он действительно в своих супружеских отношениях намекал на условия Аравии в шестом веке. Но Христос в своем взгляде на брак ни в малейшей степени не напоминает условия Палестины в первом веке. Он вообще ничего не предлагает, кроме сакраментального взгляда на брак, развитого католической церковью много лет спустя. Тогда людям было так же трудно, как и сейчас. Тогда это было гораздо более загадочно, чем сейчас. Евреи, римляне и греки не верили и даже недостаточно понимали, чтобы не верить, мистическую идею о том, что мужчина и женщина стали одной сакраментальной субстанцией. Мы можем считать это невероятным или невозможным идеалом; но мы не можем считать это более невероятным или невозможным, чем думали бы они. Другими словами, что бы еще ни было правдой, неправдой является то, что противоречие было изменено временем. Что бы еще ни было правдой, категорически неверно, что идеи Иисуса из Назарета соответствовали его времени, но больше не подходят для нашего времени. Насколько точно они соответствовали его времени, возможно, будет показано в конце его рассказа.

Ту же истину можно сформулировать по-другому, сказав, что если рассматривать эту историю просто как человеческую и историческую, то удивительно, как мало в записанных словах Христа того, что вообще связывает его с его собственным временем. Я не имею в виду детали периода, о котором даже человек того времени знает, что он проходит. Я имею в виду основы, которые даже самый мудрый человек часто смутно принимает за вечные. Например, Аристотель был, пожалуй, самым мудрым и широко мыслящим человеком, который когда-либо жил. Он полностью основывался на фундаментальных принципах, которые, как было обычно установлено, остаются рациональными и незыблемыми при любых социальных и исторических изменениях. Тем не менее, он жил в мире, в котором считалось столь же естественным иметь рабов, как и иметь детей. И поэтому он позволил себе серьезно признать разницу между рабами и свободными людьми. Христос, как и Аристотель, жил в мире, который принимал рабство как должное. Он особо не осуждал рабство. Он основал движение, которое могло существовать в мире с рабством. Но он основал движение, которое могло существовать в мире без рабства. Он никогда не употреблял фраз, которые ставили бы его философию в зависимость даже от самого существования социального порядка, в котором он жил. Он говорил как человек, сознающий, что все эфемерно, включая то, что Аристотель считал вечным. К тому времени Римская империя превратилась просто в *orbis terrarum*, другое название мира. Но он никогда не ставил свою мораль в зависимость от существования Римской империи или даже от существования всего мира. "Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут".

Правда в том, что когда критики говорили о локальных ограничениях галилеянина, это всегда имело в виду локальные ограничения критиков. Несомненно, он верил в определенные вещи, в которые не верит одна конкретная современная секта материалистов. Но это не было чем-то особенно характерным для его времени. Было бы ближе к истине сказать, что отрицание их весьма характерно для нашего времени. Несомненно, было бы еще ближе к истине просто сказать, что определенное торжественное социальное значение для меньшинства, не верящего

в них, свойственно нашему времени. Он верил, например, в злых духов или в психическое исцеление телесных недугов, но не потому, что был галилеянином, родившимся при Августе. Абсурдно говорить, что человек верил во что-то, потому что он был галилеянином при Августе, в то время как он мог бы верить в то же самое, если бы был египтянином при Тутанхамоне или индийцем при Чингисхане. Но этим общим вопросом философии дьяволизма или божественных чудес я займусь в другом месте. Достаточно сказать, что материалисты должны доказывать невозможность чудес вопреки свидетельству всего человечества, а не вопреки предрассудкам провинциалов Северной Палестины времен первых римских императоров. Что они должны доказать в качестве настоящего аргумента, так это присутствие в Евангелиях этих конкретных предрассудков этих конкретных провинциалов. И, говоря по-человечески, удивительно, как мало они могут предъявить даже для того, чтобы начать это доказывать.

Так же обстоит дело и в данном случае с таинством брака. Мы можем не верить в таинства, как мы можем не верить в духов, но совершенно ясно, что Христос верил в это таинство по-своему, а не каким-либо нынешним способом. Он, конечно, не опирался в своих аргументах против развода ни на закон Моисея, ни на римское право, ни на обычаи палестинского народа. Тогда это показалось бы его критикам именно тем, чем кажется его критикам сейчас: произвольной и трансцендентальной догмой, берущейся ниоткуда, кроме как в том смысле, что она исходила от него. Я вовсе не собираюсь здесь защищать эту догму; дело здесь в том, что защищать ее сейчас так же легко, как было защищать ее тогда. Это идеал совершенно вне времени; трудный в любой период; невозможный ни в какой период. Другими словами, если кто-нибудь скажет, что это то, чего можно было бы ожидать от человека, разгуливающего в том месте в тот период, мы можем вполне справедливо ответить, что это гораздо *больше* похоже на то, что могло бы быть таинственным высказыванием существа, находящегося за пределами человека, если бы оно ходило живым среди людей.

Поэтому я утверждаю, что у человека, читающего Новый Завет откровенно и свежо, *не* сложилось бы впечатление о том, что сейчас часто подразумевается под человеческим Христом. Чисто человеческий Христос - это выдуманная фигура, результат искусственного отбора, подобно чисто эволюционному человеку. Более того, в одной и той же истории было найдено слишком много этих человеческих Христов, точно так же, как в одних и тех же историях было найдено слишком много ключей к мифологии. Три или четыре отдельные школы рационализма исследовали почву и дали три или четыре одинаково рациональных объяснения его жизни. Первое рациональное объяснение его жизни заключалось в том, что он никогда не жил. И это, в свою очередь, дало возможность для трех или четырех различных объяснений; например, что он был мифом о солнце, или мифом о кукурузе, или любым другим видом мифа, который также является мономанией. Затем идея о том, что он был божественным существом, которого не существовало, уступила место идее о том, что он был человеком, который действительно существовал. В моей юности было модно говорить, что он был просто учителем этики на манер эссеистов, которым, по-видимому, нечего было сказать такого, чего не могли бы сказать Гиллель или сотня других евреев; например, что быть добрым - это хорошо, а быть чистым - это способствует очищению. Потом кто-то сказал, что он безумец с мессианской манией. Затем другие сказали, что он действительно был оригинальным учителем, потому что его не заботило ничего, кроме социализма; или (как говорили другие) ни о чем, кроме пацифизма. Затем появился более мрачный научный персонаж, который сказал, что об Иисусе вообще никогда бы не услышали, если бы не его пророчества о конце света. Он был важен просто как миллениарий, подобный доктору Каммингу; и поднял панику в провинции, объявив

точную дату выхода the crack of doom . Среди других вариантов на ту же тему была теория о том, что он был духовным целителем и ничем иным; точка зрения, подразумеваемая христианской наукой, которая действительно должна излагать христианство без Распятия, чтобы объяснить исцеление матери жены Петра или дочери центуриона. Существует другая теория, которая полностью концентрируется на дьяволизме и том, что она назвала бы современным суеверием о бесноватых; как будто Христос, подобно молодому дьякону, принимающему свои первые заказы, дошел до экзорцизма и никогда не продвигался дальше. Каждое из этих объяснений само по себе кажется мне на редкость неадекватным; но взятые вместе, они действительно намекают на что-то из той самой тайны, которую они упускают. Несомненно, во Христе было что-то не только таинственное, но и многогранное, если из него можно вырезать так много меньших Христов. Если христианский ученый доволен им как духовным целителем, а христианский социалист доволен им как социальным реформатором, настолько доволен, что они даже не ожидают от него чего-то другого, то, похоже, он действительно проделал гораздо большую работу, чем они могли ожидать. И это, кажется, наводит на мысль, что в этих других таинственных атрибутах изгнания бесов или предсказания гибели может быть нечто большее, чем они воображают.

Прежде всего, не наткнется ли такой новый читатель Нового Завета на нечто такое, что поразило бы его гораздо больше, чем нас? Здесь я не раз пытался выполнить довольно невыполнимую задачу - повернуть время вспять и применить исторический метод; и в воображении смотреть вперед, на факты, вместо того чтобы возвращаться назад, через воспоминания. Итак, я представил себе чудовище, которым человек мог сначала показаться окружающей его природе. У нас был бы еще больший шок, если бы мы действительно представили природу Христа, названного в первый раз. Что мы должны чувствовать при первом же шепоте определенного предположения об определенном человеке? Конечно, не нам винить кого-либо, кто сочтет этот первый дикий шепот просто нечестивым и безумным. Напротив, споткнуться об эту скалу скандала - это первый шаг. Абсолютное недоверие к этой истине - гораздо более верная дань уважения, чем модернистская метафизика, которая считает ее всего лишь вопросом степени. Лучше было бы разодрать на себе одежды с громким криком против богохульства, подобно Каиафе на суде, или схватить этого человека как маньяка, одержимого дьяволами, такими как родственники и толпа, чем стоять и тупо обсуждать прекрасные оттенки пантеизма перед лицом столь катастрофического заявления. В любом простом человеке, исполненном чувствительности простоты, есть больше мудрости, которая удивляет, кто должен ожидать, что трава увянет, а птицы упадут замертво прямо в воздухе, когда прогуливающийся ученик плотника сказал спокойно и почти небрежно, как будто оглядываясь через плечо: "Прежде чем был Авраам, я есть".'

ГЛАВА III

САМАЯ СТРАННАЯ ИСТОРИЯ В МИРЕ

В последней главе я намеренно подчеркнул то, что сегодня кажется заброшенной стороной новозаветной истории, но, полагаю, никто не подумает, что это предназначено для того, чтобы затемнить ту сторону, которую действительно можно назвать человеческой. То, что Христос был и остается самым милосердным из судей и самым отзывчивым из друзей, является фактом, имеющим значительно большее значение в нашей собственной частной жизни, чем в чьих-либо

исторических спекуляциях. Но цель этой книги - указать на то, что нечто уникальное было утоплено в дешевых обобщениях; и для этой цели уместно настаивать на том, что даже самое универсальное было также и самым оригинальным. Например, мы могли бы взять тему, которая действительно соответствует современным настроениям, в отличие от недавно упомянутых аскетических призваний. Восторг детства - это то, что мы действительно понимаем; но тогда это ни в коем случае не было понято в таком смысле. Если бы нам нужен был пример оригинальности Евангелия, мы вряд ли могли бы взять более сильный или поразительный. Почти две тысячи лет спустя мы случайно оказываемся в настроении, которое действительно ощущает мистическое очарование ребенка; мы выражаем это в романах и сожалениях о детстве, в *"Питере Пэне"* или *"Детском саду стихов"*. И мы можем сказать о словах Христа с таким яростным антихристианином, как Суинберн:

"Ни одно знамение, которое когда-либо давалось
верным или неверующим глазам
, Не показывалось за расколотыми
облаками В Таком чистом раю.

Земных вероучений может быть семьдесят раз по семь
, И кровь осквернила каждое вероучение,
Но если таково царство небесное,
Значит, это действительно небеса".

Но этот рай не был ясен до тех пор, пока христианство постепенно не очистило его. Языческий мир, как таковой, не понял бы ничего подобного серьезному предположению о том, что ребенок выше или святее мужчины. Это могло бы показаться предположением, что головастики выше или святее лягушки. Для чисто рационалистического ума это звучало бы так же, как утверждение, что бутон должен быть красивее цветка или что незрелое яблоко должно быть лучше спелого. Другими словами, это современное чувство - полностью мистическое чувство. Оно такое же мистическое, как и культ девственности; фактически, это культ девственности. Но языческая древность имела гораздо большее представление о святости девы Марии, чем о святости младенца. По разным причинам мы стали сегодня преклоняться перед детьми; возможно, отчасти потому, что мы завидуем детям за то, что они все еще делают то, что раньше делали мужчины; например, играют в простые игры и наслаждаются сказками. Однако, помимо всего прочего, в нашем понимании детства есть много реальной и тонкой психологии; но если мы превратим это в современное открытие, мы должны еще раз признать, что исторический Иисус из Назарета уже открыл это на две тысячи лет раньше, чем следовало. Конечно, в окружающем мире не было ничего, что могло бы помочь ему в этом открытии. Здесь Христос действительно был человеком; но более человеческим, чем человек мог тогда быть. Питер Пэн принадлежит не миру Пэна, а миру Питера.

Даже в вопросе простого литературного стиля, если мы считаем себя достаточно отстраненными, чтобы взглянуть на него в таком свете, есть любопытное качество, которому, кажется, не отдал должное ни один критик. У него был, помимо прочего, необычный вид нагромождения башни на башню за счет использования *тем более*; создавая пагоду из

ступеней, подобную семи небесам. Я уже отмечал это почти перевернутое образное видение, которое рисовало невозможное покаяние Городов Равнины. Пожалуй, нет ничего более совершенного во всем языке или литературе, чем использование этих трех степеней в притче о полевых лилиях; в которой он, кажется, сначала берет в руку один маленький цветок и отмечает его простоту и даже бессилие; затем внезапно раскрывает его яркими красками во всех дворцах и павильонах, полных великого имени в национальной легенде и национальной славе; а затем, еще в третий раз перевернув, снова превращает его в ничто жестом, как бы отбрасывая прочь '... и если Бог так одевает траву, которой является сегодня, а завтра будет брошена в печь — насколько больше ... ' Это похоже на возведение хорошей Вавилонской башни с помощью белой магии в одно мгновение и движением руки; башня, внезапно вознесенная к небесам, на вершине которой видна вдалеке фигура человека, выше, чем мы себе представляли возможным; вознесенная на три бесконечности над всеми остальными вещами, по звездной лестнице легкой логики и стремительного воображения. Просто в литературном смысле это было бы большим шедевром, чем большинство шедевров в библиотеках; и все же кажется, что оно было произнесено почти наугад, в то время как мужчина мог бы сорвать цветок. Но и просто в литературном смысле это употребление сравнительного в нескольких степенях имеет свойство, которое, как мне кажется, намекает на гораздо более высокие вещи, чем современное предложение простого учения о пастырской или общинной этике. Ничто на самом деле так не указывает на тонкий и в истинном смысле превосходящий разум, как эта способность сравнивать низшее с высшим и все же это высшее с еще более высоким; способность мыслить на трех планах одновременно. Нет ничего, что так нуждалось бы в редчайшей мудрости, как увидеть, скажем, что гражданин выше раба и все же что душа бесконечно выше гражданина или города. Это ни в коем случае не та способность, которая обычно присуща этим упрощенцам Евангелия; тем, кто настаивает на том, что они называют простой моралью, а другие - сентиментальной моралью. Это совершенно не учитывается теми, кто довольствуется тем, что говорит всем сохранять мир. Напротив, есть очень яркий пример этого в очевидном несоответствии между словами Христа о мире и о мече. Именно эта сила понимает, что, хотя хороший мир лучше хорошей войны, даже хорошая война лучше плохого мира. Эти обширные сравнения нигде не встречаются так часто, как в Евангелиях; и для меня они предполагают нечто очень обширное. Таким образом, нечто одиночное и твердое, с дополнительным измерением глубины или высоты, может возвышаться над плоскими существами, живущими только на плоскости.

Это качество чего-то, что можно назвать только тонким и высшим, чего-то, что способно к дальновидности и даже к двойному смыслу, отмечено здесь не просто как противовес банальным преувеличениям дружелюбия и мягкого идеализма. Это также следует отметить в связи с более потрясающей истиной, затронутой в конце предыдущей главы. Ибо это самый последний признак, который обычно сочетается с простой манией величия; особенно с такой крутой и ошеломляющей манией величия, которая может быть связана с этим утверждением. Это качество, которое можно назвать только интеллектуальным различием, конечно, не является доказательством божественности. Но оно свидетельствует о вероятном отвращении к вульгарным и тщеславным претензиям на божественность. Человек такого сорта, если бы он был всего лишь человеком, был бы последним человеком в мире, который страдал бы от того опьянения одной идеей из ниоткуда в частности, которое является признаком самообмана сенсуалиста в религии. Этого даже нельзя избежать, отрицая, что Христос действительно заявлял об этом. Ни о каком таком человеке, ни о каком другом пророке или философе того же

интеллектуального уровня, было бы даже возможно притвориться, что это сделал он. Даже если бы Церковь ошибочно приняла его за истину, все равно было бы правдой, что никакая другая историческая традиция, кроме Церкви, никогда даже не допускала подобной ошибки. Мусульмане не понимали Магомета превратно и не считали его Аллахом. Евреи не истолковывали Моисея превратно и не отождествляли его с Иеговой. Почему было преувеличено только это утверждение, если только не было сделано только это? Даже если христианство было одной огромной вселенской ошибкой, оно все равно остается ошибкой столь же единичной, как и Воплощение.

Цель этих страниц - показать ложность некоторых расплывчатых и вульгарных предположений; и здесь мы имеем дело с одним из самых ложных. Повсюду витает своего рода представление о том, что все религии равны, потому что все религиозные основатели были соперниками; что все они борются за одну и ту же звездную корону. Это совершенно неверно. Притязания на эту корону или что-либо подобное этой короне на самом деле настолько редки, что являются уникальными. Магомет сделал это не больше, чем Михей или Малахия. Конфуций сделал этого не больше, чем Платон или Марк Аврелий. Будда никогда не говорил, что он Брами. Зороастр утверждал, что он Ормуз, не больше, чем Ариман. Истина в том, что в обычных случаях все обстоит именно так, как мы и должны ожидать, исходя из здравого смысла и, конечно же, из христианской философии. Все обстоит с точностью до наоборот. Обычно говорят, что чем величественнее человек, тем меньше вероятность того, что он предъявит самые большие претензии. За исключением уникального случая, который мы рассматриваем, единственный тип людей, которые когда-либо делали подобные заявления, - это очень маленькие человечки; скрытный или эгоцентричный мономаньяк. Никто не может представить себе Аристотеля, утверждающего, что он отец богов и людей, спустившийся с неба; хотя мы могли бы представить себе какого-нибудь безумного римского императора вроде Калигулы, заявляющего это за него или, что более вероятно, за себя. Никто не может представить себе, чтобы Шекспир говорил так, как если бы он был буквально божественным; хотя мы могли бы представить, что какой-нибудь сумасшедший американский чудаков нашел это как криптограмму в произведениях Шекспира или, предпочтительно, в своих собственных произведениях. То тут, то там можно встретить людей, которые делают это в высшей степени сверхчеловеческое заявление. Их можно найти в приютах для умалишенных; в камерах с обитыми войлоком стенами; возможно, в смиренных жилетах. Но что гораздо важнее, чем их простая материалистическая судьба в нашем очень материалистическом обществе, при очень грубых и неуклюжих законах о безумии, тип, который мы знаем как имеющий этот оттенок или склонный к нему, является болезненным и непропорциональным типом; узким, но опухшим и болезненным до уродства. Это довольно неудачная метафора, когда мы говорим о сумасшедшем как о чокнутом, потому что в каком-то смысле он недостаточно чокнутый. Он скорее стеснен, чем сломлен; в его голове недостаточно отверстий, чтобы проветрить ее. Эта невозможность впустить дневной свет в иллюзию иногда прикрывает иллюзию божественности. Это можно найти не среди пророков, мудрецов и основателей религий, а только среди низкой группы сумасшедших. Но именно здесь спор становится чрезвычайно интересным; потому что аргумент доказывает слишком многое. Ибо никто не предполагает, что Иисус из Назарета был *таким* человеком. Ни один современный критик в здравом уме не подумает, что проповедник Нагорной проповеди был ужасным слабоумным идиотом, который мог бы рисовать звезды на стенах камеры. Ни один атеист или богохульник не верит, что автор Притчи о Блудном сыне был чудовищем с одной безумной идеей, подобным одноглазому циклопу. При любой возможной исторической критике он

должен быть поставлен выше по шкале человеческих существ. И все же, по всей аналогии, мы действительно должны поместить его туда или же на самое высокое место из всех.

На самом деле, те, кто действительно может отнестись к этому (как я гипотетически это воспринимаю) довольно сухо и отстраненно, сталкиваются здесь с самой любопытной человеческой проблемой. Это настолько чрезвычайно интересно, рассматриваемое как человеческая проблема, что по духу, так сказать, совершенно бескорыстно, что я хотел бы, чтобы кто-нибудь из них превратил эту сложную человеческую проблему во что-то вроде понятного человеческого портрета. Если Христос был просто человеческим персонажем, то он действительно был в высшей степени сложным и противоречивым человеческим персонажем. Ибо он сочетал в себе именно те две вещи, которые лежат на двух крайностях человеческого разнообразия. Он был именно тем, кем никогда не бывает человек с манией: он был мудрым; он был хорошим судьей. То, что он говорил, всегда было неожиданным; но это всегда было неожиданно великодушно и часто неожиданно умеренно. Возьмем, к примеру, смысл притчи о плевелах и пшенице. В ней есть качество, объединяющее здравомыслие и утонченность. В нем нет простоты сумасшедшего. В нем нет даже простоты фанатика. Это мог бы сказать философ столетней давности, в конце столетия утопий. Ничто не может быть менее похоже на это качество видения за пределами очевидных вещей, чем состояние эгоиста с единственным чувствительным местом в его мозгу. Я действительно не вижу, как эти два персонажа могли бы быть убедительно объединены, за исключением того удивительного способа, которым их объединяет кредо. Ибо до тех пор, пока мы не достигнем полного принятия факта как факта, каким бы чудесным он ни был, все простые приближения к нему на самом деле все дальше и дальше удаляются от него. Божественность достаточно велика, чтобы быть божественной; она достаточно велика, чтобы называть себя божественной. Но по мере того, как человечество становится все более великим, у него становится все меньше и меньше шансов сделать это. Бог есть Бог, как говорят мусульмане; но великий человек знает, что он не Бог, и чем он больше, тем лучше он это знает. В этом парадокс; все, что просто приближается к этой точке, просто удаляется от нее. Сократ, мудрейший человек, знает, что он ничего не знает. Сумасшедший может думать, что он всеведущ, а дурак может говорить так, как если бы он был всеведущим. Но Христос в другом смысле всеведущ, если он не только знает, но и знает, что он знает.

Таким образом, даже с чисто человеческой и симпатичной стороны, Иисус Нового Завета, как мне кажется, во многих отношениях несет в себе нотки чего-то сверхчеловеческого, то есть чего-то человеческого и больше, чем просто человек. Но есть еще одно качество, пронизывающее все его учения, которым, как мне кажется, пренебрегают в большинстве современных разговоров о них как об учениях; и это настойчивое предположение, что на самом деле он пришел не для того, чтобы учить. Если в летописи и есть какой-то инцидент, который затрагивает меня лично как великого и прославленного человека, то это случай с подачей вина на свадебный пир. Это действительно по-человечески в том смысле, в каком целую толпу педантов, имеющих вид человеческих существ, вряд ли можно назвать людьми. Это возвышается над всеми высшими личностями. Это так же человечно, как Херрик, и демократично, как Диккенс. Но даже в этой истории есть кое-что еще, что не до конца объяснено; и в некотором смысле здесь очень уместно. Я имею в виду первое колебание, не на каком-либо основании, касающемся природы чуда, а на том, уместно ли вообще творить какие-либо чудеса, по крайней мере на данном этапе: 'Мое время еще не пришло'. Что это значило? По крайней мере, это определенно означало общий план или цель в сознании, с которой

определенные вещи соответствовали или не соответствовали. И если мы оставим в стороне этот единственный стратегический план, мы упустим не только суть рассказа, но и саму историю.

Мы часто слышим об Иисусе из Назарета как о странствующем учителе; и в этом взгляде есть жизненная правда, поскольку он подчеркивает отношение к роскоши и условностям, которое большинство уважаемых людей все равно сочли бы отношением бродяги. Это выражено в его собственном великом высказывании о лисьих норах и птичьих гнездах, и, как и многие из его великих высказываний, оно ощущается менее сильным, чем есть на самом деле, из-за непонимания того великого парадокса, с помощью которого он говорил о своей собственной человечности как о чем-то коллективном и репрезентативном человеческом; называя себя просто Сыном Человеческим; то есть, по сути, называя себя просто Человеком. Вполне уместно, что Новый Человек или Второй Адам повторяет таким звонким голосом и с таким захватывающим жестом великий факт, который был первым в оригинальной истории: что человек отличается от животных всем, даже недостатками; что он в некотором смысле менее нормальный и даже менее родной; чужак на земле. Уместно говорить о его скитаниях в этом смысле и в том смысле, что он разделял блуждающую жизнь самого бездомного и безнадёжного из бедняков. Несомненно, хорошо бы помнить, что он совершенно наверняка был бы задержан полицией и почти наверняка был бы арестован полицией за отсутствие видимых средств к существованию. Ибо в нашем законе есть доля юмора или причудливости, о которой никогда не думали Нерон и Ирод; это реальное наказание бездомных за то, что они не спят дома.

Но в другом смысле слово "странствующий" применительно к его жизни немного вводит в заблуждение. На самом деле, очень многих языческих мудрецов и немало языческих софистов действительно можно было бы назвать странствующими учителями. В некоторых из них их бессвязные путешествия были не совсем лишены параллели в их бессвязных замечаниях. Аполлоний Тианский, который фигурировал в некоторых модных культах как своего рода идеальный философ, представлен бредущим до берегов Ганга и Эфиопии, более или менее постоянно разговаривающим. На самом деле существовала школа философов, называвшаяся перипатетиками; и большинство даже великих философов создают у нас смутное впечатление, что им почти нечего было делать, кроме как ходить и разговаривать. Великие беседы, которые дают нам представление о великих умах Сократа, Будды или даже Конфуция, часто кажутся частью нескончаемого пикника; и особенно, что важно, они не имеют ни начала, ни конца. Сократ действительно обнаружил, что разговор был прерван инцидентом с его казнью. Но весь смысл и вся особая заслуга позиции Сократа в том, что смерть была всего лишь перерывом и инцидентом. Мы упускаем из виду истинное моральное значение великого философа, если упускаем тот момент, что он смотрит на палача с невинным удивлением, и почти невинным раздражением, обнаружив, что кто-то настолько неразумен, чтобы прервать небольшую беседу ради выяснения истины. Он ищет истину, а не смерть. Смерть - всего лишь камень на дороге, о который он может споткнуться. Его работа в жизни - скитаться по дорогам мира и вечно говорить об истине. Будда, с другой стороны, привлек внимание одним жестом; это был жест отречения и, следовательно, в некотором смысле отрицания. Но одним драматическим отрицанием он перешел в мир отрицания, который не был драматичным; он был бы первым, кто настаивал бы на том, что это не драматично. И здесь мы снова упускаем из виду особую моральную важность великого мистика, если не видим различия; что вся его суть заключалась в том, что он сделал с драмой, которая состоит из желания и борьбы и, как правило, из поражения и разочарования. Он переходит в мир и живет для того, чтобы учить других, как

войти в него. Отныне его жизнь - это жизнь идеального философа; конечно, гораздо более идеального философа, чем Аполлоний Тианский; но все же это философ в том смысле, что его дело не делать что-либо, а скорее объяснять все; в его случае мы могли бы почти сказать, мягко и незаметно все взрывать. Ибо сообщения в основном разные. Христос сказал: "Ищите сначала царства, и все это приложится вам". Будда сказал: "Ищите сначала царства, и тогда вы не будете нуждаться ни в чем из этого".

Так вот, по сравнению с этими странниками жизнь Иисуса протекала быстро и прямолинейно, как удар молнии. Это было прежде всего драматично; прежде всего это заключалось в том, чтобы сделать то, что должно было быть сделано. Этого определенно не было бы сделано, если бы Иисус ходил по миру, ничего не делая, кроме как говоря правду. И даже внешнее его движение не следует описывать как блуждание в том смысле, что забывается, что это было путешествие. Именно здесь это было воплощением мифов, а не философий; это путешествие с определенной целью, подобно Ясону, отправляющемуся на поиски Золотого руна, или Геркулесу, собирающему золотые яблоки Гесперид. Золото, которое он искал, было смертью. Первое, что он собирался сделать, это умереть. Он собирался делать другие вещи, столь же определенные и объективные; мы могли бы почти сказать, столь же внешние и материальные. Но от начала до конца самым определенным фактом является то, что он умрет. Нет двух вещей, которые могли бы отличаться больше, чем смерть Сократа и смерть Христа. Мы должны чувствовать, что смерть Сократа была, по крайней мере, с точки зрения его друзей, глупой путаницей и судебной ошибкой, вмешавшейся в течение гуманной и ясной, я бы чуть не сказал легкой философии. Мы должны чувствовать, что Смерть была невестой Христа, как Бедность была невестой святого Франциска. Мы должны чувствовать, что его жизнь была в этом смысле своего рода любовным романом со смертью, романтикой стремления к высшей жертве. С момента, когда звезда взмывает, как праздничная ракета, до момента, когда солнце гаснет, как погребальный факел, вся история движется на крыльях со скоростью и направлением драмы, заканчиваясь действием, не поддающимся описанию.

Следовательно, история Христа - это история путешествия, почти в стиле военного марша; безусловно, в стиле поисков героя, движущегося к своему достижению или к своей гибели. Это история, которая начинается в Галилейском раю, пасторальной и мирной стране, действительно имеющей некоторый намек на Эдем, и постепенно поднимается по возвышенности в горы, которые ближе к грозovým облакам и звездам, как к горе Чистилища. Его можно встретить, как заблудившегося в незнакомых местах, или остановить по дороге для обсуждения или диспута; но его лицо обращено к горному городу. В этом смысл той великой кульминации, когда он поднялся на гребень холма, остановился на повороте дороги и внезапно громко заплакал, оплакивая Иерусалим. Какой-то легкий налет этого плача есть в каждом патристическом стихотворении; а если его нет, то патриотизм смердит пошлостью. В этом смысл волнующего и поразительного инцидента у ворот Храма, когда столы были сброшены со ступеней, как доски, а богатых торговцев выгнали с побоями; инцидент, который должен быть для пацифистов по меньшей мере такой же загадкой, каким любой парадокс о непротивлении может быть для любого из милитаристов. Я сравнивал "Поиски" с "путешествием Ясона", но мы никогда не должны забывать, что в более глубоком смысле это скорее можно сравнить с "путешествием Улисса". Это была не только романтика путешествия, но и романтика возвращения и конца узурпации власти. Ни один здоровый мальчик, читающий эту историю, не видит в разгроме итаканских женихов ничего, кроме счастливого конца. Но, несомненно, есть такие, кто смотрит на разгром еврейских торговцев и менял с тем утонченным отвращением,

которое никогда не перестает их волновать в присутствии насилия, и особенно насилия против состоятельных людей. Дело здесь, однако, в том, что все эти инциденты носят характер нарастающего кризиса. Другими словами, эти инциденты не случайны. Когда Аполлоний, идеальный философ, предстает перед судом Домициана и исчезает по волшебству, чудо совершенно случайно. Это могло произойти в любое время кочевой жизни тианца; более того, я полагаю, что это сомнительно как по дате, так и по существу. Идеальный философ просто исчез и возобновил свое идеальное существование где-то в другом месте на неопределенный период. Возможно, для контраста характерно то, что Аполлоний, как предполагалось, дожил до почти чудесной старости. Иисус из Назарета был менее осмотрителен в своих чудесах. Когда Иисуса привели на суд Понтия Пилата, он не исчез. Это был кризис и цель; это был час и сила тьмы. То, что он не исчез, было в высшей степени сверхъестественным действием за всю его чудесную жизнь.

Каждая попытка расширить эту историю приводила к ее уменьшению. Эту задачу пытались решить многие люди, по-настоящему гениальные и красноречивые, а также слишком много вульгарных сентименталистов и застенчивых риториков. Эта история была пересказана с покровительственным пафосом элегантными скептиками и с нескрываемым энтузиазмом шумными бестселлерами. Здесь она пересказываться не будет. Перемалывающая сила простых слов евангельской истории подобна силе каменных жерновов; и те, кто сможет прочитать их достаточно просто, почувствуют себя так, словно по ним прокатали камни. Критика - это всего лишь слова о словах; и какой смысл в словах о таких словах, как эти? Какой смысл в словесной живописи о темном саде, внезапно наполненном светом факелов и разъяренными лицами? 'Вы вышли с мечами и посохами, как на разбойника? Весь день я сидел в вашем храме и учил, и вы не взяли меня'. Можно ли что-нибудь добавить к массивной и собранной сдержанности этой иронии, подобной огромной волне, поднятой к небу и отказывающейся падать? 'Дочери Иерусалима, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о своих детях'. Поскольку первосвященник спросил, зачем ему еще нужны свидетели, мы вполне можем спросить, зачем нам еще нужны слова. Петр в панике отрекся от него: 'и тотчас пропел петух; и Иисус взглянул на Петра, и Петр вышел и горько заплакал'. Может ли кто-нибудь еще что-нибудь сказать? Непосредственно перед убийством он помолился за весь род людской, совершающий убийства, сказав: "Они не ведают, что творят"; есть ли что сказать на это, кроме того, что мы так же мало знаем, что говорим? Есть ли необходимость повторять и раскручивать историю о том, как трагедия докатилась до Виа Долороза и как они бросили его случайно с двумя ворами в одной из обычных серий казней; и как во всем этом ужасе и воющей пустыне дезертирства один голос произнес с почтением, поразительный голос из самого последнего места, где его ждали, виселицы преступника; и он сказал этому безымянному негодяю: 'Этой ночью ты будешь со мной в Раю'? Есть ли что-нибудь, что можно поставить после этого, кроме точки? Или кто-нибудь готов адекватно ответить на этот прощальный жест всякой плоти, сотворившей для его Матери нового Сына?

В моих силах и здесь более непосредственно соответствует моей цели указать на то, что в этой сцене были символически собраны все человеческие силы, которые были смутно обрисованы в этом рассказе. Как короли, философы и народные массы символически присутствовали при его рождении, так и они были более практичны в его смерти; и с этим мы сталкиваемся лицом к лицу с существенным фактом, который необходимо осознать. Все великие группы, стоявшие вокруг Креста, так или иначе олицетворяли великую историческую истину того времени; мир не мог спасти себя сам. Человек больше ничего не мог сделать. Рим, Иерусалим, Афины и все

остальное рушилось, как море, превратившееся в медленный водопад. Действительно, внешне древний мир все еще был в расцвете сил; именно в этот момент всегда начинается глубочайшая слабость. Но чтобы понять эту слабость, мы должны повторить то, что уже не раз говорилось: это не было слабостью изначально слабой вещи. Несомненно, сила мира была обращена в слабость, а мудрость мира - в безумие.

В этой истории о Страстной пятнице лучшие вещи в мире проявляются в худшем виде. Это то, что действительно показывает нам мир в его худшем проявлении. Это были, например, жрецы истинного монотеизма и солдаты международной цивилизации. Легендарный Рим, основанный на павшей Трои и одержавший победу над павшим Карфагеном, олицетворял героизм, который был ближе всего к рыцарству, чем когда-либо был у язычников. Рим защищал домашних богов и человеческую порядочность от африканских огров и греческих гермафродитных чудовищ. Но во вспышке молнии этого инцидента мы видим, как великий Рим, имперская республика, идет ко дну под властью своей лукрецианской судьбы. Скептицизм разъял даже самоуверенное здравомыслие завоевателей мира. Тот, кто возведен на трон, чтобы говорить, что такое справедливость, может только спросить: 'Что такое истина?' Итак, в этой драме, решившей всю судьбу античности, одна из центральных фигур занята тем, что кажется противоположным ее истинной роли. Рим был почти другим названием ответственности. И все же он навсегда останется чем-то вроде качающейся статуи безответственного. Человек больше ничего не мог сделать. Даже практичное стало невыполнимым. Стоя между колоннами своего собственного судилища, римлянин умыл руки перед миром.

Там тоже были жрецы той чистой и изначальной истины, которая стояла за всеми мифологиями, как небо за облаками. Это была самая важная истина в мире, и даже это не могло спасти мир. Возможно, есть что-то всепоглощающее в чистом личностном теизме; подобно тому, как солнце, луна и небо соединяются, образуя одно пристально смотрящее лицо. Возможно, истина слишком грандиозна, когда ее не нарушают какие-то посредники, божественные или человеческие; возможно, она просто слишком чиста и далека. В любом случае, это не могло спасти мир; это даже не могло преобразовать мир. Были философы, которые придерживались его в его высшей и благороднейшей форме; но они не только не могли преобразовать мир, но и никогда не пытались. Борьба с джунглями популярной мифологии с помощью частного мнения было так же невозможно, как расчистить лес перочинным ножом. Еврейские священники ревностно охраняли его в хорошем и плохом смысле этого слова. Они хранили это как гигантский секрет. Подобно тому, как дикие герои могли хранить солнце в шкатулке, они хранили Вечное в скинии. Они гордились тем, что только они могли смотреть на слепящее солнце единственного божества; и они не знали, что сами ослепли. С того дня их представители были подобны слепцам среди бела дня, нанося удары направо и налево своими посохами и проклиная темноту. Но в их монументальном монотеизме было то, что он, по крайней мере, остался как памятник, последняя вещь в своем роде, и в некотором смысле неподвижен в более беспокойном мире, который он не может удовлетворить. Ибо несомненно, что по какой-то причине это не может удовлетворить. С того дня никогда не было достаточно сказать, что Бог на своих небесах и с миром все в порядке; с тех пор, как прошел слух, что Бог покинул свои небеса, чтобы все исправить.

И как было с этими силами, которые были добрыми или, по крайней мере, когда-то были добрыми, так было и с элементом, который, возможно, был лучшим, или который сам Христос, по-видимому, определенно ощущал как лучший. Бедняки, которым он проповедовал благую

весть, простые люди, которые с радостью слушали его, население, которое сделало так много популярных героев и полубогов в старом языческом мире, также демонстрировали слабости, которые разрушали мир. Они страдали от зла, часто наблюдаемого в толпе города, и особенно в толпе столицы, во время упадка общества. То же самое, что заставляет сельское население жить традициями, заставляет городское население жить слухами. Точно так же, как его мифы в лучшем случае были иррациональными, так и его симпатии и антипатии легко меняются с помощью необоснованных утверждений, которые произвольны, не будучи авторитетными. Тот или иной разбойник был искусственно превращен в колоритную и популярную фигуру и выдвинут в качестве своего рода кандидата против Христа. Во всем этом мы узнаем городское население, которое мы знаем, с его газетными репортажами и совками. Но в этом древнем населении присутствовало зло, более свойственное древнему миру. Мы уже отмечали это как пренебрежение к личности, даже к личности, голосующей за осуждение, и еще больше к личности осуждаемого. Это была душа улья; языческое существо. Крик этого духа также был услышан в тот час: 'Хорошо, что один человек умер за народ'. Однако этот древний дух преданности городу и государству также был сам по себе и в свое время благородным духом. В нем были свои поэты и свои мученики; люди, которых еще предстоит чтить вечно. Она терпела неудачу из-за своей слабости, из-за того, что не видела отдельной души человека, святыни всего мистицизма; но она терпела неудачу только потому, что терпело неудачу все остальное. Толпа поддерживала саддукеев и фарисеев, философов и моралистов. Имперские магистраты и священные жрецы, книжники и солдаты согласились с тем, что единый универсальный человеческий дух может подвергнуться всеобщему осуждению; что может быть один глубокий, единоклубный хор одобрения и гармонии, когда Человек был отвергнут людьми.

За пределами были уединения, куда никто не последует. В самой сокровенной и невидимой части этой драмы были тайны, которые не имеют символа в речи; или в каком-либо отделении человека от людей. И никаким словам, менее резким и целеустремленным, чем слова голого повествования, нелегко даже намекнуть на ужас экзальтации, поднявшейся над холмом. Бесконечные экспозиции не подошли ни к концу, ни даже к началу. И если есть какой-нибудь звук, способный вызвать тишину, мы, несомненно, можем промолчать о конце и предельности; когда из этой тьмы донесся крик в словах, ужасно отчетливых и ужасно невразумительных, которые человек никогда не поймет за всю вечность, которую они приобрели для него; и на одно уничтожающее мгновение разверзлась бездна, недоступная нашим мыслям, даже в единстве абсолюта; и Бог был оставлен Богом.

Они сняли тело с креста, и один из немногих богатых людей среди первых христиан получил разрешение похоронить его в каменной гробнице в своем саду; римляне выставили военную охрану на случай беспорядков и попытки вернуть тело. В этих естественных действиях снова присутствовал естественный символизм; было хорошо, что гробница была запечатана со всей секретностью древневосточных захоронений и охранялась властью цезарей. Ибо в этой второй пещере было собрано и покрыто все то великое и славное человечество, которое мы называем древностью; и в том месте оно было похоронено. Это был конец очень великого явления, называемого историей человечества; истории, которая была просто человеческой. Там были похоронены мифологии и философии, боги, герои и мудрецы. По великому римскому выражению, они жили. Но поскольку они могли только жить, они могли только умереть; и они были мертвы.

На третий день друзья Христа, пришедшие на рассвете на это место, нашли могилу пустой, а камень отваленным. По-разному они осознавали новое чудо, но даже они с трудом осознавали, что мир умер ночью. То, на что они смотрели, было первым днем нового творения, с новым небом и новой землей; и в образе садовника Бог снова прогуливался по саду, в прохладе не вечернего, а рассветного времени.

ГЛАВА IV

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕРЕТИКОВ

Христос основал Церковь двумя великими фигурами речи; в последних словах, обращенных к апостолам, которые получили власть основать ее. Первой была фраза об основании его на Петре, как на скале; второй был символом ключей. Относительно значения первого, естественно, нет никаких сомнений в моем собственном случае; но это напрямую не влияет на приведенную здесь аргументацию, за исключением еще двух второстепенных аспектов. Это еще один пример того, что могло полностью раскрыться и объясниться только впоследствии, и даже спустя много времени. И это еще один пример чего-то прямо противоположного простоте и самоочевидности даже в языке, поскольку он описывает человека как скалу, хотя он гораздо больше похож на тростинку.

Но другое изображение клавиш обладает точностью, на которую вряд ли кто-то обратил внимание. Ключи были достаточно заметны в искусстве и геральдике христианского мира, но не все обратили внимание на особую меткость аллегории. Теперь мы достигли того исторического момента, когда необходимо что-то сказать о первом появлении и деятельности Церкви в Римской империи; и для этого краткого описания ничто не может быть более совершенным, чем эта древняя метафора. Ранний христианин был именно человеком, носящим при себе ключ, или то, что он называл ключом. Все христианское движение состояло в том, чтобы заявлять, что обладает этим ключом. Это было не просто расплывчатое движение вперед, которое лучше было бы представить тараном. Это не было чем-то, что увлекало за собой похожие и непохожие вещи, как это делает современное общественное движение. Как мы вскоре увидим, он довольно определенно отказался это сделать. Он определенно утверждал, что ключ существует, и что он обладает этим ключом, и что никакой другой ключ не похож на него; в этом смысле он был настолько узким, насколько вам заблагорассудится. Только так случилось, что это был ключ, который мог отпереть тюрьму всего мира и впустить белый дневной свет побега.

Символ веры был подобен ключу в трех отношениях, что наиболее удобно выразить под этим символом. Во-первых, ключ - это прежде всего вещь, имеющая форму. Это вещь, которая полностью зависит от сохранения своей формы. Христианское вероучение - это прежде всего философия форм и враг бесформенности. Вот чем она отличается от всей той бесформенной бесконечности, манихейской или буддийской, которая образует своего рода озеро ночи в темном сердце Азии; идеал несотворения всех созданий. Именно этим он также отличается от аналогичной расплывчатости простого эволюционизма; идея о существах, постоянно теряющих свою форму. Человек, которому сказали бы, что его единственный ключ был переплавлен вместе с миллионом других в буддийское единство, был бы раздосадован. Но человек, которому сказали, что его ключ постепенно растет у него в кармане и разветвляется на новые отделения или осложнения, не испытал бы большего удовлетворения.

Во-вторых, форма ключа сама по себе довольно фантастична. Дикарю, который не знал, что это ключ, было бы очень трудно догадаться, что это такое. И это фантастично, потому что в некотором смысле произвольно. Ключ - это не вопрос абстракций; в этом смысле ключ не является предметом спора. Он либо подходит к замку, либо нет. Людям бесполезно спорить о нем, рассматриваемом само по себе, или реконструировать его на основе чистых принципов геометрии или декоративного искусства. Человеку бессмысленно говорить, что он хотел бы ключ попроще; гораздо разумнее было бы сделать все возможное с помощью лома. И в-третьих, поскольку ключ - это обязательно вещь с рисунком, то и этот был в некотором роде с довольно замысловатым рисунком. Когда люди жалуются на то, что религия так рано была осложнена теологией и тому подобными вещами, они забывают, что мир не просто попал в яму, но попал в целый лабиринт дыр и углов. Сама по себе проблема была сложной; она не включала в себя ничего столь простого, как грех, в обычном смысле этого слова. Она также была полна тайн, неизведанных и непостижимых заблуждений, неосознанных психических заболеваний, опасностей со всех сторон. Если бы вера предстала перед миром только с банальностями о мире и простоте, которыми ограничились бы ее некоторые моралисты, это не оказало бы ни малейшего влияния на этот роскошный и запутанный сумасшедший дом. То, что он делал, мы должны теперь в общих чертах описать; здесь достаточно сказать, что, несомненно, многое в ключе казалось сложным; на самом деле, простым в нем было только одно. Он открыл дверь.

В этом вопросе есть определенные признанные утверждения, которые для краткости и удобства можно назвать ложью. Мы все слышали, как люди говорили, что христианство возникло в эпоху варварства. С таким же успехом они могли бы сказать, что христианская наука возникла в эпоху варварства. Они могут думать, что христианство было симптомом социального разложения, как я считаю христианскую науку симптомом умственного разложения. Они могут считать христианство суеверием, которое в конечном итоге разрушило цивилизацию, как я считаю христианскую науку суеверием, способным (если воспринимать его всерьез) уничтожить любое количество цивилизаций. Но сказать, что христианин четвертого или пятого веков был варваром, жившим в варварское время, - это все равно что сказать, что миссис Эдди была краснокожей индианкой. И если бы я позволил своему врожденному нетерпению по отношению к миссис Эдди побудить меня назвать ее краснокожей индианкой, я бы, между прочим, солгал. Нам может нравиться или не нравиться имперская цивилизация Рима в четвертом веке; нам может нравиться или не нравиться индустриальная цивилизация Америки в девятнадцатом веке; но то, что они обе были тем, что мы обычно подразумеваем под цивилизацией, ни один здравомыслящий человек не смог бы отрицать, если бы захотел. Это очень очевидный факт, но он также и очень фундаментальный; и мы должны положить его в основу любого дальнейшего описания конструктивного христианства в прошлом. К добру это или ко злу, но в высшей степени это был продукт цивилизованной эпохи, возможно, сверхцивилизованной эпохи. Это первый факт, помимо всякой похвалы или порицания; на самом деле, мне так не повезло, что я не чувствую, что хвалю что-то, когда сравниваю это с Христианской Наукой. Но, по крайней мере, желательно знать что-нибудь о вкусе общества, в котором мы что-либо осуждаем или восхваляем; и наука, которая связывает миссис Эдди с томагавками или Мать Долорозу с тотемами, может быть для нашего общего удобства устранена. Доминирующим фактом, касающимся не только христианской религии, но и всей языческой цивилизации в целом, было то, что неоднократно повторялось на этих страницах. Средиземное море было озером в прямом смысле этого слова, бассейном, в котором, как говорится, объединилось множество различных культов или культур. Города, стоящие друг

против друга по окружности озера, все больше и больше становились единой космополитической культурой. С юридической и военной точки зрения это была Римская империя; но она была очень многогранной. Его можно было бы назвать суеверным в том смысле, что он содержал в себе огромное количество разнообразных суеверий; но ни в коем случае нельзя назвать какую-либо его часть варварской.

На этом уровне космополитической культуры возникли христианская религия и католическая церковь; и все в этой истории говорит о том, что это воспринималось как нечто новое и странное. Те, кто пытался предположить, что он развился из чего-то гораздо более мягкого или заурядного, обнаружили, что в данном случае их эволюционный метод очень трудно применить. Они могут предположить, что ессеи, или эбиониты, или подобные существа были семенем; но семя невидимо; дерево кажется очень быстро выросшим; а дерево - это нечто совершенно иное. Это, безусловно, рождественская елка в том смысле, что она хранит доброту и нравственную красоту истории о Вифлееме; но она была такой же ритуальной, как семисвечный подсвечник, и свечей на ней было значительно больше, чем, вероятно, разрешалось первым молитвенником Эдуарда Шестого. Действительно, вполне можно спросить, почему любой, кто принимает вифлеемскую традицию, должен возражать против золотых украшений, если сами Волхвы приносили золото; почему ему не нравятся благовония в церкви, если благовония приносили даже в конюшню. Но это споры, которые меня здесь не касаются. Меня интересует только исторический факт, все более и более признаваемый историками, что очень рано в своей истории эта вещь стала видимой для античной цивилизации; и что Церковь уже появилась как Церковь; со всем, что подразумевается под Церковью, и со многим, что в Церкви не нравится. Чуть позже мы обсудим, насколько это было похоже на другие ритуальные, магические или аскетические мистерии в свое время. Безусловно, это ни в малейшей степени не было похоже на чисто этические и идеалистические движения нашего времени. У него была доктрина; у него была дисциплина; у него были таинства; у него были степени посвящения; он допускал людей и изгонял их; он авторитетно утверждал одну догму и отвергал другую с помощью анафем. Если все это признаки Антихриста, то царствование Антихриста очень быстро последовало за Христом.

Те, кто утверждает, что христианство было не Церковью, а моральным движением идеалистов, были вынуждены отодвигать период его извращения или исчезновения все дальше и дальше назад. Епископ Рима пишет, претендуя на авторитет при жизни святого Иоанна Богослова; и это описывается как первая папская агрессия. Друг Апостолов пишет о них как о людях, которых он знал, и говорит, что они научили его доктрине Причастия; и мистер Уэллс может только пробормотать, что реакция на варварские кровавые обряды, возможно, произошла гораздо раньше, чем можно было ожидать. Дата Четвертого Евангелия, которая когда-то неуклонно увеличивалась все больше и больше, теперь неуклонно увеличивается все раньше и раньше; пока критики не будут ошеломлены зарождающейся и ужасающей возможностью того, что оно может быть чем-то вроде того, за что себя выдает. Последний предел ранней даты исчезновения истинного христианства, вероятно, был найден последним немецким профессором, на авторитет которого ссылается декан Инге. Этот образованный ученый говорит, что Пятидесятница стала поводом для первого основания церковной, догматической и деспотической Церкви, совершенно чуждой простым идеалам Иисуса из Назарета. Это можно назвать, как в популярном, так и в научном смысле, пределом. Из чего, по мнению профессоров такого рода, состоят люди? Предположим, речь идет о каком-либо чисто человеческом движении, скажем, о лицах, отказывающихся от военной службы по соображениям совести.

Некоторые говорят, что ранние христиане были пацифистами; я ни на минуту в это не верю, но я вполне готов принять параллель ради аргументации. Толстой или какой-нибудь великий проповедник мира среди крестьян был расстрелян как мятежник за неповиновение призыву в армию; и примерно через месяц после этого его немногочисленные последователи собрались в верхней комнате в память о нем. У них никогда не было никакой причины собираться вместе, кроме общей памяти; это люди разных мастей, которых ничто не связывает, за исключением того, что величайшим событием во всей их жизни была эта трагедия учителя всеобщего мира. Они всегда повторяют его слова, обсуждают его проблемы, пытаются подражать его характеру. Пацифисты собираются на свою Пятидесятницу и охвачены внезапным экстазом энтузиазма и диким порывом вихря вдохновения, в ходе которого они приступают к введению всеобщей воинской повинности, увеличению ассигнований на военно-морской флот, настаивают на том, чтобы все были вооружены до зубов и на всех границах, оцетинившихся артиллерией; процесс завершается пением 'Мальчиков породы Бульдог' и 'Не дайте им уничтожить британский военно-морской флот'. Это что-то вроде справедливой параллели с теорией этих критиков; что переход от их представления об Иисусе к их представлению о католицизме мог быть совершен в маленькой верхней комнате в день Пятидесятницы. Конечно, любой здравый смысл подсказал бы ему, что энтузиасты, которые встретились только благодаря общему энтузиазму по отношению к лидеру, которого они любили, не бросились бы немедленно устанавливать все, что он ненавидел. Нет, если "церковная и догматическая система" так же стара, как Пятидесятница, то она так же стара, как Рождество. Если мы проследим это до таких очень ранних христиан, мы должны проследить это до Христа.

Тогда мы можем начать с этих двух отрицаний. Бессмысленно говорить, что христианская вера появилась в простую эпоху; в смысле, в эпоху неграмотности и легковерия. Столь же бессмысленно говорить, что христианская вера была простой вещью в смысле чего-то смутного, детского или просто инстинктивного. Пожалуй, единственный момент, по которому мы могли бы сказать, что Церковь вписывалась в языческий мир, - это тот факт, что они оба были не только высокоразвитыми, но и довольно сложными. Они оба были подчеркнута многогранны; но античность тогда была многогранной дырой, подобной шестиугольной дыре, ожидающей столь же шестиугольной пробки. В этом смысле только Церковь была достаточно многогранной, чтобы соответствовать миру. Шесть сторон Средиземноморского мира смотрели друг на друга через море и ждали чего-то, что должно было выглядеть со всех сторон одновременно. Церковь должна была быть и римской, и греческой, и еврейской, и африканской, и азиатской. Говоря словами Апостола язычников, она действительно была всем для всех людей. Христианство тогда было не просто грубым и незатейливым, оно было полной противоположностью росту варварских времен. Но когда мы переходим к противоположному обвинению, мы приходим к гораздо более правдоподобному обвинению. Гораздо более правдоподобно, что Вера была всего лишь заключительной фазой упадка цивилизации в смысле избытка цивилизации; что это суеверие было признаком того, что Рим умирал, и умирал из-за того, что был слишком цивилизованным. Это аргумент, заслуживающий гораздо большего рассмотрения; и мы приступим к его рассмотрению.

В начале этой книги я отважился на общее изложение этого, проведя параллель между возникновением человечества из природы и возникновением христианства из истории. Я указал, что в обоих случаях то, что было до, может подразумевать что-то последующее; но ни в малейшей степени не подразумевает того, что было после. Если бы беспристрастный разум увидел определенных обезьян, он мог бы вывести больше антропоидов; он не вывел бы

человека или что-либо в радиусе тысячи миль от того, что сделал человек. Короче говоря, он мог бы видеть Питакантропа или Недостоящее Звено, маячащее в будущем, если возможно, почти так же смутно и сомнительно, как мы видим его маячащим в прошлом. Но если бы это предвидело его появление, то также предвидело бы и его исчезновение, оставив несколько слабых следов точно так же, как он оставил несколько слабых следов; если это следы. Предвидеть это Недостоящее Звено не значило бы предвидеть Человека или что-либо подобное Человеку. Теперь следует иметь в виду это более раннее объяснение, потому что оно является точной параллелью истинному взгляду на Церковь; и предположение о том, что она естественным образом развилась из находящейся в упадке Империи.

Правда в том, что в каком-то смысле человек вполне мог предсказать, что имперский упадок породит нечто подобное христианству. То есть что-то немного похожее и гигантски отличающееся. Мужчина вполне мог бы, например, сказать: 'К удовольствиям стремились так экстравагантно, что это вызовет реакцию пессимизма. Возможно, это примет форму аскетизма; люди будут калечить себя вместо того, чтобы просто вешаться.' Или человек мог бы вполне резонно сказать: "Если мы устанем от наших греческих и латинских богов, мы будем стремиться к той или иной восточной мистерии; у персов или индусов войдет в моду'. Или светский человек вполне мог бы быть достаточно проницательным, чтобы сказать: 'Влиятельные люди подхватывают эти причуды; когда-нибудь суд примет одну из них, и это может стать официальным'. Или еще одному, более мрачному пророку можно было бы простить слова: 'Мир катится под откос; темные и варварские суеверия вернутся, не так уж важно, какие именно. Все они будут бесформенными и мимолетными, как ночные сны.

Теперь особый интерес представляет тот факт, что все эти пророчества действительно исполнились; но исполнила их не Церковь. Это была Церковь, которая сбежала от них, поставила их в тупик и с триумфом возвысилась над ними. В той мере, в какой было вероятно, что сама природа гедонизма вызовет простую реакцию аскетизма, она действительно вызвала простую реакцию аскетизма. Это было движение, называемое манихейским, и Церковь была его смертельным врагом. В той мере, в какой оно могло бы естественно появиться на том этапе истории, оно действительно появилось; оно также исчезло, что было столь же естественно. Простая пессимистическая реакция действительно пришла с манихеями и действительно ушла вместе с ними. Но Церковь не пришла с ними и не уходила вместе с ними; и она имела гораздо больше отношения к их уходу, чем к их приходу. Или, опять же, в той мере, в какой было вероятно, что даже рост скептицизма принесет моду на восточную религию, он действительно принес ее; Митра пришел далеко за пределы Палестины, из сердца Персии, принес с собой мистериями крови быков. Конечно, было все, чтобы показать, что какая-то такая мода возникла бы в любом случае. Но, конечно, в мире нет ничего, что указывало бы на то, что она не исчезла бы в любом случае. Конечно, восточная мода была чем-то в высшей степени характерным для четвертого или пятого века; но это вряд ли объясняет, почему она сохранилась до двадцатого века и все еще набирает силу. Короче говоря, в той мере, в какой тогда можно было ожидать чего-то подобного, такие вещи, как митраизм, были пережиты тогда; но это едва ли объясняет наш более поздний опыт. И если бы мы все еще были митраистами только потому, что митраистские головные уборы и другие персидские украшения были в моде во времена Домициана, то к этому времени нам почти казалось бы, что мы должны быть немного неряшливыми.

То же самое, как будет предложено чуть позже, происходит и с идеей официального фаворитизма. В той мере, в какой такой фаворитизм, проявленный по отношению к моде, был чем-то, что можно было ожидать во время упадка Римской империи, это было чем-то, что действительно существовало в этой империи и приходило в упадок вместе с ней. Это не проливает никакого света на то, что решительно отказывалось приходить в упадок; что неуклонно росло, в то время как другое приходило в упадок; и что даже в этот момент движется вперед с бесстрашной энергией, когда другая эпоха завершила свой цикл и другая цивилизация, кажется, почти готова пасть или прийти в упадок.

Теперь любопытный факт заключается в том, что те самые ереси, в сокрушении которых обвиняют Раннюю Церковь, свидетельствуют о несправедливости, в которой ее обвиняют. В той мере, в какой что-то заслуживало порицания, это были именно те вещи, в которых ее обвиняют за порицание. В той мере, в какой что-то было просто суеверием, она сама осуждала это суеверие. Поскольку что-то было простой реакцией на варварство, она сама сопротивлялась этому, потому что это была реакция на варварство. В той мере, в какой что-то было причудой угасающей империи, что умерло и заслуживало смерти, только Церковь убила это. Церковь упрекают в том, что она является именно тем, за что была подавлена ересь. Объяснения историков эволюции и высших критиков действительно объясняют, почему родились арианство, гностицизм и несторианство, а также почему они умерли. Они не объясняют, почему родилась Церковь и почему она отказалась умирать. Прежде всего, они не объясняют, почему она должна была начать войну с тем самым злом, которое, как предполагается, она разделяет.

Давайте приведем несколько практических примеров этого принципа; принципа, согласно которому если и существовало что-то, что действительно было суеверием умирающей империи, то оно действительно умерло вместе с умирающей империей; и, конечно, это было не то же самое, что само то, что ее разрушило. Для этой цели мы рассмотрим по порядку два или три наиболее распространенных объяснения происхождения христианства среди современных критиков христианства. Нет ничего более распространенного, например, чем встретить такого современного критика, пишущего что-то вроде этого: 'Христианство было прежде всего движением аскетов, бегством в пустыню, убежищем в монастыре, отказом от всякой жизни и счастья; и это было частью мрачной и бесчеловечной реакции против самой природы, ненависти к телу, ужаса перед материальной вселенной, своего рода всеобщего самоубийства чувств и даже самого себя. Это произошло от восточного фанатизма, подобного фанатизму факиров, и в конечном счете было основано на восточном пессимизме, который, кажется, воспринимает само существование как зло".

Самое удивительное во всем этом то, что все это совершенно верно; это верно во всех деталях, за исключением того, что это приписывается совершенно не тому человеку. Это не относится к Церкви, но это верно по отношению к еретикам, осужденным Церковью. Это похоже на то, как если бы кто-то написал самый подробный анализ ошибок и дурного правления министров Георга Третьего, просто с той небольшой неточностью, что вся история была рассказана о Джордже Вашингтоне; или как если бы кто-то составил список преступлений большевиков без каких-либо изменений, за исключением того, что все они были приписаны царю. Ранняя Церковь действительно была очень аскетичной в связи с совершенно иной философией; но философия войны с жизнью и природой как таковой действительно существовала в мире, если бы критики только знали, где ее искать.

На самом деле произошло вот что. Когда Вера впервые появилась в мире, самое первое, что с ней случилось, было то, что она попала в своего рода рой мистических и метафизических сект, в основном с Востока; подобно одинокой золотой пчеле, попавшей в рой ос. Обычному наблюдателю не казалось, что есть большая разница или что-то еще, кроме общего жужжания; действительно, в некотором смысле не было большой разницы, если касаться укуса и быть ужаленным. Разница заключалась в том, что только одна золотая точка во всей этой жужжащей золотой пыли обладала способностью создавать ульи для всего человечества; давать миру мед и воск или (как было так тонко сказано в контексте, который слишком легко забывается) "две самые благородные вещи, которые есть сладость и свет". Все осы вымерли той зимой; и половина трудности заключается в том, что вряд ли кто-нибудь что-нибудь знает о них, и большинство людей не знают, что они когда-либо существовали; так что вся история этой первой фазы нашей религии утеряна. Или, варьируя метафору, когда это движение или какое-то другое движение прорвало плотину между востоком и западом и принесло в Европу больше мистических идей, оно принесло с собой целый поток других мистических идей, помимо своих собственных, большинство из них аскетические и почти все пессимистические. Они почти затопили и сокрушили чисто христианскую стихию. Они пришли в основном из того региона, который был своего рода туманной границей между восточными философиями и восточными мифологиями, и который разделял с более дикими философами это любопытное увлечение созданием фантастических моделей космоса в форме карт и генеалогических деревьев. Те, которые, как предполагается, происходят от таинственных Манес, называются манихейскими; родственные культы более широко известны как гностические; они в основном имеют запутанную сложность, но на чем следует настаивать, так это на пессимизме; тот факт, что почти все в той или иной форме рассматривали сотворение мира как работу злого духа. У некоторых из них была та азиатская атмосфера, которая окружает буддизм; предположение, что жизнь - это искажение чистоты бытия. Некоторые из них предполагали чисто духовный порядок, который был предан грубым и неуклюжим трюком с изготовлением таких игрушек, как солнце, луна и звезды. Так или иначе, вся эта темная волна из метафизического моря посреди Азии хлынула через дамбы одновременно с вероучением Христа; но весь смысл истории в том, что эти два явления не были одним и тем же; что они текли подобно маслу и воде. Это вероучение сохранилось в форме чуда; река, все еще текущая через море. И доказательство чуда снова оказалось практическим; оно заключалось просто в том, что, хотя все это море было соленым и горьким от запаха смерти, из этого единственного ручья посреди него человек мог пить.

Теперь эта чистота была сохранена догматическими определениями и исключениями. Возможно, она не могла быть сохранена ничем другим. Если бы Церковь не отреклась от манихеев, она могла бы стать просто манихейской. Если бы она не отреклась от гностиков, она могла бы стать гностической. Но сам факт того, что она отреклась от них, доказывал, что она не была ни гностической, ни манихейской. Во всяком случае, это доказывало, что нечто не было ни гностическим, ни манихейским; и что же могло их осудить, если не первоначальная благая весть о бегунах из Вифлеема и труба Воскресения? Ранняя Церковь была аскетичной, но она доказала, что не была пессимисткой, просто осудив пессимистов. Символ веры провозглашал, что человек грешен, но он не провозглашал, что жизнь - это зло, и доказывал это, проклиная тех, кто это делал. Осуждение ранних еретиков само по себе осуждается как нечто замкнутое и узкое; но на самом деле это было само по себе доказательством того, что Церковь намеревалась быть братской и широкой. Это доказывало, что первобытные католики особенно старались объяснить, что они *не* считали человека крайне мерзким; что они *не* считали жизнь

неизлечимо несчастной; что они *не* считали брак грехом или деторождение трагедией. Они были аскетами, потому что аскетизм был единственно возможным средством очищения от грехов мира; но под самый гром своих анафем они навсегда подтвердили, что их аскетизм не должен был быть античеловеческим или противоестественным; что они действительно хотели очистить мир, а не уничтожить его. И ничто другое, кроме этих анафем, не могло бы прояснить ситуацию в условиях неразберихи, которая до сих пор путает их со смертельными врагами. Ничто, кроме догмы, не могло противостоять буйству воображения, с помощью которого пессимисты вели свою войну против природы; с их Эонами и их Демииургом, их странным Логосом и их зловещей Софией. Если бы Церковь не настаивала на теологии, она растворилась бы в безумной мифологии мистиков, еще более далекой от разума или даже от рационализма; и, прежде всего, еще более далекой от жизни и от любви к жизни. Помните, что это была бы перевернутая мифология, противоречащая всему естественному в язычестве; мифология, в которой Плутон был бы выше Юпитера, а Аид - выше Олимпа; в которой Брахма и все, что имеет дыхание жизни, были бы подчинены Шиве, сияющему оком смерти.

Тот факт, что ранняя Церковь сама была полна экстатического энтузиазма в отношении отречения и девственности, делает это различие гораздо более поразительным, а не менее важным. Это делает еще более важным то место, где догма подвела черту. Человек мог ползать на четвереньках, как зверь, потому что он был аскетом. Он мог день и ночь стоять на вершине колонны, и его обожали за то, что он аскет. Но он не мог сказать, что мир был ошибкой, а брак - грехом, не будучи при этом еретиком. Что же это было, что таким образом намеренно отмежеввалось от восточного аскетизма резким определением и яростным отказом, если это не было чем-то, обладающим собственной индивидуальностью и совершенно отличным от нее? Если католиков следует путать с гностиками, мы можем только сказать, что в этом не было их вины, если это так. И довольно тяжело, что одни и те же критики обвиняют католиков в преследовании еретиков, а также в сочувствии ереси.

Церковь не была манихейским движением, хотя бы потому, что это вообще не было движением. Это было даже не просто аскетическое движение, потому что это вообще не было движением. Было бы ближе к истине назвать его укротителем аскетизма, чем простым лидером или расшатывателем его. Это было нечто, имеющее свою собственную теорию аскетизма, свой собственный тип аскетизма, но наиболее заметное в данный момент как модератор других теорий и типов. Это единственный смысл, который можно извлечь, например, из истории святого Августина. Пока он был простым светским человеком, простым человеком, плывущим в ногу со своим временем, он на самом деле был манихеем. Быть манихеем действительно было довольно современно и модно. Но когда он стал католиком, люди, которых он мгновенно включил и разорвал на куски, были манихеями. Католический способ выразить это так: он перестал быть пессимистом, чтобы стать аскетом. Но поскольку пессимисты интерпретировали аскетизм, можно сказать, что он перестал быть аскетом, чтобы стать святым. Война с жизнью, отрицание природы были именно теми вещами, которые он уже нашел в языческом мире за пределами Церкви, и от которых ему пришлось отказаться, когда он вошел в Церковь. Сам факт, что св. Августин остается несколько более суровой или печальной фигурой, чем святой Франциск или святая Тереза, что только усугубляет дилемму. Стоя лицом к лицу с самыми серьезными или даже суровыми католиками, мы все еще можем спросить: "Почему католицизм развязал войну с манихеями, если католицизм был манихейским?"

Возьмем другое рационалистическое объяснение возвышения христианского мира. Достаточно часто можно встретить другого критика, говорящего: 'Христианство на самом деле вообще не возникло; то есть оно не просто возникло снизу; оно было навязано сверху. Это пример власти исполнительной власти, особенно в деспотических государствах. Империя действительно была Империей; то есть ею действительно правил император. Случилось так, что один из императоров стал христианином. С таким же успехом он мог бы стать митраистом, или евреем, или огнепоклонником; на закате Империи выдающиеся и образованные люди часто перенимали эти эксцентричные восточные культы. Но когда он принял ее, она стала официальной религией Римской империи; а когда она стала официальной религией Римской империи, она стала такой же сильной, универсальной и непобедимой, как Римская империя. Он остался в мире лишь как реликвия той Империи; или, как многие выражаются, это всего лишь призрак Цезаря, все еще витающий над Римом.' Это также очень обычная линия, принятая в критике ортодоксии, - говорить, что только официоз когда-либо сделал ее ортодоксальной. И здесь мы снова можем призвать еретиков опровергнуть это.

Вся великая история арианской ереси, возможно, была придумана для того, чтобы опровергнуть эту идею. Это очень интересная история, часто повторяющаяся в этой связи; и результатом ее является то, что, поскольку когда-либо существовала чисто официальная религия, она фактически умерла, потому что это была просто официальная религия; и то, что уничтожило ее, было настоящей религией. Арий выдвинул версию христианства, которая более или менее смутно двигалась в направлении того, что мы должны были бы назвать унитаризмом; хотя это было не одно и то же, поскольку оно отводило Христу любопытное промежуточное положение между божественным и человеческим. Дело в том, что многим это казалось более разумным и менее фанатичным; и среди них было много представителей образованного класса, что было своего рода реакцией против первого романа об обращении. Ариане были своего рода умеренными и своего рода модернистами. И считалось, что после первых раздоров это была последняя форма рационализированной религии, в которой цивилизация вполне могла утвердиться. Она была принята самим Божественным Цезарем и стала официальной ортодоксией; генералы и военные князья, набранные из новых варварских держав севера, полные надежд на будущее, решительно поддерживали ее. Но продолжение все равно важнее. Точно так же, как современный человек может пройти через унитаризм к полному агностицизму, так и величайший из арианских императоров в конечном счете отбросил последнее и самое слабое подобие христианства; он оставил даже Ария и вернулся к Аполлону. Он был цезарем из цезарей; солдат, ученый, человек с большими амбициями и идеалами; еще один из королей-философов. Ему казалось, что по его сигналу снова взошло солнце. Оракулы заговорили, как птицы начинают петь на рассвете; язычество снова стало самим собой; боги вернулись. Казалось, это был конец той странной интерлюдии с чуждым суеверием. И действительно, это был конец всему, поскольку это была всего лишь интерлюдия простого суеверия. Это был конец всему, в той мере, в какой это было причудой императора или модой целого поколения. Если действительно что-то началось с Константина, то закончилось оно Юлианом.

Но было нечто, чему не было конца. В тот исторический час возник Афанасий, бросивший вызов демократическому смятению Церковных Соборов, выступивший против всего мира. Мы можем остановиться на обсуждаемом моменте; потому что он имеет отношение ко всей этой религиозной истории, а современный мир, похоже, упускает из виду весь его смысл. Мы могли бы сформулировать это так. Если и есть какой-то вопрос, который просвещенные и

либеральные люди имеют привычку высмеивать и выставять в качестве ужасного примера бесплодной догмы и бессмысленной сектантской распри, то это афанасианский вопрос о Сочетности Божественного Сына. С другой стороны, если и есть что-то, что одни и те же либералы всегда предлагают нам в качестве части чистого и простого христианства, не потревоженного доктринальными спорами, так это единственное предложение: 'Бог есть Любовь'. И все же эти два утверждения почти идентичны; по крайней мере, одно почти бессмыслица без другого. Бесплодная догма - это всего лишь логический способ выразить прекрасное чувство. Ибо если существовало существо без начала, существовавшее до всего сущего, было ли Оно любящим, когда не было ничего, что можно было бы любить? Если всю эту немыслимую вечность Он одинок, какой смысл говорить, что Он - любовь? Единственным оправданием такой тайны является мистическая концепция о том, что в Его собственной природе было нечто аналогичное самовыражению; нечто из того, что порождает и созерцает то, что оно породило. Без какой-либо такой идеи действительно нелогично усложнять высшую сущность божества такой идеей, как любовь. Если современные люди действительно хотят простой религии любви, они должны искать ее в афанасианском Символе веры. Истина в том, что труба истинного христианства, вызов благотворительности и простоте Вифлеема или Рождества Христова, никогда не звучала так захватывающе и безошибочно, как в вызове Афанасия холодному компромиссу ариан. Именно он на самом деле сражался за Бога Любви против Бога бесцветного и удаленного космического контроля; Бога стоиков и агностиков. Именно он решительно сражался за Святое Дитя против серого божества фарисеев и саддукеев. Он боролся за тот самый баланс прекрасной взаимозависимости и близости в самой Троице Божественной Природы, который привлекает наши сердца к Троице Святого Семейства. Его догма, если не ошибаюсь, превращает даже Бога в Святое Семейство.

То, что эта чисто христианская догма фактически во второй раз восстала против Империи и фактически во второй раз восстановила Церковь вопреки Империи, само по себе является доказательством того, что в мире действовало нечто позитивное и личное, отличное от любой официальной веры, которую решила принять Империя. Эта власть полностью разрушила официальную веру, которую приняла Империя. Она пошла своим путем, как идет своим путем до сих пор. Существует множество других примеров, в которых повторяется точно такой же процесс, который мы рассмотрели в случае с манихеями и арианами. Например, через несколько столетий после прихода Церкви пришлось поддерживать ту же Троицу, которая является просто логической стороной любви, вопреки очередному появлению изолированного и упрощенного божества в религии ислам. Тем не менее, есть некоторые, кто не может понять, за что сражались крестоносцы; а некоторые даже говорят так, как будто христианство никогда не было ничем иным, как формой того, что они называют иудаизмом, пришедшим с упадком эллинизма. Эти люди, безусловно, должны быть очень озадачены войной между Полумесяцем и Крестом. Если бы христианство никогда не было ничем иным, как более простой моралью, отметающей политеизм, нет никаких причин, по которым христианский мир не должен был бы быть охвачен исламом. Правда в том, что сам ислам был варварской реакцией против той очень гуманной сложности, которая на самом деле является христианским характером; этой идеи равновесия в божестве, как и равновесия в семье, которая делает это вероучение своего рода здравомыслием, а это здравомыслие - душой цивилизации. И вот почему Церковь с самого начала является чем-то, придерживающимся своей собственной позиции и точки зрения, совершенно независимо от случайностей и анархий своего времени. Вот почему он беспристрастно наносит удары направо и налево, по пессимизму манихеев или оптимизму

пелагианцев. Это не было манихейским движением, потому что это вообще не было движением. Это не было официальной модой, потому что это вообще не было модой. Это было нечто, что могло совпадать с движениями и модой, могло контролировать их и могло пережить их.

Так могли бы восстать из могил великие ересиархи, чтобы посрамить своих сегодняшних товарищей. Нет ничего, что сейчас утверждают критики и что мы не могли бы призвать к опровержению этих великих свидетелей. Современный критик достаточно легкомысленно скажет, что христианство было всего лишь реакцией на аскетизм и противоестественную духовность, танцем факиров, разъяренных против жизни и любви. Но Манес, великий мистик, ответит им со своего тайного трона и воскликнет: "Эти христиане не имеют права называться духовными; у этих христиан нет права называться аскетами; они, которые пошли на компромисс с проклятием жизни и всей грязью семьи. Из-за них земля все еще засорена фруктами и урожаем и загрязнена населением. Их движение не было направлено против природы, иначе мои дети довели бы его до триумфа; но эти глупцы обновили мир, когда я хотел покончить с ним одним жестом". А другой критик напишет, что Церковь была всего лишь тенью Империи, причудой случайного императора, и что она остается в Европе лишь как призрак могущества Рима. И дьякон Арий ответит из тьмы забвения: "Действительно, нет, иначе мир последовал бы моей более разумной религии. Ибо я пал перед демагогами и людьми, бросившими вызов Цезарю; и вокруг моего защитника был пурпурный плащ, а на мне была слава орлов. Я потерпел неудачу не из-за отсутствия этих вещей." И все же третий современник будет утверждать, что вероучение распространилось только как своего рода паника перед адским пламенем; люди повсюду предпринимают невозможные вещи, спасаясь от невероятной мести; кошмар воображаемого раскаяния; и такое объяснение удовлетворит многих, кто видит нечто ужасное в доктрине ортодоксии. И тогда этому возразит грозный голос Тертуллиана, говорящий: "И почему же тогда я был изгнан; и почему мягкие сердца и умы выступили против меня, когда я провозгласил гибель всех грешников; и что это была за сила, которая помешала мне, когда я пригрозил всем отступникам адом? Ибо никто никогда не заходил по этому трудному пути так далеко, как я; и моим было *Кредо Quia Impossibile*." Затем есть четвертое предположение, что во всем этом было что-то от семитского тайного общества; что это было новое вторжение духа кочевников, потрясшее более доброе и комфортное язычество, его города и домашних богов; благодаря чему ревнивые монотеистические расы смогли, в конце концов, установить своего ревнивого Бога. И Магомет ответит из вихря, красного вихря пустыни, "Кто когда-либо служил ревности Божьей так, как я, или оставил его более одиноким в небе?" Кто когда-либо воздавал больше почестей Моисею и Аврааму или одержал больше побед над идолами и образами язычества? И что же это было за существо, которое отбросило меня назад с энергией живого существа; чей фанатизм мог изгнать меня с Сицилии и вырвать мои глубокие корни из скалы Испании? Какой веры были те, кто тысячами толпился в каждом классе и стране, крича, что моя гибель была волей Божьей; и что швырнуло великого Годфри, как из катапульты, за стену Иерусалима; и что подобно молнии привело великого Собеского к воротам Вены? Я думаю, что в религии, которая так совпала с моей, было больше, чем вы себе представляете".

Те, кто предположил бы, что вера была фанатизмом, обречены на вечное замешательство. В их представлении это неизбежно будет выглядеть как фанатизм ни за что и фанатизм против всего. Она аскетична и находится в состоянии войны с аскетами, римская и восстает против Рима, монотеистическая и яростно борется с монотеизмом; суровая в своем осуждении жестокости; загадка, не поддающаяся объяснению даже как неразумная. И что же это за неразумие, которое кажется разумным миллионам образованных европейцев на протяжении всех

революций примерно за тысячу шестьсот лет? Людей все это время не забавляют головоломки, парадоксы или просто путаница в голове. Я не знаю никакого объяснения, кроме того, что такая вещь - это не неразумие, а разум; что если она фанатична, то это фанатизм ради разума и фанатизм против всего неразумного. Это единственное объяснение, которое я могу найти тому, что существо с самого начала было таким отстраненным и таким уверенным, осуждало вещи, которые были так похожи на него самого, отказывалось от помощи сил, которые казались столь необходимыми для его существования, разделяло со своей человеческой стороны все страсти эпохи, но всегда в высший момент внезапно возвышалось над ними, никогда не говоря именно то, что от него ожидали, и никогда не нуждалось в том, чтобы пересказывать то, что оно сказало; Я не могу найти другого объяснения, кроме того, что, подобно Палладе из мозга Юпитера, оно действительно вышло из разума Бога, зрелого, могущественного и вооруженного для суда и для война.

ГЛАВА V

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЯЗЫЧЕСТВА

Современный миссионер в своей шляпе из пальмовых листьев и с зонтиком стал довольно забавной фигурой. Люди всего мира высмеивают его за легкость, с которой он может быть съеден каннибалами, и узкий фанатизм, который заставляет его считать культуру каннибалов более низкой, чем его собственная. Возможно, лучшая часть шутки заключается в том, что мужчины всего мира не видят, что шутка направлена против них самих. Довольно нелепо спрашивать человека, которого вот-вот сварят в горшочке и съедят на чисто религиозном пиру, почему он не считает все религии одинаково дружественными и братскими. Но есть и более тонкая критика, высказанная против более старомодного миссионера; в том смысле, что он слишком широко обобщает о язычниках и уделяет слишком мало внимания разнице между Магометом и мумбо-юмбо. Вероятно, в этой жалобе была доля истины, особенно в прошлом; но мое главное утверждение здесь заключается в том, что в настоящее время все преувеличено в обратном направлении. Профессора испытывают искушение относиться к мифологии слишком сильно как к теологии, как к чему-то тщательно продуманному и серьезно обоснованному. Интеллектуалы испытывают искушение слишком серьезно относиться к тонким оттенкам различных школ в довольно безответственной метафизике Азии. Прежде всего, это их искушение упустить настоящую истину, подразумеваемую в идее Фомы Аквинского "Против язычников" или Афанасия "Против мира".

Если миссионер действительно говорит, что он исключительный христианин и что остальные расы и религии в совокупности можно отнести к языческим, он совершенно прав. Он может сказать это в совершенно неправильном духе, и в этом случае он духовно неправ. Но в холодном свете философии и истории он интеллектуально прав. Он может быть не в своем уме, но он прав. Возможно, у него даже нет права быть правым, но он прав. Внешний мир, в который он привносит свое вероучение, действительно является чем-то, подверженным определенным обобщениям, охватывающим все его разновидности, а не просто разновидностью сходных вероучений. Возможно, в любом случае, называть это язычеством - слишком сильное искушение для гордыни или лицемерия. Возможно, было бы лучше просто называть это человечеством. Но есть определенные общие характеристики того, что мы называем

человечеством, пока оно остается в том, что мы называем язычеством. Это не обязательно плохие характеристики; некоторые из них достойны уважения христианского мира; некоторые из них были поглощены и преобразены сущностью христианского мира. Но они существовали до христианства и все еще существуют за пределами христианского мира, так же несомненно, как море существовало до лодки и вокруг лодки; и у них такой же сильный, универсальный и безошибочный аромат, как у моря.

Например, все настоящие ученые, изучавшие греческую и римскую культуру, говорят об этом одно. Они согласны с тем, что в древнем мире религия была одним, а философия - совсем другим. Было предпринято очень мало усилий для рационализации и в то же время для осознания реальной веры в богов. Среди философов было очень мало претензий на какую-либо такую реальную веру. Но ни у того, ни у другого не было страсти или, возможно, силы преследовать другого, за исключением особых случаев; и ни философ в своей школе, ни священник в своем храме, кажется, никогда всерьез не рассматривали свою собственную концепцию как охватывающую мир. Жрец, приносящий жертву Артемиде в Калидоне, похоже, не думал, что когда-нибудь люди будут приносить жертвы ей, а не Исиде за морем; мудрец, следующий вегетарианскому правилу неопифагорейцев, похоже, не думал, что оно будет повсеместно преобладать и исключит методы Эпиктета или Эпикура. Мы можем называть это либеральностью, если нам нравится; я имею дело не с аргументом, а с описанием атмосферы. Все это, я говорю, признается всеми учеными; но чего, возможно, ни образованные, ни необразованные не осознали в полной мере, так это того, что это описание действительно является точным описанием всей нехристианской цивилизации наших дней; и особенно великих цивилизаций Востока. Восточное язычество на самом деле гораздо более целостно, точно так же, как древнее язычество было гораздо более целостным, чем признают современные критики. Это разноцветный персидский ковер, в то время как другие представляли собой пеструю мозаичную римскую мостовую; но единственная настоящая трещина прямо поперек этой мостовой образовалась в результате землетрясения во время Распятия.

Современный европеец, ищущий свою религию в Азии, переводит свою религию в Азию. Религия там - это нечто другое; ее одновременно и больше, и меньше. Он подобен человеку, который на карте изображает море как сушу; отмечает волны как горы; не понимает природы его особого постоянства. Совершенно верно, что в Азии есть свое достоинство, поэзия и высокая цивилизация. Но это ни в малейшей степени не соответствует действительности, что в Азии есть свои собственные определенные доминионы морального правления, где любая лояльность понимается в терминах морали; например, когда мы говорим, что Ирландия католическая или что Новая Англия была пуританской. Карта не обозначена в религиях, в нашем понимании церквей. Состояние ума гораздо более тонкое, более относительное, более скрытое, более разнообразное и меняющееся, подобно цветам змеи. Мусульманин ближе всего подходит к воинствующему христианину; и это именно потому, что он гораздо ближе подходит к посланнику западной цивилизации. Мусульманин в сердце Азии почти олицетворяет душу Европы. И как он стоит между ними и Европой в пространстве, так он стоит между ними и христианством в вопросе времени. В этом смысле мусульмане в Азии просто похожи на несториан в Азии. Ислам, с исторической точки зрения, является величайшей из восточных ересей. Кое-чем она была обязана совершенно изолированной и уникальной индивидуальности Израиля; но еще больше она была обязана Византии и теологическому энтузиазму христианского мира. Кое-чем она была обязана даже Крестовым походам. Азии она

ровным счетом ничего не была должна. Это никак не связано с атмосферой древнего и традиционного мира Азии, с его незапамятным этикетом и его бездонной или сбивающей с толку философией. Вся эта древняя и настоящая Азия восприняла приход ислама как нечто чуждое, западное и воинственное, пронзающее ее подобно копью.

Даже там, где мы могли бы пунктирными линиями обозначить области азиатских религий, мы, вероятно, должны были бы усматривать в них нечто догматическое и этическое, принадлежащее нашей собственной религии. Это все равно, как если бы европеец, несведущий в американской атмосфере, предположил, что каждый "штат" - это отдельное суверенное государство, такое же патриотичное, как Франция или Польша; или что когда янки с любовью упоминает свой 'родной город', он имеет в виду, что у него нет другой нации, как у гражданина древних Афин или Рима. Как он рассматривал бы Америку как особый вид лояльности, так и мы рассматриваем Азию как особый вид лояльности. Существуют привязанности другого рода, но не те, которые люди на Западе подразумевают под тем, чтобы быть верующим, пытаться быть христианином, быть хорошим протестантом или практикующим католиком. В интеллектуальном мире это означает нечто гораздо более расплывчатое и разнообразное сомнениями и спекуляциями. В мире морали это означает нечто гораздо более расплывчатое и дрейфующее. Профессор персидского языка в одном из наших великих университетов, настолько страстный приверженец Востока, что практически выражает презрение к Западу, сказал моему другу: 'Вы никогда не поймете восточных религий, потому что вы всегда воспринимаете религию как связанную с этикой. Этот вид на самом деле не имеет ничего общего с этикой.' Большинство из нас знало некоторых Мастеров Высшей Мудрости, некоторых Паломников на Пути к Могуществу, некоторых восточных эзотерических святых и провидцев, которые на самом деле не имели ничего общего с этикой. Что-то другое, что-то отстраненное и безответственное окрашивает моральную атмосферу Азии и затрагивает даже ислам. Это было очень реалистично передано в атмосфере *Хассана*; и к тому же в очень ужасной атмосфере. Это еще более ярко проявляется в тех проблесках, которые мы получаем от подлинных и древних культов Азии. Глубже, чем глубины метафизики, глубоко в безднах мистических размышлений, под всей этой торжественной вселенной духовных вещей скрывается тайна, неосознанное и ужасное легкомыслие. На самом деле не так уж и важно, что человек делает. Либо потому, что они не верят в дьявола, либо потому, что они действительно верят в судьбу, либо потому, что опыт здесь - это все, а вечная жизнь - что-то совершенно другое, но по какой-то причине они совершенно разные. Я где-то читал, что в средневековой Персии были три великих друга, прославившихся своим единством взглядов. Один стал ответственным и уважаемым визирем Великого царя; вторым был поэт Омар, пессимист и эпикурей, пивший вино в насмешку над Магометом; третьим был Горный Старец, который сводил с ума свой народ гашишем, чтобы они могли убивать других людей кинжалами. На самом деле не так уж и важно, что человек делает.

Султан в лице *Хасана* понял бы всех этих троих мужчин; на самом деле он был всеми этими тремя мужчинами. Но у такого универсалиста не может быть того, что мы называем характером; это то, что мы называем хаосом. Он не может выбирать; он не может бороться; он не может раскаиваться; он не может надеяться. Он не создает что-либо в том же смысле; ибо творение означает отвержение. Он, по нашему религиозному выражению, не создает свою душу. Ибо наше учение о спасении действительно означает труд, подобный труду человека, пытающегося сделать статую красивой; победу с крыльями. Для этого должен быть окончательный выбор; ибо человек не может создавать статуи, не отказавшись от камня. И за метафизикой Азии

действительно стоит эта предельная безнравственность. И причина в том, что за все эти немыслимые века не было ничего, что могло бы четко указать человеческому разуму на суть; сказать ему, что пришло время выбирать. Разум слишком много прожил в вечности. Душа была слишком бессмертна; в том особом смысле, что она игнорирует идею смертного греха. У него было слишком много вечности, в том смысле, что ему было недостаточно смертного часа и судного дня. Это недостаточно важно; в буквальном смысле, что ей не хватило креста. Это то, что мы имеем в виду, когда говорим, что Азия очень стара. Но, строго говоря, Европа так же стара, как Азия; действительно, в некотором смысле любое место так же старо, как и любое другое. Мы имеем в виду, что Европа не просто продолжает стареть. Оно родилось заново.

Азия - это все человечество, поскольку оно осознало свою человеческую судьбу. Азия, с ее огромной территорией, с ее разнообразным населением, с ее вершинами прошлых достижений и глубинами темных спекуляций, сама по себе является миром; и представляет собой нечто из того, что мы имеем в виду, когда говорим о мире. Это скорее космос, чем континент. Это мир, каким его создал человек; и в нем содержится множество самых замечательных вещей, созданных человеком. Поэтому Азия является единственным представителем язычества и единственным соперником христианского мира. Но везде, где мы получаем представление об этой земной судьбе, они предполагают этапы той же истории. Там, где Азия уходит в южные архипелаги дикарей, или где тьма, полная безымянных форм, обитает в сердце Африки, или где последние выжившие представители исчезнувших рас задерживаются в холодном вулкане доисторической Америки, все это одна и та же история; иногда, возможно, более поздние главы той же истории. Это люди, запутавшиеся в лесу своей собственной мифологии; это люди, утонувшие в море своей собственной метафизики. Политеисты устали от самых диких вымыслов. Монотеисты устали от самых замечательных истин. Дьяволицы то тут, то там испытывают такую ненависть к небесам и земле, что пытаются найти убежище в аду. Это Падение Человека; и это именно то падение, которое ощущали наши собственные отцы в первый момент упадка Рима. Мы тоже спускались по этой широкой дороге, по этому пологому склону, следуя за великолепной процессией высоких цивилизаций мира.

Если бы Церковь не вошла тогда в мир, представляется вероятным, что Европа была бы сейчас во многом тем же, чем сейчас является Азия. Кое-что можно допустить в отношении реальной разницы рас и окружающей среды, видимой как в древнем, так и в современном мире. Но, в конце концов, мы говорим о неизменном Востоке в значительной степени потому, что он не претерпел больших перемен. Язычество в своей последней фазе демонстрировало значительные признаки того, что становится столь же неизменным. Это не означало бы, что не возникнут новые школы или философские секты; как новые школы возникали в Древности и возникают в Азии. Это не означает, что не было бы настоящих мистиков или провидцев; как были мистики в Древности и остаются мистиками в Азии. Это не означает, что не существовало бы социальных кодексов, как существовали кодексы в Древности и существуют в Азии. Это не значит, что не могло быть хороших людей или счастливой жизни, ибо Бог дал всем людям совесть, а совесть может дать всем людям своего рода покой. Но это действительно означает, что тон и пропорция всех этих вещей, и особенно пропорция добра и зла, были бы на неизменном Западе такими же, какими они являются на неизменном Востоке. И никто, кто смотрит на этот неизменный Восток честно и с подлинным сочувствием, не может поверить, что там есть что-то, хотя бы отдаленно напоминающее вызов и революцию Веры.

Короче говоря, если бы классическое язычество сохранилось до сих пор, с ним вполне мог бы сохраниться ряд вещей; и они были бы очень похожи на то, что мы называем религиями Востока. Все еще были бы пифагорейцы, обучающие реинкарнации, как все еще есть индуисты, обучающие реинкарнации. Все еще были бы стоики, создающие религию из разума и добродетели, как все еще есть конфуцианцы, создающие религию из разума и добродетели. Все еще были бы неоплатоники, изучающие трансцендентальные истины, значение которых было таинственным для других людей и оспаривалось даже между ними самими; подобно тому, как буддисты все еще изучают трансцендентализм, таинственный для других и оспариваемый между собой. Все еще были бы разумные аполлониане, очевидно, поклоняющиеся богу солнца, но объясняющие, что они поклоняются божественному принципу; точно так же, как все еще есть разумные парсы, очевидно, поклоняющиеся солнцу, но объясняющие, что они поклоняются божеству. На горе все еще танцевали бы дикие дионисии, как все еще танцуют дикие дервиши в пустыне. Толпы людей по-прежнему посещали популярные праздники богов, как в языческой Европе, так и в языческой Азии. По-прежнему были бы толпы богов, местных и других, которым они могли бы поклоняться. И все равно было бы гораздо больше людей, которые поклонялись бы им, чем людей, которые в них верили. Наконец, все еще оставалось бы очень большое количество людей, которые действительно поклонялись богам и верили в богов; и которые верили в богов и поклонялись богам просто потому, что они были демонами. Все еще были бы левантинцы, тайно приносящие жертвы Молоху, как все еще есть Головорезы, тайно приносящие жертвы Кали. Там все еще было бы много магии; и большая ее часть была бы черной магией. Все еще существовало бы значительное восхищение Сенекой и значительное подражание Нерону; точно так же, как возвышенные эпиграммы Конфуция могли бы сосуществовать с пытками Китая. И над всем этим запутанным лесом традиций, дичающих или увядающих, нависла бы широкая тишина необычного и даже безымянного настроения; но ближайшее название этому - ничто. Все эти вещи, хорошие и плохие, имели бы неопиcуемый вид слишком старых, чтобы умереть.

Ни одно из этих явлений, населяющих Европу в отсутствие христианского мира, не имело бы ни малейшего сходства с христианским миром. Поскольку пифагорейский метемпсихоз все еще существовал бы, мы могли бы назвать его пифагорейской религией, поскольку мы говорим о буддийской религии. Поскольку благородные максимы Сократа все еще были бы здесь, мы могли бы назвать это сократической религией, как мы говорим о конфуцианской религии. Поскольку популярный праздник все еще отмечался мифологическим гимном Адонису, мы могли бы назвать его религией Адониса, поскольку мы говорим о религии Джаггернаута. Поскольку литература по-прежнему была бы основана на греческой мифологии, мы могли бы назвать эту мифологию религией, как мы называем индуистскую мифологию религией. Мы могли бы сказать, что существовало очень много тысяч или миллионов людей, принадлежащих к этой религии, в том смысле, что они часто посещали такие храмы или просто жили в стране, полной таких храмов. Но если мы называем последнюю традицию Пифагора или сохранившуюся легенду об Адонисе именем религии, тогда мы должны найти какое-то другое название для Церкви Христа.

Если кто-нибудь скажет, что философские максимы, сохранявшиеся на протяжении многих веков, или мифологические храмы, посещаемые многими людьми, относятся к тому же классу и категории, что и Церковь, достаточно просто ответить, что это не так. Никто не думает, что они такие же, когда он видит их в древней цивилизации Греции и Рима; никто не подумал бы, что они такие же, если бы эта цивилизация просуществовала на две тысячи лет дольше и

существовала по сей день; никто не может с полным основанием думать, что они такие же в параллельной языческой цивилизации на Востоке, какой она является по сей день. Ни одна из этих философий или мифологий не имеет ничего общего с Церковью; и уж точно ничего общего с Церковью Воинствующей. И, как я показал в другом месте, даже если бы это правило еще не было доказано, исключение подтвердило бы правило. Правило состоит в том, что дохристианская или языческая история не порождает Воинствующей Церкви; и исключением, или тем, что некоторые назвали бы исключением, является то, что ислам, по крайней мере, воинственен, если он не является Церковью. И это именно потому, что ислам - единственный религиозный соперник, который *не* является дохристианским и, следовательно, не является в этом смысле языческим. Ислам был продуктом христианства; даже если это был побочный продукт; даже если это был плохой продукт. Это была ересь или пародия, имитирующая Церковь и, следовательно, подражающая Ей. То, что магометанство имело что-то от ее боевого духа, не более удивительно, чем то, что квакерство имело что-то от ее мирного духа. После христианства существует множество подобных подражаний или расширений. Перед ним их нет.

Таким образом, Воинствующая Церковь уникальна, потому что это армия, марширующая для осуществления всеобщего освобождения. Рабство, от которого мир, таким образом, должен быть освобожден, - это то, что очень хорошо символизируется состоянием Азии, как и состоянием языческой Европы. Я не имею в виду просто их моральное или аморальное состояние. Миссионер, на самом деле, может сказать в свое оправдание гораздо больше, чем воображают просвещенные люди, даже когда он говорит, что язычники являются идолопоклонниками и безнравственными. Пара штрихов реалистичного опыта в отношении восточной религии, даже мусульманской, выявят некоторые поразительные недостатки этики; например, практическое безразличие к границе между страстью и извращением. Это не предрассудок, а практический опыт, который говорит, что Азия полна демонов, так же как и богов. Но зло, которое я имею в виду, находится в уме. И это происходит в уме везде, где ум долгое время работал в одиночестве. Это то, что происходит, когда все мечты и размышления заканчиваются пустотой, которая является одновременно отрицанием и необходимостью. Это звучит как анархия, но это также и рабство. Это то, что уже было названо колесом Азии; все эти повторяющиеся споры о причине и следствии или о вещах, начинающихся и заканчивающихся в уме, которые делают невозможным для души по-настоящему вырваться и отправиться куда-либо или что-либо сделать. И дело в том, что это не обязательно свойственно азиатам; в конце концов, это было бы верно и для европейцев — если бы что-то не произошло. Если бы Воинствующая Церковь не была марширующей тварью, все люди топтались бы на месте. Если бы Воинствующая Церковь не подвергалась дисциплине, все люди подверглись бы рабству.

То, что эта всеобщая, но борющаяся вера принесла в мир, было надеждой. Возможно, единственной общей чертой мифологии и философии было то, что обе были по-настоящему печальны; в том смысле, что у них не было этой надежды, даже если в них были нотки веры или милосердия. Мы можем называть буддизм верой, хотя для нас это больше похоже на сомнение. Мы можем называть Господа Сострадания Господом Милосердия, хотя нам это кажется очень пессимистической разновидностью жалости. Но те, кто больше всего настаивает на древности и размахе таких культов, должны согласиться, что за все свои века они не охватывали все свои территории такой практической и воинственной надеждой. В христианском мире надежда никогда неотсутствовала; скорее, она была странной, экстравагантной, чрезмерно сосредоточенной на мимолетных шансах. Его постоянные революции и реконструкции, по крайней мере, свидетельствуют о том, что люди находятся в лучшем настроении. Европа

действительно обновила свою молодость подобно орлам; точно так же, как римские орлы снова поднялись над легионами Наполеона, или мы только вчера видели парящего серебряного орла Польши. Но в польском случае даже революция всегда сопровождалась религией. Сам Наполеон стремился к примирению с религией. Религию никогда нельзя было окончательно отделить даже от самых враждебных надежд; просто потому, что она была настоящим источником надежды. И причину этого следует искать просто в самой религии. Те, кто ссорится из-за этого, редко даже рассматривают это само по себе. Здесь нет места для такого всестороннего рассмотрения; но можно сказать несколько слов, объясняющих примирение, которое всегда повторяется и, по-видимому, все еще требует объяснения.

Утомительным спорам о либерализации теологии не будет конца до тех пор, пока люди не столкнутся с фактом, что единственной либеральной ее частью на самом деле является догматическая. Если догма невероятна, то это потому, что она невероятно либеральна. Если она иррациональна, то только потому, что дает нам больше уверенности в свободе, чем это оправдано разумом. Очевидным примером является та существенная форма свободы, которую мы называем свободой воли. Абсурдно говорить, что человек проявляет свою щедрость, отрицая свою свободу. Но вполне вероятно, что он должен утвердить трансцендентальную доктрину, чтобы утвердить свою свободу. В каком-то смысле мы могли бы обоснованно сказать, что если у человека есть первичная способность выбора, то на самом деле он обладает сверхъестественной силой творения, как если бы он мог воскрешать мертвых или давать жизнь нерожденным. Возможно, в этом случае человек должен быть чудом; и, конечно, в этом случае он должен быть чудом, чтобы быть человеком; и, безусловно, для того, чтобы быть свободным человеком. Но абсурдно запрещать ему быть свободным человеком и делать это во имя более свободной религии.

Но это верно и в двадцати других вопросах. Любой, кто вообще верит в Бога, должен верить в абсолютное превосходство Бога. Но в той мере, в какой это господство допускает какие-либо степени, которые можно назвать либеральными или нелиберальными, самоочевидно, что нелиберальная власть является божеством рационалистов, а либеральная власть - божеством догматиков. Точно в той же пропорции, в какой вы превращаете монотеизм в монизм, вы превращаете его в деспотизм. Именно неизвестный Бог ученого с его непостижимой целью и его неизбежным и неизменным законом напоминает нам прусского автократа, строящего жесткие планы в отдаленной палатке идвигающего человечеством, как машиной. Именно Бог чудес и услышанных молитв напоминает нам либерального и популярного правителя, принимающего петиции, слушающего парламенты и рассматривающего дела целого народа. Я сейчас не оспариваю рациональность этой концепции в других отношениях; на самом деле она не является, как некоторые предполагают, иррациональной; ибо нет ничего иррационального в том, что мудрейший и наиболее хорошо информированный король действует по-разному в соответствии с действиями тех, кого он хочет спасти. Но я здесь лишь отмечаю общую природу либеральности, или свободной или расширенной атмосферы действия. И в этом отношении несомненно, что король может быть тем, кого мы называем великодушными, только если он тот, кого некоторые называют капризными. Именно католик чувствует, что его молитвы действительно имеют значение, когда они возносятся за живых и умерших, а также чувствует, что живет как свободный гражданин в чем-то почти подобном конституционному содружеству. Монист, живущий по единому железному закону, должен чувствовать себя рабом при султани. Действительно, я полагаю, что первоначальное использование слова *suffragium*, которое мы сейчас используем в политике для обозначения голосования, было тем, которое

использовалось в теологии в отношении молитвы. Говорили, что мертвые в Чистилище имеют те же права голоса, что и живые. И в этом смысле, о своего рода праве обращения с петицией к верховному правителю, мы действительно можем сказать, что все Сообщество Святых, так же как и вся Воинствующая Церковь, основано на всеобщем избирательном праве.

Но прежде всего, это верно в отношении самой грандиозной проблемы; в отношении той трагедии, которая создала божественную комедию нашего вероучения. Ничто, кроме экстремального, сильного и потрясающего учения о божественности Христа, не произведет того особого эффекта, который действительно может взбудоражить народные чувства подобно звуку трубы; идея о том, что сам король служит в рядах, как простой солдат. Делая эту фигуру просто человеком, мы делаем эту историю гораздо менее человеческой. Мы убираем суть истории, которая на самом деле пронзает человечество; суть истории, которая была в буквальном смысле острием копья. Утверждение о том, что хорошие и мудрые люди могут умереть за свои мнения, не особенно очеловечивает вселенную; точно так же, как это не было бы какой-либо шумно популярной новостью в армии о том, что хороших солдат можно легко убить. То, что король Леонидас мертв, не является новостью так же, как и то, что королева Анна мертва; и люди не ждали, когда христианство станет мужчинами в полном смысле этого слова, героями. Но если мы сейчас описываем атмосферу того, что великодушно, популярно и даже живописно, любое знание человеческой природы скажет нам, что никакие страдания сынов человеческих или даже слуг Божьих не вызывают такой же реакции, как представление о господине, страдающем вместо своих слуг. И это дано теологическим, а явно не научным божеством. Ни один таинственный монарх, укрывшийся в своем звездном шатре у подножия космической кампании, ни в малейшей степени не похож на то небесное рыцарство Капитана, который несет свои пять ранений на передовой.

На самом деле обличитель догмы имеет в виду не то, что догма плоха; скорее, догма слишком хороша, чтобы быть правдой. То есть он имеет в виду, что догма слишком либеральна, чтобы быть вероятной. Догма дает человеку слишком много свободы, когда позволяет ему пасть. Догма дает даже Богу слишком много свободы, когда позволяет ему умереть. Это то, что должны были бы сказать разумные скептики; и я ни в малейшей степени не собираюсь отрицать, что в пользу этого можно что-то сказать. Они имеют в виду, что вселенная сама по себе является вселенской тюрьмой; что само существование является ограничением и контролем; и не зря они называют причинно-следственную связь цепью. Одним словом, они просто имеют в виду, что не могут верить в эти вещи; ни в коей мере не то, что они недостойны веры. Мы говорим, не легкомысленно, а очень буквально, что истина сделала нас свободными. Они говорят, что это делает нас настолько свободными, что это не может быть правдой. Для них это все равно что верить в сказочную страну - верить в такую свободу, которой мы наслаждаемся. Тешить воображение людей с волей - все равно что верить в людей с крыльями. Верить в человека, который волен спрашивать, или в Бога, который волен отвечать, все равно что принимать басню о белке, беседующей с горой. Это мужественное и рациональное отрицание, к которому я, например, всегда буду относиться с уважением. Но я отказываюсь проявлять какое-либо уважение к тем, кто первым делом подрезает птицу и сажает белку в клетку, заклепывает цепи и отказывается от свободы, закрывает за нами все двери космической тюрьмы с лязгом вечного железа, говорит нам, что наше освобождение - мечта, а наша темница - необходимость; а затем спокойно поворачивается и говорит нам, что у них более свободное мышление и более либеральная теология.

Мораль всего этого древняя; религия есть откровение. Другими словами, это видение, и видение, полученное верой; но это видение реальности. Вера заключается в убеждении в ее реальности. В этом, например, разница между видением и сном наяву. И в этом разница между религией и мифологией. В этом разница между верой и всей той фантазией, вполне человеческой и более или менее здоровой, которую мы рассматривали в разделе мифологии. В разумном использовании самого слова "видение" есть что-то такое, что подразумевает две связанные с ним вещи: во-первых, оно приходит очень редко, возможно, только один раз; и, во-вторых, оно, вероятно, приходит раз и навсегда. Сны наяву могут приходить каждый день. Сны наяву каждый день могут быть разными. Это нечто большее, чем разница между рассказыванием историй о привидениях и встречах с призраком.

Но если это не мифология, то и не философия. Это не философия, потому что, будучи видением, это не образец, а картинка. Это не одно из тех упрощений, которые сводят все к абстрактному объяснению; например, что все повторяется; или все относительно; или все неизбежно; или все иллюзорно. Это не процесс, а история. У него есть пропорции, подобные тем, которые можно увидеть на картине или рассказе; в нем нет регулярных повторений паттерна или процесса; но он заменяет их, будучи убедительным, как убедительна картина или рассказ. Другими словами, это в точности, как говорится, похоже на жизнь. Ибо это действительно жизнь. Пример того, что здесь имеется в виду, вполне можно найти в трактовке проблемы зла. Достаточно легко составить план жизни, фон которого черный, как это делают пессимисты; а затем признать одну-две пылинки звездной пыли более или менее случайными или, по крайней мере, в буквальном смысле незначительными. И достаточно легко составить другой план на белой бумаге, как это делают христианские ученые, и как-то объяснить такие точки или размытости, которые может быть трудно отрицать. Наконец, возможно, проще всего сказать, как это делают дуалисты, что жизнь подобна шахматной доске, на которой двое равны; и с таким же успехом можно сказать, что она состоит из белых квадратов на черной доске или из черных квадратов на белой. Но каждый человек в глубине души чувствует, что ни один из этих трех бумажных планов не похож на жизнь; что ни в одном из этих миров он не может жить. Что-то подсказывает ему, что конечная идея мира не является плохой или даже нейтральной; глядя на небо, или на траву, или на математические истины, или даже на только что снесенное яйцо, у него возникает смутное чувство, похожее на тень высказывания великого христианского философа святого Фомы Аквинского: 'Каждое существование как таковое хорошо'. С другой стороны, что-то другое подсказывает ему, что сводить зло к точке или даже кляксе - недостойно мужчины и даже болезненно. Он понимает, что оптимизм нездоров. Это, если возможно, даже более болезненно, чем пессимизм. Эти смутные, но здоровые чувства, если бы он последовал за ними, привели бы к идее, что зло в некотором роде является исключением, но огромным исключением; и в конечном счете это зло - вторжение или, что еще вернее, восстание. Он не думает, что все правильно, или что все неправильно, или что все в равной степени правильно и неправильно. Но он действительно думает, что правильное имеет право быть правильным и, следовательно, право быть там; а неправильное не имеет права быть неправильным и, следовательно, не имеет права быть там. Это князь мира сего, но это также и узурпатор. Таким образом, он будет смутно воспринимать то, что видение даст ему живо; не меньше, чем всю эту странную историю об измене на небесах и великом дезертирстве, посредством которого зло повредило и попыталось уничтожить космос, который оно не могло создать. Это очень странная история, и ее пропорции, линии и цвета столь же произвольны и абсолютны, как художественная композиция картины. Это видение, которое мы на самом деле символизируем

на картинах титаническими конечностями и страстными переливами оперения; все это бездонное видение падающих звезд и павлиньих dospехов ночи. Но у этой странной истории есть одно небольшое преимущество перед диаграммами. Она похожа на жизнь.

Можно найти другой пример, но не в проблеме зла, а в том, что называется проблемой прогресса. Один из самых способных агностиков эпохи однажды спросил меня, считаю ли я, что человечество стало лучше, или стало хуже, или осталось прежним. Он был уверен, что альтернатива охватывает все возможности. Он не видел, что это касалось только узоров, а не картинок; процессов, а не историй. Я спросил его, считает ли он, что мистер Смит из Голдерз-Грин стал лучше или хуже или остался точно таким же в возрасте от тридцати до сорока лет. Затем, казалось, до него дошло, что это скорее будет зависеть от мистера Смита и от того, как он решит действовать дальше. Ему никогда не приходило в голову, что это может зависеть от того, как человечество решит жить дальше; и что его путь - это не прямая линия, не изгиб вверх или вниз, а путь, подобный пути человека через долину, идущего туда, куда ему нравится, и останавливающегося там, где он выбирает, заходящего в церковь или падающего пьяным в канаву. Жизнь человека - это история; приключенческая история; и в нашем представлении то же самое верно даже для истории Бога.

Католическая вера - это примирение, потому что это реализация как мифологии, так и философии. Это история, и в этом смысле одна из сотен историй; только это правдивая история. Это философия, и в этом смысле одна из сотни философий; только это философия, подобная жизни. Но прежде всего, это примирение, потому что это то, что можно назвать только философией историй. Тот нормальный повествовательный инстинкт, который породил все волшебные сказки, - это то, чем пренебрегают все философии, кроме одной. Вера - это оправдание этого народного инстинкта; поиск философии для него или анализ философии, содержащейся в нем. Точно так же, как человек в приключенческом рассказе должен пройти различные испытания, чтобы спасти свою жизнь, так и человек в этой философии должен пройти несколько испытаний и спасти свою душу. В обоих случаях присутствует идея свободной воли, действующей в условиях преднамеренности; другими словами, есть цель, и дело человека стремиться к ней; поэтому мы следим, достигнет ли он ее. Теперь этот глубокий, демократический и драматический инстинкт высмеивается и отвергается всеми другими философиями. Ибо все остальные философии заведомо заканчиваются там, где они начинаются; и определение истории заключается в том, что она заканчивается по-разному; что она начинается в одном месте и заканчивается в другом. От Будды с его колесом до Ахен-Атона с его диском, от Пифагора с его абстракцией числа до Конфуция с его религией рутины - нет ни одного из них, который в той или иной степени не грешил бы против души истории. Ни один из них по-настоящему не понимает этого человеческого представления о сказке, испытании, приключении; испытании свободного человека. Каждый из них, так сказать, лишает инстинкта рассказчика историй и делает что-то, что портит человеческую жизнь, рассматриваемую как романтика; либо фатализмом (пессимистическим или оптимистическим) и той судьбой, которая является смертью приключений; либо безразличием и той отстраненностью, которая является смертью драмы; либо фундаментальным скептицизмом, который разлагает действующих лиц на атомы; либо материалистическим ограничением, блокирующим перспективу моральных последствий; либо механическим повторением, делающим монотонными даже моральные тесты; либо бездонной относительностью, делающей небезопасными даже практические тесты. Есть такая вещь, как человеческая история; и есть такая вещь, как божественная история, которая также является человеческой историей. Но не существует такой вещи, как

гегелевская история, или монистическая история, или релятивистская история, или детерминистская история. В каждой истории, да, даже в ужасном романе за копейки или дешевой новелле, есть что-то такое, что принадлежит нашей вселенной, а не их. Каждый короткий рассказ действительно начинается с сотворения мира и заканчивается страшным судом.

И *это* и есть причина, по которой мифы и философы враждовали до прихода Христа. Вот почему афинская демократия убила Сократа из уважения к богам; и почему каждый бродячий софист напускал на себя вид Сократа всякий раз, когда мог говорить о богах в высоком тоне; и почему фараон-еретик разрушал своих огромных идолов и храмы ради абстракции, и почему жрецы могли вернуться с триумфом и растоптать ногами его династию; и почему буддизму пришлось отделиться от брахманизма, и почему в каждую эпоху и в каждой стране за пределами христианского мира между философом и жрецом всегда была вражда. Достаточно легко сказать, что философ, как правило, более рационален; еще легче забыть, что священник всегда более популярен. Ибо священник рассказывал людям истории; а философ не понимал философии истории. Она пришла в мир с историей Христа.

И вот почему это должно было быть откровением или видением, данным свыше. Любой, кто задумается о теории историй или картинок, легко поймет суть. Истинная история мира должна быть рассказана кем-то другому. По самой природе истории это не может произойти ни скем-либо. В истории есть пропорции, вариации, сюрпризы, особые расположения, которые нельзя рассчитать по правилам абстрактно, как сумму. Мы не могли сделать вывод, вернет ли Ахилл тело Гектора или нет, исходя из пифагорейской теории чисел или повторяемости; и мы не могли сами сделать вывод, каким образом мир вернет тело Христа, просто из того, что нам сказали, что все вещи вращаются вокруг колеса Будды. Человек, возможно, мог бы сформулировать предложение Евклида, не слыша об Эвклиде; но он не смог бы сформулировать точную легенду об Эвридике, не услышав об Эвридике. Во всяком случае, он не был уверен, чем закончится эта история и потерпит ли Орфей окончательное поражение. Еще меньше он мог догадаться о конце нашей истории или о легенде о нашем Орфее, восставшем из мертвых, но не побежденном.

Подводя итог: здравомыслие мира было восстановлено, и душа человека получила спасение благодаря чему-то, что действительно удовлетворяло две враждующие тенденции прошлого; которые никогда не были удовлетворены полностью и, безусловно, никогда не были удовлетворены вместе. Она соответствовала мифологическим поискам романтики, будучи историей, и философским поискам истины, будучи правдивой историей. Вот почему идеальной фигурой должен был быть исторический персонаж, поскольку никто никогда не считал Адониса или Пана историческими персонажами. Но именно поэтому исторический персонаж должен был быть идеальной фигурой; и даже выполнять многие функции, возложенные на эти другие идеальные фигуры; почему он был одновременно жертвой и пиршеством, почему его можно было изображать под эмблемами растущей виноградной лозы или восходящего солнца. Чем глубже мы вдумываемся в этот вопрос, тем больше приходим к выводу, что, если Бог действительно существует, его творение вряд ли могло достичь какой-либо иной кульминации, кроме этого дарования миру настоящей романтики. В противном случае две стороны человеческого разума вообще никогда бы не соприкоснулись; и мозг человека оставался бы раздвоенным; одна его доля видела невозможные сны, а другая повторяла неизменные вычисления. Художники-живописцы так и остались бы вечно писать ничьи портреты. Мудрецы

так и остались бы вечно складывать цифры, которые ни к чему не приводили. Это была та пропасть, которую ничто, кроме воплощения, не могло покрыть; божественное воплощение наших мечтаний; и он стоит над этой пропастью, чье имя больше, чем священник, и старше даже, чем христианский мир; Верховный Понтифик, самый могущественный строитель моста.

Но даже при этом мы возвращаемся к более специфическому христианскому символу в той же традиции - совершенному рисунку ключей. Это исторический, а не теологический очерк, и в мои обязанности здесь не входит подробно защищать эту теологию, а просто указать на то, что она не могла бы быть обоснована даже по замыслу, не будучи обоснованной в деталях — например, в ключе. Помимо общего предложения, содержащегося в этой главе, я не пытаюсь оправдываться по поводу того, почему символ веры должен быть принят. Но в ответ на исторический вопрос о том, почему это было принято и остается принятым, я отвечаю за миллионы других в своем ответе: потому что это подходит к замку; потому что это похоже на жизнь. Это одна из многих историй; только так получилось, что это правдивая история. Это одна из многих философий; только так получилось, что это правда. Мы принимаем это; и почва тверда под нашими ногами, и дорога открыта перед нами. Это не заключает нас в тюрьму мечты о судьбе или сознания вселенского заблуждения. Это открывает нам не только невероятные небеса, но и то, что некоторым кажется не менее невероятной землей, и делает это правдоподобным. Это та истина, которую трудно объяснить, потому что это факт; но это факт, свидетелями которого мы можем призвать. Мы христиане и католики не потому, что поклоняемся ключу, а потому, что прошли мимо двери и почувствовали ветер, который является трубой свободы, пронесшийся над землей живых.

ГЛАВА VI

ПЯТЬ СМЕРТЕЙ ВЕРЫ

В задачу этой книги не входит проследивать последующую историю христианства, особенно позднейшую историю христианства, которая включает в себя споры, о которых я надеюсь более подробно рассказать в другом месте. Она посвящена только предположению о том, что христианство, появившееся среди языческого человечества, имело характер чего-то уникального и даже сверхъестественного. Это не было похоже ни на что другое; и чем больше мы это изучаем, тем меньше это похоже на что-либо из них. Но есть определенный, довольно своеобразный характер, который отмечал его с тех пор и до настоящего момента, отмечая, на чем эта книга вполне может завершиться.

Я уже говорил, что Азия и древний мир выглядели слишком старыми, чтобы умереть. У христианского мира была совершенно противоположная судьба. Христианский мир пережил серию революций, и в каждой из них христианство умирало. Христианство умирало много раз и воскресало снова; ибо у него был бог, который знал выход из могилы. Но первый экстраординарный факт, отмечающий эту историю, таков: европа снова и снова переворачивалась с ног на голову; и что в конце каждой из этих революций одна и та же религия снова оказывалась наверху. Вера всегда преобразует эпоху, не как старая религия, а как новая. Эта истина скрыта от многих условностями, на которые слишком мало обращают внимания. Достаточно любопытно, что это конвенция того рода, которую, как утверждают те, кто ее игнорирует, специально выявляют и осуждают те, кто ее игнорирует. Они всегда говорят нам, что священники и церемонии не являются религией и что религиозная организация может быть

пустым обманом; но они вряд ли осознают, насколько это правда. Это настолько верно, что по крайней мере три или четыре раза в истории христианского мира казалось, что вся душа покидала христианство; и почти каждый человек в глубине души ожидал его конца. Этот факт лишь маскировался в средневековье и в другие времена той самой официальной религией, которую такие критики гордятся тем, что видят насквозь. Христианство оставалось официальной религией правителя эпохи Возрождения или официальной религией епископа восемнадцатого века, точно так же, как античная мифология оставалась официальной религией Юлия Цезаря или арианское вероучение долгое время оставалось официальной религией Юлиана Отступника. Но между делами Юлия и Юлиана была разница, потому что Церковь начала свою странную карьеру. Не было причин, по которым люди, подобные Юлию, не могли бы вечно поклоняться богам, подобным Юпитеру, публично и вечно смеяться над ними наедине. Но когда Юлиан считал христианство мертвым, он обнаружил, что оно снова ожило. Между прочим, он также обнаружил, что не было ни малейших признаков того, что Юпитер когда-либо снова оживет. Этот случай с Юлианом и эпизодом арианства - лишь первый из серии примеров, которые здесь можно лишь приблизительно обозначить. Арианство, как уже было сказано, имело все человеческие признаки естественного способа, которым можно было ожидать исчезновения этого конкретного суеверия Константина. Все обычные стадии были пройдены; символ веры стал чем-то респектабельным, превратился в ритуал, затем был видоизменен в нечто рациональное; и рационалисты были готовы уничтожить последние остатки его, точно так же, как они делают это сегодня. Когда христианство внезапно восстало снова и отбросило их, это было почти так же неожиданно, как воскресение Христа из мертвых. Но есть много других примеров того же самого, даже примерно в то же время. Наплыв миссионеров из Ирландии, например, напоминает неожиданный натиск молодых людей на старый мир и даже на Церковь, которая проявляла признаки старения. Некоторые из них приняли мученическую смерть на побережье Корнуолла; и главный специалист по древностям Корнуолла сказал мне, что он ни на минуту не верит, что они были замучены язычниками, но (как он выразился с некоторым юмором) "довольно слабохарактерными христианами".

Теперь, если бы мы углубились в историю, что не входит в рамки данного аргумента, я подозреваю, что мы нашли бы несколько случаев, когда христианский мир, по всей видимости, был опустошен изнутри сомнением и безразличием, так что только старая христианская оболочка устояла так же, как так долго стояла языческая. Но разница в том, что в каждом подобном случае сыновья были фанатичны в вере там, где отцы проявляли слабость в этом отношении. Это очевидно в случае перехода от эпохи Возрождения к Контрреформации. Это очевидно в случае перехода от восемнадцатого века ко многим католическим возрождениям нашего времени. Но я подозреваю, что есть много других примеров, которые были бы достойны отдельного изучения.

Вера - это не выживание. Нельзя сказать, что друидам каким-то образом удавалось где-то выживать в течение двух тысяч лет. Это то, что могло бы произойти в Азии или древней Европе, при том безразличии или терпимости, в условиях которых мифологии и философии могли бы вечно жить бок о бок. Оно не выжило; оно возвращалось снова и снова в этом западном мире быстрых перемен и постоянно гибнущих институтов. Европа, в традициях Рима, всегда пыталась совершить революцию и реконструкцию; восстановить всемирную республику. И это всегда начиналось с того, что отвергался этот старый камень, а заканчивалось тем, что он становился украшением угла; его возвращали с мусорной кучи, чтобы сделать из него корону капитолия. Некоторые камни Стоунхенджа стоят, а некоторые упали; и как камень упадет, так он и будет

лежать. Не каждое столетие или два происходило возрождение друидизма, когда молодые друиды, увенчанные свежей омелой, танцевали под солнцем на равнине Солсбери. Стоунхендж перестраивался не во всех архитектурных стилях - от грубого округлого нормандского до последнего рококо в стиле барокко. Священное место друидов защищено от вандализма при реставрации.

Но Церковь на Западе находилась не в мире, где вещи были слишком старыми, чтобы умереть; а в мире, в котором они всегда были достаточно молоды, чтобы быть убитыми. Следствием этого было то, что внешне его часто убивали; более того, иногда он изнашивался даже без того, чтобы его убивали. И далее следует факт, который мне несколько трудно описать, но который я считаю очень реальным и довольно важным. Как призрак - это тень человека и в этом смысле тень жизни, так и через эту бесконечную жизнь время от времени проходила своего рода тень смерти. Оно пришло в тот момент, когда оно погибло бы, будь оно скоропортящимся. Оно уничтожило все, что было скоропортящимся. Если бы подобные параллели с животными были уместны, мы могли бы сказать, что змея вздрогнула, сбросила кожу и пошла дальше, или даже что у кошки начались конвульсии, поскольку она потеряла только одну из своих девятисот девяноста девяти жизней. Правильнее было бы сказать более достойным образом, что часы пробили, но ничего не произошло; или что колокол возвестил о казни, которая постоянно откладывалась.

Что означали все эти смутные, но масштабные волнения двенадцатого века, когда, как было так тонко сказано, Юлиан пошевелился во сне? Почему так странно рано, в предрассветных сумерках после Темных веков, возник столь глубокий скептицизм, связанный с противопоставлением номинализма реализму? Ибо реализм против номинализма на самом деле был реализмом против рационализма, или чем-то более разрушительным, чем то, что мы называем рационализмом. Ответ заключается в том, что точно так же, как некоторые могли считать Церковь просто частью Римской империи, другие позже могли считать Церковь всего лишь частью Темных веков. Темные века закончились вместе с концом Империи; и Церковь должна была бы уйти вместе с ними, если бы она тоже была одной из теней ночи. Это была еще одна из тех призрачных смертей или имитаций смерти. Я имею в виду, что если бы номинализм преуспел, это было бы все равно, как если бы преуспело арианство; это было бы началом признания того, что христианство потерпело неудачу. Ибо номинализм - это гораздо более фундаментальный скептицизм, чем простой атеизм. Таков был вопрос, который открыто задавался по мере того, как Темные века переходили в тот дневной свет, который мы называем современным миром. Но каков был ответ? Ответом был Аквинат на кафедре Аристотеля, взявший все знания в свою компетенцию; и десятки тысяч парней, вплоть до низших слоев крестьян и крепостных, живущих в лохмотьях и на корках в больших колледжах, чтобы слушать схоластическую философию.

Что означал весь этот шепот страха, который пронесся по Западу под сенью ислама и наполняет все старые романы неуместными образами сарацинских рыцарей, чванливо разгуливающих по Норвегии или Гебридским островам? Почему людей на крайнем Западе, таких как король Иоанн, если я правильно помню, обвиняли в том, что они тайные мусульмане, подобно тому, как мужчин обвиняют в том, что они тайные атеисты? Почему некоторые представители власти были так встревожены рационалистической арабской версией или Аристотелем? Власти редко так встревожены, за исключением тех случаев, когда уже слишком поздно. Ответ заключается в том, что сотни людей, вероятно, в глубине души верили, что ислам победит христианский мир;

что Аверроэс был более рационален, чем Ансельм; что сарацинская культура на самом деле, какой бы поверхностной она ни была, была высшей культурой. И здесь мы, вероятно, снова обнаружим целое поколение, старшее поколение, очень сомневающееся, подавленное и усталое. Приход ислама был бы всего лишь приходом унитаризма на тысячу лет раньше своего времени. Многим это могло показаться вполне разумным и вполне вероятным, и вполне вероятно, что это произойдет. Если бы это было так, они бы были удивлены тем, что действительно произошло. То, что действительно произошло, было громоподобным ревом тысяч и тысяч молодых людей, бросивших всю свою молодость в одну ликующую контратаку - Крестовые походы. Это были сыны Святого Франциска, Божьи Жонглеры, странствующие с пением по всем дорогам мира; это была Готика, взлетающая подобно полету стрелы; это было пробуждение мира. Рассматривая войну альбигойцев, мы подходим к разрыву в сердце Европы и обвальному падению новой философии, которая едва не положила конец христианскому миру навсегда. В этом случае новая философия была также очень новой философией; это был пессимизм. Тем не менее, она была похожа на современные идеи, потому что она была такой же древней, как Азия; большинство современных идей таковы. Это были возвращающиеся гностики; но почему вернулись гностики? Потому что это был конец эпохи, подобный концу Империи; и это должен был быть конец Церкви. Это был Шопенгауэр, парящий над будущим; но это был также Манихей, восставший из мертвых; чтобы люди могли иметь смерть и чтобы они могли иметь ее в большем изобилии.

Это гораздо более очевидно в случае Возрождения, просто потому, что этот период намного ближе к нам и люди знают о нем гораздо больше. Но даже в этом примере содержится больше, чем знает большинство людей. Помимо конкретных противоречий, которые я хотел бы оставить для отдельного исследования, период был гораздо более хаотичным, чем обычно подразумевают эти противоречия. Когда протестанты называют Латимера мучеником протестантизма, а католики отвечают, что Кэмптон был мучеником католицизма, часто забывают, что в ходе таких преследований погибло много людей, которых можно охарактеризовать только как мучеников атеизма, анархизма или даже дьяволизма. Тот мир был почти таким же диким, как наш; среди людей, бродивших в нем, были люди, которые говорили, что Бога нет, люди, которые называли себя Богом, люди, которые говорили, что они сами являются Богом, люди, которые говорили что-то, в чем никто не мог разобраться. Если бы мы могли вести *разговор* об эпохе, последовавшей за Возрождением, мы, вероятно, были бы шокированы ее бесстыдным отрицанием. Замечания, приписываемые Марлоу, вероятно, довольно типичны для разговоров во многих интеллектуальных тавернах. Переход от дореформационной Европы к Пореформационной проходил через пустоту весьма зияющих вопросов; и все же в конечном итоге ответ был тот же. Это был один из тех моментов, когда, как Христос ходил по воде, так и христианство ходило по воздуху.

Но все эти случаи имеют отдаленную дату и могут быть доказаны только в деталях. Мы можем увидеть этот факт гораздо яснее в случае, когда язычество эпохи Возрождения положило конец христианству, и христианство необъяснимым образом началось заново. Но яснее всего мы можем видеть это в случае, который нам близок и полон явных и мельчайших свидетельств; в случае великого упадка религии, начавшегося примерно во времена Вольтера. Ибо на самом деле это наш собственный случай; и мы сами были свидетелями упадка этого упадка. Двести лет, прошедшие после Вольтера, не проносятся перед нами так быстро, как четвертое и пятое столетия или двенадцатое и тринадцатое столетия. В нашем собственном случае мы можем наблюдать этот часто повторяющийся процесс вплотную; мы знаем, насколько полностью

общество может потерять свою основную религию, не отменяя своей официальной религии; мы знаем, как все люди могут стать агностиками задолго до того, как они упразднят епископов. И мы знаем, что и в этом последнем финале, который действительно казался нам окончательным, снова произошло невероятное: у Веры больше последователей среди молодежи, чем среди стариков. Когда Ибсен говорил о новом поколении, стучащемся в дверь, он, конечно, никогда не ожидал, что это будет дверь церкви.

Следовательно, по крайней мере пять раз, у ариан и альбигойцев, у гуманистов-скептиков, после Вольтера и после Дарвина, Вера, по всей видимости, шла прахом. В каждом из этих пяти случаев погибла собака. Насколько полным был крах и насколько странным был разворот, мы можем увидеть в деталях только в случае, наиболее близком к нашему времени.

Тысячи слов было сказано об Оксфордском движении и параллельном французском католическом возрождении; но лишь немногие заставили нас осознать самый простой факт - что это было неожиданностью. Это было не только сюрпризом, но и загадкой, потому что большинству людей это казалось рекой, которая поворачивает вспять от моря и пытается снова взобраться в горы. Читать литературу восемнадцатого и девятнадцатого веков - значит знать, что почти все привыкли считать само собой разумеющимся, что религия - это нечто такое, что будет постоянно расширяться, подобно реке, пока не достигнет бесконечного моря. Некоторые из них ожидали, что она превратится в водопад катастрофы, большинство из них ожидали, что она расширится до устья равенства и умеренности; но все они считали, что ее возвращение само по себе является чудом столь же невероятным, как колдовство. Другими словами, большинство умеренных людей думали, что вера, как и свобода, будет постепенно расширяться; а некоторые продвинутые люди думали, что она будет очень быстро расширяться, если не сказать сглаживаться. Весь этот мир Гизо и Маколея, коммерческой и научной либеральности, возможно, был более уверен, чем кто-либо другой до или после, в том, в каком направлении движется мир. Люди были настолько уверены в направлении, что расходились только в темпе. Многие с тревогой, а некоторые и с сочувствием ожидали восстания якобинцев, в результате которого архиепископ Кентерберийский будет гильотинирован, или бунта чартистов, в результате которого священников повесят на фонарных столбах. Но то, что архиепископ вместо того, чтобы потерять голову, должен искать свою митру, было похоже на судорогу в природе; и что вместо того, чтобы уменьшать уважение, подобающее священникам, мы должны усилить его до уважения, подобающего священникам. Это перевернуло само их представление о революции; и перевернуло всю их жизнь с ног на голову.

Короче говоря, весь мир, разделенный по поводу того, течет ли поток медленнее или быстрее, осознал нечто смутное, но огромное, что движется против течения. Как в фактах, так и в цифрах есть что-то глубоко тревожащее в этом, и на то есть существенная причина. Мертвое существо может плыть по течению, но только живое существо может идти против него. Мертвую собаку можно поднять из бурлящей воды со всей быстротой прыгающей гончей, но только живая собака может плыть задом наперед. Бумажный кораблик может плыть по надвигающемуся потоку со всем воздушным высокомерием волшебного корабля; но если волшебный корабль плывет против течения, на самом деле им управляют феи. И среди вещей, которые просто плыли по течению кажущегося прогресса и расширения, было много демагогов или софистов, чьи дикие жесты на самом деле были столь же безжизненны, как движения конечностей мертвой собаки, колеблющихся в бурлящей воде; и много философий, необычайно похожих на бумажный кораблик, из тех, что нетрудно вдеть в треуголку. Но даже по-настоящему живые и

даже животворящие вещи, которые текли вместе с этим потоком, тем самым не доказывали, что они были живыми или животворящей силой. Именно эта другая сила была бесспорно и необъяснимо живой; таинственная и неизмеримая энергия, которая отталкивала реку назад. Это ощущалось как движение какого-то огромного чудовища; и тем не менее это было живое чудовище, потому что большинство людей считали его доисторическим чудовищем. Тем не менее, это было неестественное, неуместное, а для некоторых и комичное событие; как если бы Огромный Морской Змей внезапно поднялся из Круглого пруда — если только мы не считаем, что Морской Змей, скорее всего, обитает в Серпантине. Этот легкомысленный элемент фантазии нельзя упускать из виду, поскольку он был одним из самых ярких свидетельств неожиданного характера разворота событий. В ту эпоху действительно чувствовалось, что нелепое свойство доисторических животных также относилось к историческим ритуалам; что митры и диадемы были подобны рогам или гребням допотопных существ; и что обращаться в первобытную Церковь было все равно что переодеваться первобытным человеком.

Мир все еще озадачен этим движением; но больше всего потому, что оно все еще движется. Я уже говорил кое-что в другом месте о довольно случайном роде упреков, которые все еще направлены против него, и о его гораздо более серьезных последствиях; здесь достаточно сказать, что чем больше такие критики упрекают его, тем меньше они объясняют его. В некотором смысле моя забота здесь - если не объяснить это, то, по крайней мере, предложить направление объяснения; но прежде всего, моя забота - указать на одну конкретную вещь в этом. И дело в том, что все это случилось раньше; и даже много раз раньше.

Подводя итог, можно сказать, что в той мере, в какой верно, что в последние столетия христианская доктрина ослабла, в последние столетия было замечено только то, что видели самые отдаленные века. И даже современный пример закончился только тогда, когда закончились средневековые и досредневековые примеры. Уже ясно, и с каждым днем становится все яснее, что это закончится не исчезновением уменьшенного вероучения, а скорее возвращением тех его частей, которые действительно исчезли. Это закончится так же, как закончился арианский компромисс, как закончились попытки компромисса с номинализмом и даже с альбигойством. Но суть, которую следует уловить в современном случае, как и во всех других случаях, заключается в том, что то, что возвращается, не является в этом смысле упрощенной теологией; согласно этой точке зрения, это не очищенная теология; это просто теология. Именно этим энтузиазмом к богословским исследованиям были отмечены самые доктринальные эпохи; это божественная наука. Старый Дон с именем D.D. после его имени, возможно, стал типичной фигурой зануды; но это было потому, что ему самому наскучила его теология, а не потому, что он был взволнован ею. Именно потому, что его, по общему признанию, больше интересовала латынь Плавта, чем латынь Августина, греческий Ксенофонта, чем греческий Златоуста. Именно потому, что его больше интересовала мертвая традиция, чем определенно живая. Короче говоря, это было именно потому, что он сам был прообразом того времени, в которое христианская вера была слаба. Это было не потому, что люди не приветствовали бы, если бы могли, чудесное и почти дикое видение доктора богословия.

Есть люди, которые говорят, что хотят, чтобы христианство оставалось духом. Они имеют в виду, в буквальном смысле, что они хотят, чтобы оно оставалось призраком. Но оно не останется в виде призрака. То, что следует за этим процессом кажущейся смерти, - это не сохранение тени; это воскрешение тела. Эти люди вполне готовы проливать благочестивые и благоговейные

слезы над Гробом Сына Человеческого; к чему они не готовы, так это к тому, что Сын Божий снова ступит на утренние холмы. Эти люди, да и вообще большинство людей, действительно к тому времени вполне привыкли к мысли, что старый христианский огарок свечи погаснет при свете обычного дня. Многим из них это действительно казалось бледно-желтым пламенем свечи, когда ее оставляют гореть при дневном свете. Это было тем более неожиданно и, следовательно, тем более безошибочно, что подсвечник с семью ветвями внезапно вознесся к небесам, как чудесное дерево, и пылал до тех пор, пока солнце не побледнело. Но в другие эпохи день побеждал свет свечи, а затем свет свечи побеждал день. Снова и снова, до нашего времени, люди довольствовались размытым учением. И снова и снова за этим разбавлением, словно из темноты багровым водопадом, следовала крепость красного оригинального вина. И сегодня мы только еще раз говорим то, что много раз говорили наши отцы: 'Много лет и столетий назад наши отцы или основатели нашего народа пили, как они мечтали, кровь Бога. Долгие годы и столетия прошли с тех пор, как сила этого гигантского урожая стала чем угодно, только не легендой эпохи гигантов. Столетия назад уже наступили темные времена второго брожения, когда католическое вино превратилось в кальвинистский уксус. Давным-давно этот горький напиток сам по себе был разбавлен; ополоснут и смыт водами забвения и мировой волной. Никогда мы не думали снова ощутить даже этот горьковатый привкус искренности и духа, а тем более насыщенную и сладкую силу пурпурных виноградинок в наших мечтах о золотом веке. День за днем, год за годом мы теряем надежду и наши убеждения; мы все больше и больше привыкаем видеть, как эти чаны и виноградники заливаются водой, и последний аромат и намек на этот особый элемент исчезает, как пурпурное пятно на сером море. Мы привыкли к разбавлению, к растворению, к разбавлению, которое длилось вечно. Но ты сохранил доброе вино до сих пор.

Это окончательный факт, и он самый экстраординарный из всех. Вера не только часто умирала, но и часто умирала от старости. Его не только часто убивали, но и часто он умирал естественной смертью; в смысле прихода к естественному и необходимому концу. Очевидно, что она пережила самые жестокие и повсеместные гонения - от потрясения диоклетиановой ярости до потрясения Французской революции. Но у него есть более странное и еще более странное упорство; он пережил не только войну, но и мир. Она не только часто умирала, но и часто вырождалась и разлагалась; она пережила свою собственную слабость и даже собственную капитуляцию. Нам нет нужды повторять то, что так очевидно в красоте конца Христа в его бракосочетании юности и смерти. Но это почти так же, как если бы Христос дождался до последнего возможного срока, был седовласым мудрецом ста лет и умер от естественного увядания, а затем воскрес снова помолодевшим, с трубами и раскалывающимся небом. Достаточно верно было сказано, что человеческое христианство в своей повторяющейся слабости иногда было слишком привязано к силам мира сего; но если оно и было привязано, то очень часто овдовевало. Это странный вид бессмертной вдовы. Враг мог бы в какой-то момент сказать, что это был всего лишь аспект власти цезарей; и сегодня это звучит так же странно, как называть это аспектом фараонов. Враг может сказать, что это была официальная вера феодализма; и сейчас это звучит так же убедительно, как утверждение, что она должна была погибнуть вместе с древнеримской виллой. Все эти вещи действительно шли своим чередом к своему нормальному завершению; и, казалось, у религии не было иного пути, кроме как покончить с ними. Это закончилось и началось снова.

'Небо и земля прейдут, но мои слова не пройдут'. Цивилизация древности охватывала весь мир, и люди мечтали о ее конце не больше, чем о конце дневного света. Они не могли представить

себе другого порядка, если только он не существовал в другом мире. Мировая цивилизация ушла в прошлое, а эти слова никуда не делись. В долгую ночь Темных веков феодализм был настолько привычным явлением, что ни один человек не мог представить себя без господина; и религия была настолько вплетена в эту сеть, что ни один человек не поверил бы, что их можно разорвать на части. Сам феодализм был разорван в клочья и сгнил в народной жизни истинного Средневековья; и первой и самой свежей силой в этой новой свободе была старая религия. Феодализм ушел в прошлое, а слова никуда не делись. Весь средневековый порядок, во многих отношениях столь совершенный и почти космический дом для человека, в свою очередь постепенно изнашивался: и здесь, по крайней мере, считалось, что слова умрут. Они прошли через сияющую бездну Возрождения и через пятьдесят лет использовали весь его свет и знания для создания новых религиозных основ, новой апологетики, новых святых. Предполагалось, что в конце концов она увяла в сухом свете Эпохи Разума; предполагалось, что в конечном счете она исчезла в результате землетрясения Эпохи Революции. Наука объяснила это; и это все еще существовало. История откопала это в прошлом; и это внезапно появилось в будущем. Сегодня он снова стоит на нашем пути, и даже пока мы наблюдаем за ним, он растет.

Если наши социальные отношения и летописи сохраняют свою преемственность, если люди действительно научатся разумно подходить к накоплению фактов столь сокрушительной истории, то, похоже, рано или поздно даже ее враги научатся из своих непрекращающихся и нескончаемых разочарований не искать такой простой вещи, как ее смерть. Они могут продолжать воевать с ним, но это будет так же, как они воюют с природой; как они воюют с ландшафтом, как они воюют с небом. 'Небо и земля прейдут, но слова Мои не пройдут'. Они будут наблюдать, как оно спотыкается; они будут наблюдать, как оно ошибается; они больше не будут наблюдать, как это заканчивается. Незаметно, даже бессознательно, они в своих собственных безмолвных ожиданиях выполняют относительные условия этого поразительного пророчества; они забудут следить за простым угасанием того, что так часто тщетно тушилось; и научатся инстинктивно в первую очередь ожидать появления кометы или замерзания звезды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭТОЙ КНИГИ

Раз или два я взял на себя смелость позаимствовать превосходную фразу об очерке истории; хотя это исследование особой истины и особой ошибки, конечно, не может претендовать ни на какое сравнение с богатой и многогранной исторической энциклопедией, для которой было выбрано это название. И все же в этой ссылке есть определенная причина; и смысл, в котором одно касается другого и даже пересекается с ним. Ибо история мира, рассказанная мистером Уэллсом, может быть здесь подвергнута критике только в качестве наброска. И, как ни странно, мне кажется, что она неверна только как набросок. Это восхитительно как накопление истории; это великолепно как хранилище или сокровищница истории; это увлекательное исследование истории; это наиболее привлекательно как расширение истории; но это совершенно неверно как очерк истории. Единственное, что кажется мне совершенно неправильным в этом, - это контур; такой контур, который на самом деле может быть одной линией, подобной той, которая отличает карикатурный профиль мистера Уинстона Черчилля от профиля сэра Альфреда Монда. Говоря простым и домашним языком, я имею в виду вещи, которые бросаются в глаза; вещи, которые создают простоту силуэта. Я думаю, что пропорции неправильны; пропорции того, что

определенно по сравнению с тем, что неопределенно, того, что сыграло большую роль по сравнению с тем, что сыграло меньшую роль, того, что является обычным и того, что экстраординарно, того, что действительно находится на уровне среднего, а что выделяется как исключение.

Я говорю это не как мелкую критику великого писателя, и у меня нет причин делать это; ибо в моей собственной, гораздо более мелкой задаче, я чувствую, что потерпел неудачу примерно таким же образом. Я очень сомневаюсь, что сумел донести до читателя главное, что я имел в виду, говоря о масштабах истории и о том, почему я гораздо больше остановился на одних вещах, чем на других. Я сомневаюсь, что четко выполнил план, изложенный мною во вводной главе; и по этой причине я добавляю эти строки в качестве своего рода резюме в заключительную главу. Я действительно верю, что вещи, на которых я настаивал, более важны для очерка истории, чем те вещи, которые я подчинил или отбросил. Я не верю, что прошлое наиболее верно изображается как явление, в котором человечество просто растворяется в природе, или цивилизация просто растворяется в варварстве, или религия растворяется в мифологии, или наша собственная религия растворяется в религиях мира. Короче говоря, я не верю, что лучший способ составить очерк истории - это стереть границы. Я полагаю, что из этих двух гораздо ближе к истине было бы рассказать эту историю очень просто, как примитивный миф о человеке, создавшем солнце и звезды, или о боге, вселившемся в тело священной обезьяны. Поэтому я подытожу все, что было сказано ранее, в том, что мне кажется реалистичным и разумно соразмерным утверждением: короткой истории человечества.

На земле, освещенной соседней звездой, чье сияние - это яркий дневной свет, есть много и очень разнообразных вещей, неподвижных и движущихся. Среди них движется раса, которая по отношению к другим является расой богов. Этот факт не умаляется, а подчеркивается, потому что она может вести себя как раса демонов. Его различие - это не индивидуальная иллюзия, подобная одной птице, украшающей себя собственными перьями; это цельная и многогранная вещь. Это демонстрируется в тех самых спекуляциях, которые привели к его отрицанию. То, что люди, боги этого нижнего мира, связаны с ним различными способами, верно; но это другой аспект той же истины. То, что они растут, как растет трава, и ходят, как ходят животные, является вторичной необходимостью, которая обостряет первичное различие. Это все равно что сказать, что волшебник, в конце концов, должен иметь внешность человека; или что даже феи не могли танцевать без ног. В последнее время вошло в моду полностью сосредоточивать ум на этих слабых и второстепенных сходствах и вообще забывать главный факт. Принято настаивать на том, что человек похож на другие существа. Да; и это сходство видит только он. Рыба не прослеживает рисунок рыбьих костей у птиц в воздухе; или слон и эму сравнивают скелеты. Даже в том смысле, что человек един со Вселенной, это совершенно одинокая вселенная. Самого чувства, что он един со всеми вещами, достаточно, чтобы отделить его от всего.

Глядя вокруг себя в этом уникальном свете, такой же одинокий, как буквальное пламя, зажженное им одним, этот полубог или демон видимого мира делает этот мир видимым. Он видит вокруг себя мир определенного стиля или типа. Кажется, что все происходит по определенным правилам или, по крайней мере, повторяется. Он видит зеленую архитектуру, которая строится сама по себе без видимых рук, но которая выстраивается в очень точный план или узор, подобный рисунку, уже нарисованному в воздухе невидимым пальцем. Это не что-то неопределенное, как сейчас смутно предполагается. Это не рост или нащупывание слепой жизни. Каждый стремится к концу; великолепному и лучезарному концу, даже для каждой

маргаритки или одуванчика, которые мы видим, глядя через ровное обычное поле. В самой форме вещей заложено нечто большее, чем зеленая поросль; в цветке заключена завершенность. Это мир корон. Это впечатление, независимо от того, было оно иллюзией или нет, настолько глубоко повлияло на эту расу мыслителей и повелителей материального мира, что подавляющее большинство было склонено принять определенный взгляд на этот мир. Они пришли к выводу, справедливо или ошибочно, что у мира был план, подобно тому, как, казалось, у дерева был план; и конец и крона, подобные цветку. Но до тех пор, пока раса мыслителей была способна мыслить, было очевидно, что признание этой идеи плана привело к появлению другой мысли, более захватывающей и даже ужасной. Был кто-то еще, какое-то странное и невидимое существо, которое спроектировало эти вещи, если они действительно были спроектированы. Был незнакомец, который также был другом; таинственный благодетель, который был до них и воздвиг леса и холмы к их приходу, и зажег восход солнца против их восхода, как слуга разжигает огонь. Теперь эта идея разума, придающего смысл вселенной, получает все больше и больше подтверждений в умах людей благодаря медитациям и переживаниям, гораздо более тонким и ищущим, чем любой подобный аргумент о внешнем плане мира. Но здесь я заинтересован в том, чтобы изложить историю в ее наиболее простых и даже конкретных выражениях; и здесь достаточно сказать, что большинство людей, включая мудрейших, пришли к выводу, что у мира есть такая конечная цель и, следовательно, такая первопричина. Но большинство людей в каком-то смысле отделяли себя от самых мудрых людей, когда дело доходило до трактовки этой идеи. Возникли два способа трактовки этой идеи, которые в совокупности составляют большую часть религиозной истории мира.

У большинства, как и у меньшинства, было сильное ощущение второго смысла в вещах; странного мастера, который знал тайну мира. Но большинство, толпа или масса людей, естественно, склонны были относиться к этому скорее в духе сплетен. Сплетня, как и все сплетни, содержала много правды и лжи. Мир начал рассказывать сам себе истории о неизвестном существе, или о его сыновьях, или о слугах, или о посланниках. Некоторые из этих историй действительно можно назвать бабушкиными сказками, поскольку они претендуют на то, чтобы быть лишь очень отдаленными воспоминаниями о заре мира; мифы о молодой луне или наполовину испеченных горах. Некоторые из них правильнее было бы назвать рассказами путешественников; как любопытные, но современные истории, принесенные с определенных рубежей опыта; такие как чудесные исцеления или те, которые рассказывают о том, что случилось с мертвыми. Многие из них, вероятно, правдивы; вероятно, их достаточно, чтобы человек, обладающий настоящим здравым смыслом, более или менее осознавал, что за космическим занавесом действительно есть нечто довольно удивительное. Но в некотором смысле это происходит только благодаря видимости; даже если видимости называются видениями. Это вопрос появления — и исчезновения. Самое большее, что эти боги - призраки, то есть проблески. Для большинства из нас они скорее сплетни о проблесках. Что касается остального, то весь мир полон слухов, большинство из которых являются почти откровенными романами. Подавляющее большинство историй о богах, призраках и короле-невидимке рассказываются если не ради самой истории, то, по крайней мере, ради темы. Они свидетельствуют о вечном интересе к данной теме; они не свидетельствуют ни о чем другом, и им не суждено быть такими. Это мифология или поэзия, которая не переплетена в книги — или не переплетена каким-либо другим способом.

Тем временем меньшинство, мудрецы или мыслители, отошло в сторону и занялось столь же близким по духу ремеслом. Они составляли планы развития мира; мира, в который всеверили, что у него есть план. Они пытались изложить план серьезно и масштабно. Они обращали свои умы непосредственно к разуму, создавшему таинственный мир; размышляли о том, что это за разум и какова его конечная цель. Некоторые из них сделали этот разум гораздо более безличным, чем обычно делало человечество; некоторые упростили его почти до нуля; некоторые, очень немногие, вообще усомнились в нем. Один или двое из наиболее болезненных вообразили, что это может быть зло и враг; просто один или двое из наиболее деградировавших представителей другого класса поклонялись демонам вместо богов. Но большинство этих теоретиков были теистами: и они не только видели моральный план в природе, но и в целом разработали моральный план для человечества. Большинство из них были хорошими людьми, которые хорошо выполняли свою работу, и их по-разному помнили и почитали. Они были книжниками; и их писания стали более или менее священными писаниями. Они были законодателями; и их традиция стала не только юридической, но и церемониальной. Мы можем сказать, что они удостоились божественных почестей в том смысле, в каком короли и великие военачальники в определенных странах часто удостоивались божественных почестей. Одним словом, где бы ни проявлялся другой народный дух, дух легенд и сплетен, он окружал их более мистической атмосферой мифов. Популярная поэзия превращала мудрецов в святых. Но это было все, что он сделал. Они остались самими собой; люди никогда по-настоящему не забывали, что они люди, только превращенные в богов в том смысле, что они были превращены в героев. Божественный Платон, как и Дивус Цезарь, был титулом, а не догмой. В Азии, где атмосфера была более мифологической, человека сделали похожим на миф, но он остался человеком. Он оставался человеком определенного особого класса или школы людей, получающим и заслуживающим великих почестей от человечества. Это орден или школа философов; людей, которые серьезно настроились на то, чтобы проследить порядок в любом кажущемся хаосе в видении жизни. Вместо того чтобы жить на основе воображаемых слухов, отдаленных традиций и в конце концов исключительных переживаний о разуме и значении, стоящем за миром, они попытались в некотором смысле спроецировать первичную цель этого разума *априори*. Они попытались изложить на бумаге возможный план устройства мира; почти так, как если бы мир еще не был сотворен.

Прямо посреди всего этого стоит огромное исключение. Оно совершенно не похоже ни на что другое. Это нечто окончательное, как роковая труба, хотя это также и хорошая новость; или новость, которая кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой. Это не что иное, как громкое утверждение о том, что этот таинственный создатель мира лично посетил свой мир. В нем говорится, что действительно и даже совсем недавно, или прямо в середине исторических времен, в мир действительно вошло это изначальное невидимое существо, о котором мыслители строят теории, а мифологи слагают мифы; Человек, Сотворивший Мир. То, что такая высшая личность существует за всеми вещами, действительно, всегда подразумевалось всеми лучшими мыслителями, а также всеми самыми красивыми легендами. Но ни в одной из них никогда не подразумевалось ничего подобного. Просто неверно говорить, что другие мудрецы и герои утверждали, что они были тем таинственным мастером и творцом, о котором мир мечтал и спорил. Ни один из них никогда не претендовал на что-либо подобное. Ни одна из их сект или школ никогда не заявляла, что они претендовали на что-либо подобное. Самое большее, что сказал любой религиозный пророк, это то, что он был истинным слугой такого существа. Самое большее, что когда-либо говорил какой-либо пророк, было то, что люди могли бы уловить

проблески славы этого духовного существа; или, гораздо чаще, менее значительных духовных существ. Самое большее, что когда-либо предполагал любой первобытный миф, - это то, что Творец присутствовал при Сотворении Мира. Но то, что Творец присутствовал на сценах, последовавших вскоре после званых ужинов Горация, и беседовал со сборщиками налогов и правительственными чиновниками о подробностях повседневной жизни Римской империи, и что этот факт продолжал твердо подтверждаться всей этой великой цивилизацией более тысячи лет, - это нечто совершенно непохожее ни на что другое в природе. Это единственное великое поразительное заявление, сделанное человеком с тех пор, как он произнес свое первое членораздельное слово, вместо того чтобы лаять, как собака. Его уникальный характер можно использовать как аргумент как против, так и за. Было бы легко сконцентрироваться на этом как на случае изолированного безумия; но от сравнительного религиоведения это не оставляет ничего, кроме пыли и бессмыслицы.

Это пришло в мир с ветром и потоком бегущих вестников, возвещающих это апокалиптическое предзнаменование; и не будет излишней фантазией сказать, что они бегут до сих пор. Что озадачивает мир, его мудрых философов и причудливых языческих поэтов, в отношении священников и людей католической церкви, так это то, что они по-прежнему ведут себя так, словно они посланники. Посланник не мечтает о том, каким могло бы быть его послание, и не спорит о том, каким оно, вероятно, было бы; он передает его таким, какое оно есть. Это не теория и не фантазия, а факт. К этому намеренно рудиментарному наброску не имеет отношения подробное доказательство того, что это факт; просто хочу указать, что эти посланники действительно относятся к этому так, как люди относятся к факту. Все, что осуждается в католической традиции, авторитете, догматизме и отказе отречься и изменять, - это всего лишь естественные человеческие качества человека, несущего послание, относящееся к факту. В этом последнем кратком изложении я хочу избежать всех противоречивых сложностей, которые могут еще раз омрачить простые строки этой странной истории; которую я уже назвал, слишком мягкими словами, самой странной историей в мире. Я хочу просто обозначить эти основные линии и особенно отметить, где на самом деле должна быть проведена великая черта. Мировая религия в ее правильных пропорциях не делится на тонкие оттенки мистицизма или более или менее рациональные формы мифологии. Она разделена линией между людьми, которые несут это послание, и людьми, которые еще не слышали его или пока не могут в это поверить.

Но когда мы переводим термины этой странной истории обратно в более конкретную и сложную терминологию нашего времени, мы обнаруживаем, что она покрыта именами и воспоминаниями, само знакомство с которыми является фальсификацией. Например, когда мы говорим, что в стране так много мусульман, мы на самом деле имеем в виду, что в ней так много монотеистов; и мы на самом деле подразумеваем под этим, что в ней так много людей; людей со старым среднестатистическим представлением о мужчинах - что невидимый правитель остается невидимым. Они придерживаются этого наряду с обычаями определенной культуры и по более простым законам определенного законодателя; но так было бы, если бы их законодателем был Ликург или Солон. Они свидетельствуют о чем-то, что является необходимой и благородной истиной, но никогда не было новой истиной. Их кредо - это не новый цвет; это нейтральный и нормальный оттенок, который является фоном многоцветной жизни человека. Магомет не нашел, подобно Волхвам, новую звезду; он увидел через свое собственное окно проблеск огромного серого поля древнего звездного света. Поэтому, когда мы говорим, что в стране так много конфуцианцев или буддистов, мы имеем в виду, что в ней так

много язычников, чьи пророки дали им другую, довольно расплывчатую версию невидимой силы, сделав ее не только невидимой, но и почти безличной. Когда мы говорим, что у них также есть храмы, идола, священники и периодические праздники, мы просто имеем в виду, что язычники такого рода достаточно человечны, чтобы признавать популярный элемент помпезности, картин, праздников и сказок. Мы только имеем в виду, что у язычников больше здравого смысла, чем у пуритан. Но то, какими *должны* боги, что священникам поручено *говорить*, не является сенсационным секретом, подобным тому, что должны были сказать эти бегущие вестники Евангелия. Ни у кого другого, кроме этих посланников, нет Евангелия; ни у кого другого нет хороших новостей; по той простой причине, что ни у кого другого нет никаких новостей.

Эти бегуны набирают силу во время бега. Спустя годы они все еще говорят так, как будто что-то только что произошло. Они не утратили скорости и импульсивности посланников; они едва ли утратили, так сказать, дикие взгляды свидетелей. В католической церкви, которая является когортой проповеди, все еще есть те безудержные акты святости, которые говорят о чем-то быстром и недавнем; самопожертвование, которое поражает мир, как самоубийство. Но это не самоубийство; это не пессимизм; это все еще так же оптимистично, как святой Франциск с цветами и птицами. Это новее по духу, чем новейшие школы мысли; и это почти наверняка накануне новых триумфов. Ибо эти люди служат матери, которая, кажется, становится еще красивее по мере того, как новые поколения поднимаются и называют ее благословенной. Иногда нам может казаться, что Церковь молодеет по мере того, как мир стареет.

Ибо это последнее доказательство чуда; что нечто столь сверхъестественное должно было стать таким естественным. Я имею в виду, что все настолько уникальное, если смотреть снаружи, должно казаться универсальным только тогда, когда смотришь изнутри. Я не преуменьшал масштаб чуда, как это считают разумным некоторые из наших более умеренных теологов. Скорее, я намеренно остановился на этом невероятном перерыве, как на ударе, сломавшем самый хребет истории. Я испытываю большое сочувствие к монотеистам, мусульманам или евреям, которым это кажется богохульством; богохульством, которое может потрясти мир. Но это не потрясло мир; это стабилизировало мир. Этот факт, чем больше мы его рассматриваем, будет казаться более весомым и более странным. Я думаю, что это проявление очевидной справедливости по отношению ко всем неверующим - настаивать на смелости акта веры, которого от них требуют. Я охотно и горячо соглашаюсь с тем, что это само по себе предположение, от которого мы могли бы ожидать, что даже у верующего закружится голова, когда он осознает свою собственную веру. Но мозг верующего не вращается; это вращаются мозги неверующих. Мы можем видеть, как их мозги разбегаются во все стороны и впадают во все экстравагантности этики и психологии; в пессимизм и отрицание жизни; в прагматизм и отрицание логики; ищут свои предзнаменования в ночных кошмарах, а свои каноны - в противоречиях; визжат от страха при виде далеких вещей по ту сторону добра и зла или шепчутся о странных звездах, где дважды два равняется пяти. Между тем эта одинокая вещь, которая на первый взгляд кажется такой возмутительной по очертаниям, остается прочной и здравомыслящей по существу. Он остается сдерживающим фактором всех этих маний; спасая разум от прагматиков точно так же, как он спасал смех от пуритан. Повторяю, я намеренно подчеркнул его внутренне вызывающий и догматический характер. Загадка в том, как нечто столь поразительное могло оставаться вызывающим и догматичным и в то же время стать совершенно нормальным и естественным. Я открыто признал, что, рассматривая этот инцидент сам по себе, человека, который называет себя Богом, можно приравнять к человеку, который

говорит, что он стеклянный. Но человек, который говорит, что он стеклянный, - это не стекольщик, делающий окна для всего мира. Он не остается на века сияющей и кристально чистой фигурой, в свете которой все ясно, как хрусталь.

Но это безумие осталось разумным. Безумие оставалось разумным, когда все остальное сошло с ума. Сумасшедший дом был домом, в который из века в век люди постоянно возвращались, как в родной дом. Вот в чем остается загадка: что все столь резкое и ненормальное все же должно быть признано пригодным для жилья и гостеприимным. Меня не волнует, если скептик скажет, что это выдумка; я не могу понять, как столь разрушительная башня могла так долго простоять без фундамента. Еще меньше я понимаю, как это могло бы стать, как это уже стало, домом человека. Если бы оно просто появилось и исчезло, его, возможно, запомнили бы или объяснили как последний скачок ярости иллюзии, предельный миф о предельном настроении, в котором разум ударился о небо и разбился. Но разум не сломался. Это единственный разум, который остается несломленным при распаде мира. Если бы это была ошибка, кажется, что ошибка вряд ли могла продлиться и дня. Если бы это был просто экстаз, то казалось бы, что такой экстаз не мог бы продолжаться и часа. Она просуществовала почти две тысячи лет; и мир внутри нее был более ясным, более уравновешенным, более разумным в своих надеждах, более здоровым в своих инстинктах, более юмористичным и жизнерадостным перед лицом судьбы и смерти, чем весь внешний мир. Ибо это была душа христианского мира, вышедшая из невероятного Христа; и душой этого мира был здравый смысл. Хотя мы не осмеливались смотреть Ему в лицо, мы могли смотреть на Его плоды; и по Его плодам мы узнали бы Его. Плоды твердые, и их плодотворность - гораздо больше, чем метафора; и нигде в этом печальном мире мальчики не чувствуют себя более счастливыми среди яблонь или мужчины не поют более ровным хором, ступая по виноградной лозе, чем при фиксированной вспышке этого мгновенного и нетерпимого озарения; молнии, ставшей вечной, как свет.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

О ДОИСТОРИЧЕСКОМ ЧЕЛОВЕКЕ

В некотором смысле было бы лучше, если бы история была более поверхностной. То, что требуется, - это напоминание о вещах, которые замечаются так быстро, что почти так же быстро забываются. Можно сказать, что единственная мораль этой книги заключается в том, что лучше всего думать первым. Таким образом, вспышка может показать пейзаж, на котором Эйфелева башня или Маттерхорн возвышаются так, как они никогда больше не возвышались бы при свете обычного дня. Я закончил книгу изображением вечной молнии; увы, в совсем другом смысле эта маленькая вспышка длилась слишком долго. Но у метода есть и определенные практические недостатки, к которым, я думаю, стоит добавить эти два примечания. Может показаться, что он слишком упрощен и его игнорируют по незнанию. Я особенно ощущаю это в отрывке о доисторических рисунках; он касается не всего, что ученые могут почерпнуть из доисторических рисунков, а единственного момента, из которого любой мог бы почерпнуть, что вообще существуют какие-либо доисторические рисунки. Я осознаю, что эта попытка выразить это в терминах невинности может преувеличить даже мое собственное невежество. Не претендуя на научное исследование, я был бы огорчен, если бы кто-нибудь подумал, что я знаю не больше, чем имел возможность сказать на том этапе прохождения стадий, на которые было разделено первобытное человечество. Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что история

тщательно продумана; и что таких этапов было много до появления кроманьонцев или любых других народов, с которыми у нас ассоциируются подобные картины. Действительно, недавние исследования о неандертальцах и других расах скорее склонны повторять мораль, которая здесь наиболее актуальна. Отмеченное на этих страницах представление о чем-то обязательно медленном или запоздалом в развитии религии действительно мало что выиграет от этих более поздних откровений о предшественниках художника, рисующего оленей. Ученые, по-видимому, придерживаются мнения, что независимо от того, могло ли изображение северного оленя быть религиозным или нет, люди, жившие до него, уже были религиозными. Люди уже хоронили своих умерших с той тщательностью, которая является важным признаком таинственности и надежды. Это, очевидно, возвращает нас к тому же аргументу; аргументу, к которому не подходит никакое измерение черепа более раннего человека. Нет смысла сравнивать голову человека с головой обезьяны, если обезьяне, конечно, никогда не приходило в голову закопать в своей могиле другую обезьяну с орехами, чтобы помочь ей попасть в райский обезьянник. Говоря о черепах, мы все знаем историю о находке кроманьонского черепа, который намного больше и тоньше современного черепа. Это очень забавная история, потому что выдающийся эволюционист, осознав несколько запоздалую осторожность, протестовал против каких-либо выводов по одному образцу. Долг одинокого черепа - доказать, что наши отцы были ниже нас. Считается, что любой отдельный череп, претендующий на то, чтобы доказать свое превосходство, страдает от опухания головы.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБ АВТОРИТЕТНОСТИ И ТОЧНОСТИ

В этой книге, которая задумана просто как популярная критика популярных заблуждений, часто даже очень вульгарных ошибок, я чувствую, что иногда создаю впечатление насмешки над серьезной научной работой. Однако это было прямо противоположно моему намерению. Я спорю не с ученым, который объясняет слона, а только с софистом, который объясняет это. И на самом деле софист играет на публику, как он делал в Древней Греции. Он обращается к невеждам, особенно когда обращается к ученым. Но я никогда не имел в виду, что моя собственная критика является дерзостью по отношению к истинно образованным людям. Мы все в бесконечном долгу перед исследованиями, особенно недавними, целеустремленными студентов в этих вопросах; и я лишь утверждал, что кое-что почерпнул из них. Я не нагружал свои абстрактные аргументы цитатами и отсылками, которые только заставляют человека выглядеть более образованным, чем он есть на самом деле; но в некоторых случаях я нахожу, что моя собственная вольная манера намеков скорее вводит в заблуждение относительно моего собственного смысла. Отрывок о Чосере и Ребенке-мученике плохо выражен; я только имею в виду, что английский поэт, вероятно, имел в виду английского святого, историю которого он представляет в своего рода иностранной версии. Точно так же два утверждения в главе о мифологии следуют друг за другом таким образом, что можно предположить, что вторая история о монотеизме относится к Южным морям. Я могу объяснить, что атахокан принадлежит не австралийским, а американским дикарям. Итак, в главе под названием "Древность цивилизации", которую я считаю наиболее неудовлетворительной, я, возможно, слишком подробно изложил свое собственное впечатление о значении развития египетской монархии, как если бы оно совпадало с фактами, на которых она была основана, приведенными в работах, подобных работам профессора Дж. Л. Майрса. Но путаница не была преднамеренной; еще

меньше было намерения подразумевать в оставшейся части главы, что антропологические спекуляции о расах менее ценны, чем они, несомненно, есть. Моя критика строго относительна; я могу сказать, что пирамиды яснее, чем следы в пустыне, не отрицая, что люди более мудрые, чем я, могут увидеть следы в том, что для меня является бесследным песком.